

ISSN 0130-8149

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
АЛЬМАНАХ

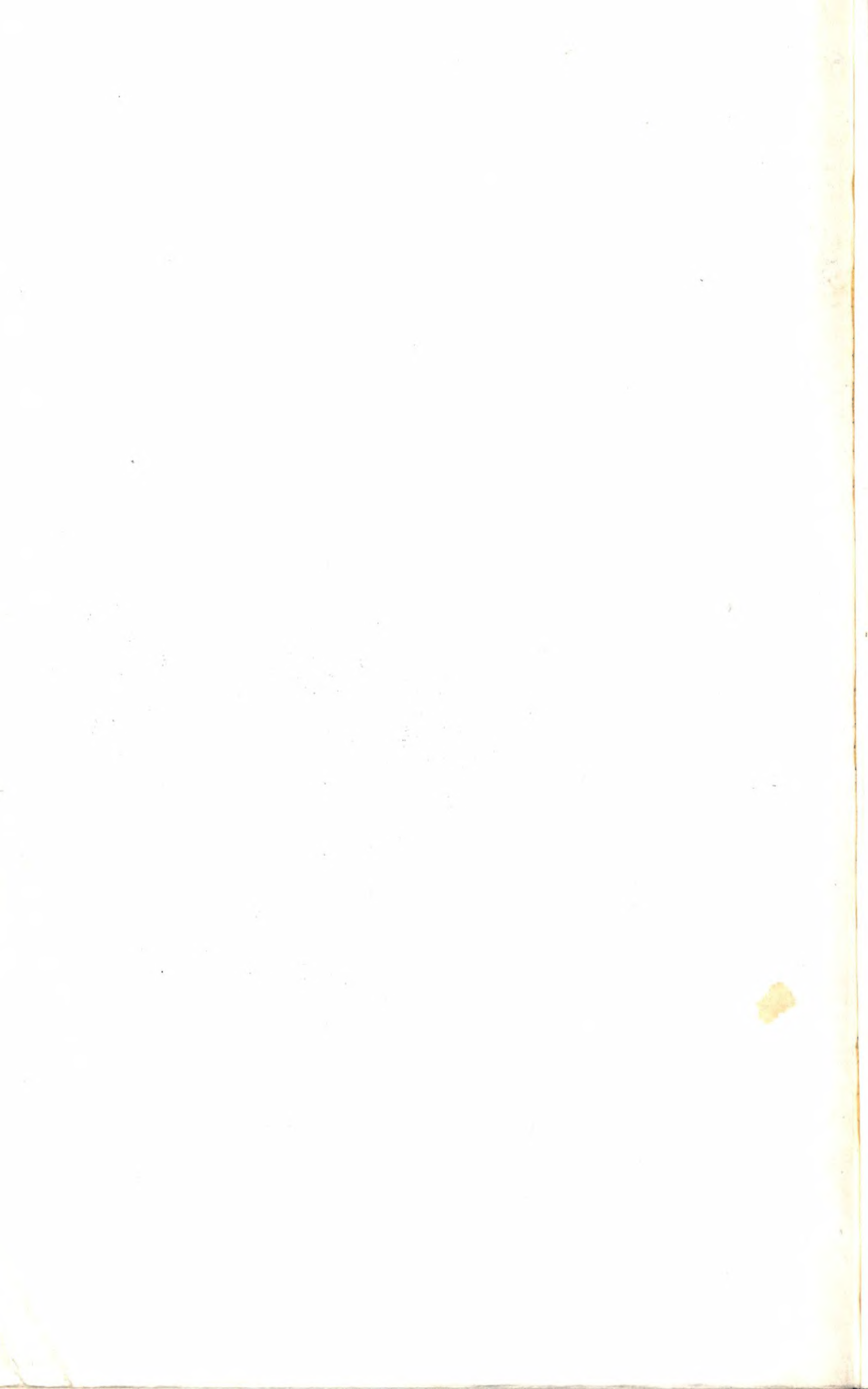
Выпуск

# ПОДВЫ



Кто они, «афганцы»?  
Какими вернулись из пламени войны?  
Каким оказалось для них возвращение?







# Выпуск 34 **ПОДВИГ**

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
АЛЬМАНАХ



Москва  
«Молодая гвардия»  
1989



#### РЕДКОЛЛЕГИЯ

- А. А. АНАНЬЕВ — главный редактор журнала  
«Октябрь»
- В. Г. ВЕРСТАКОВ — поэт, военный журналист
- Г. М. ЕГОРОВ — Герой Советского Союза, адмирал,  
председатель ЦК ДОСААФ
- С. Н. ЕПИФАНЦЕВ — секретарь ЦК ВЛКСМ
- И. Е. ЕФИМОВ — помощник начальника Главного  
политического управления СА и ВМФ по  
комсомольской работе
- С. Н. ИОНИН — заведующий редакцией ИПО  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»
- А. А. ЛЕОНОВ — дважды Герой Советского Союза,  
летчик-космонавт СССР
- Е. П. МАРИНСКИЙ — Герой Советского Союза
- А. Б. ПРОКУДИН — редактор альманаха «Подвиг»
- И. Ф. СТАДНЮК — секретарь Московской писа-  
тельской организации
- Н. А. ЧЕРКАШИН — писатель, лауреат премии Ленин-  
ского комсомола
- В. М. ШАТИЛОВ — Герой Советского Союза
- В. Ф. ЮРКИН — генеральный директор ИПО  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»





Это был месяц надежд и тревог. С него начинал отсчет вывод ограниченного контингента из Афганистана. Но война продолжалась, и боль новых потерь переживалась особенно остро. Трагически окрашен майский фоторепортаж спецкоров «Известий». Во время работы над ним оборвалась жизнь Александра Секретарева (на фото — слева), Сергей Севрук был тяжело ранен.















...Бронегруппа из трех болотного цвета бронетранспортеров ждет нас на одной из окраин Кабула. Выслушиваем короткий инструктаж, надеваем бронежилеты. «По машинам!» — звучит команда. Через несколько минут глиняные домишки кабульских окраин уже позади. Мы держим путь к перевалу Саланг.

Бронегруппой командует майор Солнцев, опытный и бывалый офицер. Но сегодня его «команда» необычна. В ее составе два фотокорреспондента «Известий» Александр Секретарев и Сергей Севрук, режиссер-постановщик со студии «Ленфильм» Владимир Бортко и автор этих строк.

Мчатся вперед БТР. Многолюдные населенные пункты, выходящие на магистраль оживленными торговыми рядами и дуканами, сменяются разбитыми войной, брошенными людьми кишлаками. По обе стороны дороги мелькают хорошо укрепленные сторожевые заставы, врытые в землю танки. Дула их пушек направлены в сторону зеленой зоны — «зеленки». Именно оттуда время от времени нападают на колонны вооруженные отряды оппозиции, бьют снайперы. Оттуда грозит опасность.

Каждая поездка по дороге связана с немалым риском. Знают ли об этом Саша и Сергей? Знают, конечно. Для







Сергея Севрука — это пятая командировка в Афганистан. Для Александра Секретарева — первая. Но он уже успел побывать в Джелалабаде и Кандагаре, где, как говорится, постоянно пахнет порохом. «Знаешь, я, пожалуй, впервые увидел настоящее лицо войны», — сказал мне Саша на следующий день после возвращения из Кандагара. Он не знал, что ему предстоит снять свой последний в жизни репортаж — репортаж о войне.

Уже отправлены несколько пакетов с негативами в Москву. За две недели работы отсняты сотни кадров. Но и Саша, и Сергей уверены, что сделано далеко не все. Несколько дней назад попросили редакцию продлить срок командировки.

Обязательно надо отснять дорогу, по которой вскоре начнут возвращаться на Родину советские войска, побывать на одной из сторожевых застав, подготовить фоторепортаж на перевале Саланг — ключевом участке магистрали Кабул — Хайратон. Отснять начало вывода ограниченного контингента. Оба они не только профессионалы высокого класса. Они по-настоящему увлечены любимым делом. Они все время в работе.

Вот и сейчас, сидя на броне третьей машины, они снимают далекие снежные горы, колонну наливников, столпившуюся у баграмского перекрестка, где останавливается на несколько минут и наша бронегруппа. Направо, к Баграму, идет похожая на пыльную реку грунтовка, по которой «плывут» большегрузные КамАЗы. Пока мы перекуриваем; Саша снимает. Время — одиннадцать часов. До трагедии оставалось не больше десяти минут и несколько километров пути.

Снова забираемся на свои БТР. Начинаем движение.

Неожиданно справа из густых зарослей кустарника начался обстрел. Как выяснилось позже, по нашей бронегруппе наносился удар с трех точек из гранатометов и стрелкового оружия. Основной удар пришелся по третьему бронетранспортеру, который, сойдя с неширокого в этом месте шоссе, рухнул в глубокий овраг. Саша погиб. Сергей тяжело ранен.

Еще некоторое время шла перестрелка. Потом все стихло.

Вечером того же дня механик-водитель третьего бронетранспортера рядо-

вой Солдыгашев, придя в себя после контузии, напишет рапорт в штаб своей части: «Проехав поворот на Баграм, я примерно через два километра увидел огненный шар. Он пролетел справа налево по ходу движения. Я понял, что мой БТР обстреливают из гранатомета из зеленой зоны. Подумал, что сейчас будет еще выстрел. Потом послышался сильный удар по броне. Сразу потемнело в глазах. Больше я ничего не помню..»

Что было дальше? Раненых повезли на бронетранспортерах в медсанчасть, расположенную недалеко, куда уже сообщили по радио о случившемся. Вскоре Сергей лежал на операционном столе. Его оперировала бригада врачей под руководством майора медицинской службы Виктора Ампилова.

Тот, кто побывал в Афганистане, знает такое выражение: «Черный тюльпан». Так именуют специальный самолет, предназначенный для доставки на Родину тех, кто пал в боях. Не знаю, кто и почему назвал его так. Название утвердилось. Когда произносятся эти слова, люди замолкают, как бы отдавая своим молчанием последний долг погибшим. Я не раз видел этот самолет в военном аэропорту Кабула, но никогда не предполагал, что доведется самому провожать на нем погибшего друга в Москву. И вот — пришлось...

В тот час на аэродром пришли все советские журналисты, аккредитованные в Кабуле. Представители советского посольства. Офицеры и генералы ограниченного контингента. Афганские друзья.

Все было как тогда — в 42-м или 45-м. Времена сомкнулись. История, увы, повторялась. Из глубин памяти пришли так горестно знакомые поколениям газетчиков симоновские строчки: «Упал, сраженный пулей, веселый репортер». Как там дальше?..

Блокнот и «лейку» друга  
В Москву, давась от слез,  
Его товарищ с юга  
Редактору привез.  
Но вышли без задержки  
Наутро, как всегда,  
«Известия», и «Правда»,  
И «Красная звезда»...

Д. Мещанинов





Убедительно просим Владимира Николаевича!  
петитов — снимать было очень сложно.  
С уважением С. Овс

за сохранностью



# МЫ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ...

Алексей Чикишев служил в боевых частях. Служил, как положено. Об этом говорят и его награды — ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», афганский орден «За храбрость», и его ранения. Мы обратились к ветерану с просьбой ответить на вопросы нашего корреспондента Александра Фоменко.

**Александр Фоменко.** Хотя мы с тобой и ровесники, и люди достаточно схожих взглядов, но я думаю, что на какие-то вещи ты, офицер, «афганец», должен смотреть по-другому — более ясно, более жестко, быть может. Ведь одно дело — годами читать в газетах короткие бодрые заметки, начинающиеся со слова «Кабул», а совсем иное — годами носиться по Афганистану на БМП или вертолете, рискуя наскочить на мину или попасть под обстрел. Раньше мы и не подозревали, что эта кампания настолько затянется. Что появится целое поколение молодых людей, которые учились в школах, ПТУ, университетах и институтах, зная, что где-то там идет война и гибнут с оружием в руках их сверстники.

Нам, мирным людям, интересно не только то, что происходит там, но и то, как виделось оттуда происходящее в

родной стране, насколько менялись там представления о жизни?

**Алексей Чикишев.** Как видится оттуда происходящее здесь, в Союзе?.. Сразу не ответишь. Конечно, все интересуются тем, что здесь происходит: прессу ждут, радио все слушают. Газеты, к сожалению, доходят через три-четыре дня.

В общем, сильно меняется у человека взгляд на многие вещи, когда он находится в Афганистане. Понимает он это ясно, когда сюда приезжает, но ощущает уже там. Ребят послушаешь раньше, например, многие интересовались... ну вот такое, самое банальное, — рок-музыкой, последними музыкальными течениями, всеми этими поп-звездами... Там же слушаешь — ну поют, ну пускай себе поют. Такого интереса не испытываешь, как раньше, никакого фанатства уже быть не может. Если раньше пытался подражать и в одежде, и в манере поведения популярным образцам, то там уже на это смотришь так: занимаются люди глупостями, а тебе-то зачем?

Потом что еще. Вот получают люди письма из Союза — пишут не только успокоительные, пишут еще о своих семейных проблемах, причем оттуда многие семейные проблемы, которые



здесь у нас происходят, особенно дразни между родными — такой чепухой кажутся, поскольку они несущественны, их могло и не быть, если бы люди более терпеливо и более уважительно друг к другу относились. Таких проблем там не может возникнуть, потому что совсем другой уклад, и о том, что здесь происходит, думаешь — боже мой, чем они там страдают, в Союзе? Иногда, конечно, все это раздражает... Телевизоры, слава богу, широко сейчас у нас внедрены, фактически во всех гарнизонах принимают Союз. И бывало, смотришь — на сцене исполняет какой-нибудь «брейк-данс», или Юрмала какая-нибудь 86, фестиваль, или еще что-нибудь такое легковесное, эстрадное показывают — такое раздражение бывает: вот они там в Союзе как мушки живут, стрекозки.

Обидно не то, что тебе развлечения недоступны, а просто обидно — как они могут развлекаться, отдыхать, когда ребята гибнут в боях! А как сказал один мой знакомый, в Афганистане собраны самые лучшие представители мужской половины Союза, цвет народа, молодежь, причем отличная, боевая.

Интерес к Союзу еще так проявляется. Люди приезжают из отпуска или новоприбывшие, новое пополнение — естественно, тут расспросы продолжаются несколько дней: как там, в Союзе? Мало-мальски заметное изменение произойдет в общественной, политической жизни — люди внимательно его рассматривают, изучают, обсуждают. Интересно, все-таки от Родины мы оторваны очень сильно, тоска постоянно проявляется.

**А. Ф.** Не возникало ли ощущение, что о вас забыли, что ли. Дескать, мы здесь делаем дело, а там молчат про нас?

**А. Ч.** Я бы не сказал, что нас здесь забыли. Постоянно посылки приходили, от комсомола, например, артисты приезжали, в газетах статьи появлялись время от времени. Единственное, что злит, — это когда в газетах замечаешь недомолвки... Когда пишут, например: банда разгромлена органами госбезопасности Афганистана при поддержке, активной причем, местного населения. Особенно когда знаешь, что это именно твое подразделение, твое соединение воевало и действительно нанесло поражение мятежникам, и не было никакой поддержки местного населения.

Что население? Крестьянство в чью-либо сторону до сих пор не склонилось, а органы госбезопасности — конечно, они работали, но мы-то знаем, кто в этом именно районе одержал победу. Причем так случалось постоянно. Афганцы бывали с нами, сотрудничали, но основную работу по разгрому банд проводили мы. И это сами афганцы скажут, любой афганец скажет, что основную тяжесть несли на своих плечах наши, советские солдаты.

**А. Ф.** А как ты оцениваешь вообще газетные статьи и телепередачи про Афганистан? Насколько они были правдивы?

**А. Ч.** Теле — это Лещинского? Что я могу сказать? Заслуженный товарищ. Премия Воровского у него, если не ошибаюсь... Но, в общем-то, в основном на девяносто девять процентов... не одобряли мы его репортажи. Слабенькие репортажи. Пытался он представить, что находился в гуще событий, а получалось, что давал дезинформацию чистой воды. Я могу привести примеры.

Осень прошлого года. Лещинский встревоженный такой весь. На экране — ночь, на горизонте что-то горит, слышны выстрелы. И вот он говорит, что банда напала на кишлачок, тут же выталкивают парнишку какого-то молоденького, афганца. Тот кричит — не слышно, его речь заглушена. Ну а мои товарищи, которые приехали из Афганистана, сказали, что в тот раз в Карге, это местечко рядом с Кабулом, мятежниками были взорваны афганские склады боеприпасов. Эти вот склады взрывались и горели.

Или другой пример: Лещинский сообщает, что мятежники стреляют. Там действительно пальба идет. Но это инсценировка. Как рассказывали люди, которые там находились вместе с ним, была чистая инсценировка — солдаты перебежали, стреляли, будто на полигоне.

Ну а дальше, например, Ада Петрова. В марте 1987-го был Новый год. Подходит она к афганцу на площади в Кабуле возле муниципалитета. Афганец — писец старенький, сидит, пишет что-то.

А она говорит: «Вот этот афганский товарищ нам скажет, что сегодня за праздник». Язык дари я неплохо знаю. Афганец отвечает: «Народ сюда приходит, и мы им что-нибудь пишем». Это писец, он за небольшую плату составляет письма — народ в большинстве



неграмотный. Перевод Ады Петровой такой: «Афганский товарищ говорит, что сейчас у них два праздника — это Новый год и то, что идет национальное примирение». Такие вещи, причем в репортажах, повторялись неоднократно. Считаю, это некрасиво. У нас уже довольно-таки большая часть народа затронута войной: это и люди, которые там служили, их родственники, родители, знакомые, друзья, приятели. Люди-то знают немножко об Афганистане, а эти репортажи слишком грубо сработаны.

Газетные репортажи неплохие. Например, Скрижалин хорошо пишет, у Щербаня был удачный в целом материал. Скрижалин, я знаю, очень много летал, ездил. Другое дело, что-то ими приукрашивается, что-то затушевывается, но тем не менее близко к жизни они пишут. Есть, конечно, ура-патриотические репортажи многих корреспондентов, я лично к ним отношусь очень скептически: война с большими успехами и без потерь? Не знаю, кто так воюет, такого не бывает, чтобы воевать и никаких потерь не нести. Война есть война, там убивают, ранят.

Репортажи Верстакова мне нравились. Хорошие репортажи, правдивые, за них ему можно пожать руку. Поэзия его тоже положительной оценки заслуживает.

В общем же скажу: гласность у нас должна быть во всех областях, она не может быть ограниченной, иначе это уже не гласность. Это как в «Мастере и Маргарите» — осетрина не может быть не первой свежести. У народа подрывается вера в наши органы печати, когда люди, приезжающие из Афганистана, одно говорят, а органы печати — совсем другое. Хочется надеяться, эта тема будет еще разрабатываться.

**А. Ф.** Просматривая телепередачи, читая статьи, касающиеся молодого поколения, нельзя, на мой взгляд, не прийти к выводу о том, что у молодежи есть проблемы, но все эти проблемы более всего касаются досуга.

**А. Ч.** Я слежу за молодежной прессой и могу сказать, что после съезда комсомола гораздо меньше стало материалов по Афганистану. Не знаю, почему так? Зато про рокеров, брейкеров, наркоманов, проституток, фарцовщиков — сколько угодно. Я понимаю — писать надо, это все наша жизнь. Но не

за счет сокращения материалов о лучших представителях нашей молодежи, ведь многие молодые люди, возвращающиеся из Афганистана, и на гражданке работают, в общественной работе участвуют, это действительно золотой фонд нашего народа.

**А. Ф.** А как ты относишься к фильму «Легко ли быть молодым?»? Ты его видел?

**А. Ч.** Да, фильм хороший. Единственное, что не понравилось, — это когда парень-ветеран говорит: мы чувствуем себя второгодниками в этой жизни. Это может быть, но только в первый момент. Наоборот, кто прошел такую тяжелую школу, должен показывать другим пример добросовестного отношения к службе, к учебе, к труду, ко всему. В чем он себя чувствует второгодником? В том, что не начал курить сигареты с наркотиком или не стал колотиться? Или в том, что он не умеет танцевать брейк, не занимается рокерством? Стоит ли себя в этом считать второгодником? Другие есть проблемы, гораздо более серьезные и важные.

Мне кажется, человек оттуда приезжает более зрелым, многие важные вещи начинает любить и понимать.

**А. Ф.** Да, я могу подтвердить твои слова как бы со стороны. Афганские ветераны действительно кажутся мне во многих отношениях более серьезными, чем их сверстники. И это понятно, они ведь обладают тем опытом, который ничем не заменим: опытом войны, прямого столкновения с врагом. Этот опыт ставит их, и это совершенно неизбежно, в некое особое положение по отношению к их мирным, так сказать, соотечественникам. Они знают, что такое «враг», мы же имеем представление лишь о «противниках». Они яснее понимают, что такое «победа» или «поражение», что такое «долг», «товарищество», «интернационализм» и так далее...

Но что ты имеешь в виду, говоря о тех вещах, которые после возвращения оттуда начинаешь любить и понимать?

**А. Ч.** Я, например, больше стал заниматься своей отечественной историей. Побывав в Афганистане, я понял, что очень мало знаю об истории нашей — советской и русской. Что касается советского времени, то в том же Афганистане мне встречались люди, которые



много больше меня знали о Троцком, о Сталине, о Берии, о всевозможных оппозиционных группировках довоенных лет, о многих вещах, творившихся во время культа личности. Мне стыдно было.

Историю России надо знать: откуда мы пошли, что у нас было. И я считаю, что совершенно необходимо издавать сегодня и Соловьева, и Карамзина, причем массовыми тиражами. А если бумаги не хватает, так меньше издавать всякой серятины, которой каждый год столько выходит! И леса на нее гробится масса. Зайди в любой мгазин — все завалено книгами, а почитать нечего.

**А. Ф.** Каков, на твой взгляд, национальный и социальный состав нашего корпуса афганских ветеранов?

**А. Ч.** Исследования давно надо проводить: представители каких слоев, какого происхождения, какой национальности там находились. Непросто же «солдаты советские». Что за люди? Кого они представляют? Я, конечно, не проводил специальных социологических исследований, цифры какие-то я затрудняюсь дать. Но подавляющее большинство — это, в общем-то, рабочие и крестьяне. Преимущественно славяне — Белоруссия, Украина, Россия. По моим наблюдениям, славян — 70 процентов. 25 процентов представители наших южных республик. Прибалтов там, конечно, очень мало — их и в населении страны малый процент. Большинство ребят — из сельской местности.

**А. Ф.** Проявляют себя все одинаково?

**А. Ч.** Вот это и надо изучать — кто как себя ведет, кто как себя проявляет. Мне не хотелось бы никого противопоставлять друг другу, но могу сказать, что, по моим наблюдениям, кроме славян, очень хорошо воюют в Афганистане таджики. Это настоящие солдаты. Не в упрек высокопоставленным товарищам, но... их детей там нет, я не имею в виду профессиональных военных. Ну и еще о составе: армия у нас молодая. У меня, например, самым старым был командир части — с 1945 года. В Афганистане — большое поле работы для наших психологов, социологов и историков. Почему война так долго длится? Бывает, что по семь-восемь раз освобождаем один и тот же уезд за 3—4 года. Военные успехи, военные результаты не закрепляются политическим путем. Работы там много, непоча-

тый край, я уже не говорю про писателей.

**А. Ф.** А как сказывается эволюция нашей внутренней политики там, в Афганистане?

**А. Ч.** Конечно, внутренние наши изменения сказываются и в Афганистане. Та же перестройка. Начиная от такой банальной вещи, как сухой закон, и кончая мирными инициативами, пересмотром многих положений. Когда у нас менялись руководители партии и государства, в тот период, с 82-го по 85-й ожидали изменений в Афганистане. Особенно те, кто два — два с половиной года прослужил. Естественно, ожидали решения афганской проблемы. Но вот только сейчас начался вывод. При Брежнев, например, нам все время говорили: «Нас афганский народ пригласил, нас афганский народ пригласил...» Действительно, мы вошли туда по соглашению, заключенному еще с правительством Тараки. Саурскую революцию там сделали военные. Народ на нее в первое время никак не отреагировал. Нельзя сказать, что нас весь афганский народ пригласил. Сейчас сами афганцы об этом открыто говорят, и у нас публикуются заявления Наджиба, из которых явствует, что пересматриваются многие официальные точки зрения.

Народ, по-моему, до сих пор еще не качнулся ни в ту, ни в другую сторону. Война эта может до бесконечности продолжаться. Мы будем прилагать усилия для того, чтобы нормализовать обстановку, американцы — ее дестабилизировать. Я лично не уверен, что победа в конце концов будет за революционными силами. Ну а долг свой мы выполнили. Армия и раньше нередко выполняла боевые задачи за границей, помогая дружественным правительствам. Советские военнослужащие были в Испании, Китае, наши войска находились во вторую мировую войну в Иране. В Афганистане мы в первую очередь выполняли свой воинский патриотический долг: нас туда послала Родина. Мы воевали действительно с врагами. Мы видели оружие, на котором клейма американские, японские, западногерманские, израильские и т. д. Японские радиостанции. Мы видели, с кем мы воевали. Наша обязанность — выполнить приказ. Патриотизм, интернационализм — это понятно, но фактически мы выполняли боевую задачу. Каждый свою. Конечно,



мы понимали, для чего это делаем, но главное для военного — приказ.

**А. Ф.** Ты перешел к вопросам армейского сознания. Вооруженные Силы — особая часть общественного организма. Со своими трудностями и сложностями. Сейчас много спорят о повести Юрия Полякова про так называемые неуставные взаимоотношения в армии. Каково твое мнение на этот счет?

**А. Ч.** Я читал повесть Полякова. Да, так в армии бывает. Но, например, в Афганистане неуставные взаимоотношения проявляются в гораздо меньшей степени, чем здесь.

Боевая обстановка совершенно по-другому заставляет людей мыслить, я знаю случаи, когда старослужащие солдаты всячески помогали молодым, шли вперед, оставляя молодых за собой, потому что понимали: у них больше опыта. Неуставные взаимоотношения есть в любой армии, особенно в мирное время. Я сам ярый противник «дедовщины», знаю не понаслышке, что это такое. Но ведь и на гражданке — в таксопарке молодому парню тоже дают, как правило, старую, разбитую машину, и т. п. В обычной жизни просто это менее заметно. В армии же люди находятся в более тесных отношениях, поэтому там все на виду. Шум вокруг повести Полякова явно излишний. Пишут же романы о любви, о семейных драмах. Та же самая семья — армия. Большая семья. В жизни бывает, что отец — деспот, например. Пишут об этом на страницах печати, и что?

**А. Ф.** Но обратимся к «мирной» молодежи, «неформалам». Глядя на металлистов, панков — хочется тебе им что-то сказать или ты просто проходишь мимо?

**А. Ч.** Врезать, конечно, хочется как следует, это первое. Часто слышишь — пусть цветут все цветы. Но это китайское выражение говорит о философских школах, а у нас речь идет о мо-

лодежи без всяких политических ориентиров. Они выросли в обстановке благодушия, родители их всячески оберегали от жизненных трудностей. Дай бог, чтобы они перебесились. Но я ведь вижу — хиппи есть тридцатилетние, неперебесившиеся. И тунеядцы есть, и фарцовщики, которые тоже не перебесились. Это все вызывает тревогу. Теперь эти «неформальные» стали ощущать себя в центре внимания: мы солидные люди, с нами говорят, нас официально признают, «в телевизоре» нас показывают. Волевыми методами это нельзя пресечь, что-то ответное наше общество должно предложить. Не контркультуру, а нашу культуру.

В культуре сейчас мы нередко отстаем, копируем Запад. Как в производстве товаров для населения пытаемся подстраиваться, а не определять свое отношение к вещам и, естественно, отстаем в экономике. «Все, как у них» — это не для великой державы.

**А. Ф.** Ты видишь выход из создавшегося положения?

**А. Ч.** Надо у молодежи воспитывать чувство национальной гордости, надо прививать вкус к литературе, искусству. Потому что, только основываясь на нравственной традиции, мы сможем что-то создать. А перепевать чужое можно всю жизнь. Взять всю культуру у старой России — эта задача, поставленная Лениным, не была нами выполнена.

Воспитывать чувство национальной гордости — это дело всей страны. Во-первых, экономику поднять, чтобы наши товары были ничем не хуже японских или западногерманских. Во-вторых, с малых лет воспитывать в детях любовь к нашей классической литературе, нашему искусству, нашим традициям, музыке. Любовь к Родине, наконец...



# ЗА РЕЧКОЙ НА ЮГЕ





## ЗА РЕЧКОЙ НА ЮГЕ

Опять жара за пятьдесят,  
Пески взметнулись и висят.  
И лезешь в бронетранспортер,  
Как в полыхающий костер,  
Выхватывая из огня  
Боекомплект шестого дня.

А сколько их еще —

спроси пустыню!..

— Шесть дней назад, — сказал комбат, —  
Разведка видела отряд,  
Прет от границы напрямиком,  
Наверно, коротко знаком  
С оазисами на пути,  
И мы должны его найти.

А сколько их еще —

спроси пустыню!..

Шесть дней в песках искали тень.  
Седьмой удачный выпал день:  
Подул нам в лица наконец  
Не пыльный ветер, а свинец —  
С бархана, с гребня, с бугорка  
Ударили три ДШК.

А сколько их еще —

спроси пустыню!..

...Прошла минута или час,  
Какая разница для нас,  
Когда окончен разговор  
И тащишь в бронетранспортер,  
Перехвативши за приклад,  
В тебя стрелявший автомат.

А сколько их еще —

спроси пустыню!..

*В. Верстаков*



*Вы пришли нас встречать  
Потому, что вы ждете замену,  
Да и нервы у вас  
Натянулись сейчас, как струна.  
На приезжих вы смотрите так,  
Что вздуваются вены.  
Только шепчете вы:  
— Такая вот эта война...\**

# А. ДЫШЕВ **ЗАМЕНА**

Повесть



## ГЛАВА 1

Земля встала на дыбы, быстро вращаясь перед моими глазами. Кишлаки, бесцветная лента реки, желто-бурые пятнистые поля — все это закачалось, закружилось, понеслось куда-то, опрокидывая меня вниз головой.

Тяжелый транспортный Ил стремительно спускался вниз, а под крыльями плыла залитая солнцем чужая, неведомая мне земля.

Рядом со мной проснулся, заморгал красными глазами молодой прапорщик, поднял с пола упавшую фуражку и посмотрел в иллюминатор.

— Кабул, — сказал он, мощно зевая. Чемоданы и сумки, выставленные в ряд посреди салона, одновременно

закачались туда-сюда, как гребцы в лодке, и рухнули на бок. Я машинально потянулся за своим чемоданом, но как раз в ту минуту самолет накренился еще сильнее. Я едва устоял на ногах. Сидящий напротив пожилой майор успел вовремя схватить меня за руку.

— Ёлки-моталки... Не ушиблись? А то, знаете, как тут можно?..

Он вытащил помятый платок, стал вытирать лоб, шею. Руки его дрожали.

Гул двигателей стал стихать, вибра-

\*В сборнике публикуется ряд песен, авторы которых неизвестны. Предполагается, что слова подавляющего числа популярных среди «афганцев» песен являются плодом коллективного творчества (прим. ред.).





ция прекратилась, и казалось, самолет недвижимо повис над землей. Я посмотрел в иллюминатор. Мимо нас проносились серые ангары, автомобили, голубые фанерные домики, вертолеты с обвислыми, будто вымокшими под дождем лопастями.

Я выходил из самолета предпоследним, щурясь от нестерпимо яркого света и ощущая на лице раскаленный поток воздуха, хлынувший в промерзший за время полета салон. В сравнении с моим, чемодан майора был раза в три тяжелее, и я, волоча его к выходу, представлял, как несколько дней назад заботливая майорова жена укладывала в него шерстяные носки, теплое нательное белье, домашние тапочки, пижаму и прочие мелочи, без которых в возрасте моего попутчика уже трудно обойтись.

Нас встречали. По обе стороны от трапа стояли люди в выгоревшей полевой форме. Они без всякого любопытства смотрели, как мы спускаемся, лишь огромная овчарка на поводке проявляла эмоции, дергалась, подскакивала, поскуливала, срываясь на негромкий лай.

Когда салон самолета опустел, один из встречающих, видимо, комендант, объявил в мегафон:

— Отпускникам строиться слева от меня, заменикам — справа!

Майор толкнул меня в спину и потянул за рукав. Мы стали рядом во второй шеренге.

— А куда тебе, браток, дальше-то ехать? — спросил меня майор.

Я пожал плечами, ответив, что знаю лишь номер полевой почты.

— А по должности кто?

— Командир роты.

— Ясно. Воевать, значит, будешь? А я редактор газеты...

Комендант шел вдоль строя, проверяя предписания. Поравнявшись со мной, он долго изучал мои документы, потом поднял глаза, внимательно рассматривая меня. Наконец сказал:

— Вы, если хотите, можете сейчас представиться своему комбату. Петровский у командира полка, там у них неприятность, разбираются... Если вещей немного, идите по этой дороге и слева, за поворотом, найдете часть. Автобус не скоро подойдет.

За нашими спинами вдруг послышался резкий скрип тормозов, хлопнула дверца. Мы обернулись. К строю быстро шел высокий капитан в черных очках, панаме, надвинутой к самому носу.

— Елки-моталки! — воскликнул мой майор и вышел вперед. — Алексей Петрович! Алеха!

— С прибытием, Николай Ильич, — сказал капитан, снимая очки.

Они обнялись. Капитан взял под руку майора и повел к «уазику». Уже из кабины майор помахал мне рукой. Машина рванула с места, круто развернулась и помчалась по рулежке с



такой бешеной скоростью, будто собралась взлетать.

Группа прибывших постепенно расходилась. Часть их увез оранжевый автобус со странной табличкой «Смоленск» на стекле, другие строем направились на пересыльный пункт. Скоро я остался один у пустого самолета.

Вот так началась моя служба в Афганистане.

Полк действительно был недалеко. Минут через сорок я уже сидел на чемодане около штаба в тени маски-сети и раздумывал, ждать мне командира батальона майора Петровского или же, как мне советовали, идти «забивать» койку в местном общежитии, потому как под вечер мест там может не быть.

— Майора Петровского вы сегодня вряд ли дождетесь, — сказал мне дежурный по штабу. — Он у командира полка.

А миловидная девушка в новеньких тугих джинсах, которая стояла рядом, перелистывая журнальчик, подняла бровки и сказала:

— Ну че ты говоришь, Вань! Петровский мне лично сказал, что через час вернется.

— Ну не знаю, — пожал плечами дежурный. — Смотрите сами.

Девушка оказалась права. Через час комбат вернулся.

Майор Петровский был почти на полголовы выше меня. Широкоплечий и немного сутулый, он быстро шел по коридору, заложив руки за спину. За ним, едва поспевая, семенил смуглый прапорщик, что-то негромко объяснял, размахивая руками. Не обратив на меня внимания, комбат крепко толкнул плечом дверь кабинета.

— Детский сад! — прогремел он, шумно сел за стол, закурил, расплющив зубами фильтр сигареты. — Достаточно было взять в рейс любого сержанта из батальона! Максимов, это же так просто!

— Все сержанты были на сопровождении, — осторожно возразил прапорщик, но комбат не стал его слушать.

— Довольно! Хватит рассказывать мне сказки! — Он откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и уже тише добавил: — Зла на вас не хватает...

Прапорщик, не рискуя снова вызвать гнев комбата, молчал, покусывая кончики реденьких рыжих усов. Петров-

ский, глядя сквозь меня, угрюмо произнес:

— Три дня нет выстрелов, и уже готовы в одних трусах по горам ползать... О-ох, тошно!

Он швырнул окурок в пустую консервную банку и стал массировать ладонями свою багровую крепкую шею.

Прапорщик тенью приблизился к комбату и положил на стол чьи-то документы.

— Что это?

— Колчанский, Волков и Саетгораев, — одними губами ответил прапорщик.

— Вот, — мрачно сказал комбат, близко-близко разглядывая фотографию на одном из военных билетов. — Вот к чему приводит наша доверчивость... Начинка для гроба!..

Прапорщик, опустив голову, молчал.

Петровский сложил документы на краю стола и наконец обратил на меня внимание.

— А это кто у нас такой?

Я представился.

— Ясно, — ответил Петровский и с тоской посмотрел на мои запыленные ботинки. — Тоже хочешь стать героем? Станешь...

Минуты две он стоял ко мне спиной, о чем-то думал, глядя в грязное окошко. Потом повернулся, стал ходить туда-сюда, массируя шею.

— Ты меняешь Оборина, третья рота. Наша, так сказать, курортная зона... Да, время летит, успевай только встречать и провожать. Вся жизнь так, наверное, пройдет: привет-прощай. — Он замер и целую минуту молча смотрел в одну точку. — Да, вся жизнь так может пройти... Эх, Оборин, Оборин! Жаль...

Он опять сел за стол, взял документы, потряс ими в воздухе.

— Видишь, какие у нас тут дела творятся? Эти brave ребята поехали в карьер за песком. Есть тут недалеко такой, минут тридцать езды. В полуголом виде, ни одного автомата, ни одной гранаты — будто где-то под Одессой. И что же? Плохо знали дорогу, заблудились. Вот и не стало красивых парней... Понимаешь, о чем я говорю? Здесь всегда надо чувствовать пальцем спусковой крючок, а не обниматься с главарями банд, как некоторые слишком добренькие товарищи...

Петровский посмотрел на часы.



— Третья рота стоит на охране трассы. Через полчаса на север пойдет колонна, я советую тебе сегодня же отправиться в роту. Принимай должность, изучай, так сказать, быт и нравы — он тяжело вздохнул. — Все, прости великодушно, больше у меня нет времени. Послезавтра я подъеду, тогда и поговорим обо всем... Ну, будь здоров!

Он встал из-за стола, пожал мне руку, но не отпустил, будто еще о чем-то вспомнив.

— Да-а-а, — протянул он, глядя на меня с прищуром. — Есть один нюанс... Э-э, Макаров, не в службу, а в дружбу, узнай у дежурного, когда отправится колонна?

Когда прапорщик вышел, Петровский жестом показал мне на дверь, чтобы я плотнее прикрыл ее, и сказал:

— Сядь-ка на минуту.

Одной рукой он обхватил свой массивный подбородок, другой стал терзать карандаш, словно хотел проверить его на прочность.

Пауза затянулась.

— Понимаешь, — наконец сказал он, уткнувшись взглядом в перекидной календарь. — Пашу Оборина, которого ты меняешь, я знаю давно. Одно училище заканчивали... Парень он неглупый, красный диплом имеет. Детдомовец, характер волевой, даст слово — помрет, но выполнит. Одно только плохо — иногда увлекается сомнительными авантюрами. И понимаешь, упрямый, черт, никак не переубедишь его, стоит на своем — и баста! Приходилось мне и служебную власть использовать, хоть мы и однокашники с ним. Я все могу понять и все простить, но пацифизм? Малодушие? Очень дорого за это платить приходится!

Он кинул на край стола документы погибших.

— В общем, советую тебе не очень-то близко принимать к сердцу его рассказы, особенно о переговорах с душманами. Постарайся быть жестче, злее, что ли? И никакого панибратства...

Он хотел еще что-то добавить, но дверь распахнулась и в кабинет вошел прапорщик, а следом за ним — высокий, румяный, как с мороза, и обросший рыжей щетиной капитан.

— Рад тебя видеть, Блинов! — сказал комбат, поднимаясь со стула и пожимая капитану руку. — Возвращаешься с сопровождения?

— Возвращаюсь, Сергей Николае-

вич, — ответил капитан, широко улыбаясь, сел, точнее, грохнулся рядом со мной на стул и стащил с головы измятую панаму.

— Загорел, морду отъел до спелого треска.

— Как же, отъешь тут, — махнул рукой Блинов. — Вчера под Салангом ночевали. Верка, медсестра наша, решила подлечить местных старичков. Раздала им всякие таблетки, объяснила через переводчика, как и по сколько глотать. А эти ребята демократы съели за раз все пилюли плюс банку декамевита. Так утром мы едва спасли троих. А мулла, тот сразу решил, что мы отраву вместо лекарств раздавали... Уф, сколько нервов ушло, пока объяснили им, что к чему... Ну а как вы живы-здоровы?

— Как всегда — между плохо и очень плохо. Вот, кстати, заменщик к Оборину приехал.

— Пашка, значит, Афгану низко кланяется?

Блинов повернулся ко мне, крепко пожал руку.

— Подбросишь его к озеру? — спросил комбат.

— Подброшу, — ответил Блинов. — Какой разговор! Замена — святое дело.

— И расскажешь заодно, откуда иногда вылетают пули и в каких ямах на дороге припрятаны фугасы. Ты у нас человек опытный.

— Добро, Сергей Николаевич!

Мы оба встали. Комбат провожал меня долгим взглядом.

## ГЛАВА 2

Нет, совсем не таким представлял я себе Афганистан. Все оказалось как-то слишком просто и жестоко.

Мы ехали, сидя на броне боевой машины пехоты, с капитаном Блиновым, этим улыбчивым парнем, обросшим недельной щетиной, в большом, не по размеру бушлате, и я смотрел на все то, что окружало, не понимая, во сне это или наяву. Нависшие над самой дорогой голые, изломанные скалы. Рев техники, отдающийся эхом. Приподнятые стволы пушек и пулеметов... Блинов мерз, ежился, но улыбался. Казалось, он радуется тому, что холодно, что навстречу нам дует пронзительный ветер, что от солярной





гари слезятся глаза, и энергично двигал плечами, крутил головой, натягивал панаму на самый лоб.

— «Духи» как черти злые, не дают спокойно служить,— кричал он, наклоняясь ко мне.— Одно утешенье — замена скоро. Эх, дружище, ты даже не представляешь, как это хорошо — замена!

Я действительно не представлял, что это такое. Я не знал, какой жизнью жил этот капитан до встречи со мной и что ему довелось испытать. Но что-то очень подкупающее было в его скуластом обветренном лице, усталых, но уверенных движениях. Он напомнил мне тех бородатых молодых ребят, снимки которых поместили многие газеты,— измученных и счастливых на снегу вершины Эвереста. Я посматривал на Блинова и с удивлением отмечал, что после двух лет рискованной службы со стрельбой, пороховой гарью, бессонными ночами, наконец, с потерями, он мог так просто и чисто радоваться жизни — даже тому, что его утомляет, знобит, угрожает опасностью. Мне это нравилось, хотя и было еще непонятно.

По разбитой гусеницами асфальтированной дороге мы поднимались все выше и выше в горы. Скоро и я стал мерзнуть. Блинов, видимо, угадал это по моему лицу, склонился над люком и крикнул:

— Кирюш, подай-ка нам бушлатик!

Я надел поверх кителя засаленный солдатский бушлат, еще не чувствуя тепла, но уже забыв о холоде, и подумал о том, что, к сожалению, не сумею познакомиться ближе с этим капитаном. Два, три часа от силы — и наши пути-дороги разойдутся, и кто знает, встретимся ли мы когда-нибудь снова. Трудно было сказать, чем пришелся мне по душе этот офицер, но я неожиданно поймал себя на мысли, точнее, на каком-то прозрачном желании быть похожим на Блинова.

— Стреляют здесь часто?— спросил я.

— Здесь нечасто. Последний раз — в мае — сожгли здесь колонну афганских «наливников». А вот дальше, километров через десять, будет Черная Щель. Там да, место удобное.

— Как это понять?— спросил я, хотя и догадывался, что имел в виду Блинов.

— Ну, для засады удобное. В начале лета дня не было, чтобы кого-нибудь не обстреляли... Главное — быстро ее проскочить, а дальше, в зоне Оборина, хоть с девушкой под ручку гуляй.

Я спросил, почему не стреляют в зоне Оборина.

Блинов усмехнулся, показывая свои великолепные белые зубы, и как-то странно весело ответил:

— А его душманы любят!





Он опять поежился, поднял воротник и сунул руки в карманы. Я посмотрел вверх на мрачные скалы и попытался представить там людей, осторожно выглядывающих из-за камней... В мае? То есть четыре месяца назад?..

Где-то уже недалеко находилась «курортная» зона Оборина. Но то, что было сейчас перед моими глазами, никак не вязалось с рассказом о ней. Я уже знал от Блинова, что третья рота, теперь, значит, моя, живет на зависть другим в настоящем кемпинге у самой дороги, построенном еще при короле то ли западногерманской, то ли швейцарской фирмой. Там, у отвесных скал, в прохладе зелени и озерца редкой красоты со студеной родниковой водой проводили уик-энд вельможи, торговцы и прочая знать. На песчаном пляже в ярких шезлонгах загорали красивые женщины, наслаждаясь покоем, солнцем и целебным воздухом. Официанты подносили шампанское со льдом, джюс и колу...

Однообразие дороги мне уже порядком надоело. За каждым поворотом открывался все тот же дикий пейзаж. И тепло, хорошо хранившееся под бушлатом, мерный гул боевой машины незаметно и предательски убаюкивали меня. Время от времени я расправлял плечи, осматривался, кидал взгляд на

спокойное лицо Блинова и снова закрывал глаза, о чем-то задумываясь, но путался в мыслях, оборванных, перемешанных фразах, видениях и чувствах. И вздрагивал всякий раз, касаясь плеча Блинова.

Броня подо мной то уходила вниз, то взмывала вверх, и это укачивало еще сильнее, еще глубже, и мне начинало казаться, что я плыву на корабле в штормовом море, обнимая за плечи Ольгу Андреевну, смотрю навстречу горько-соленым брызгам, а над головой дрожат мокрые и скользкие тросы, скрипят под напором ветра. Маленькая учительница прижималась ко мне, пугаясь разыгравшейся стихии, а меня слепило, будоражило ощущение своей силы, и потому так прекрасно было стоять на мокрой палубе, подставляя лицо брызгам... «Я не могу без тебя, ты понимаешь? Я буду писать тебе каждый день», — шептал я, наклонив голову и касаясь губами ее мокрого воротника, пахнущего сиренью. Палуба была пустынной, и вокруг нее расстилось море, холодное, бесформенное, как дождливое небо. И вдруг Ольга Андреевна оттолкнула меня обеими руками, и в глазах ее застыл ужас. «Нет! Нет, это не ты! Тебя... тебя подменили!..»

Качнувшись, БМП остановилась. Я



тряхнул головой и огляделся вокруг. Сердце бешено колотилось в груди, и я не сразу успокоился. Привидится же такое!

Колонна стояла на узкой обочине, почти прижавшись к отвесной скале. Вдоль нее, запрудив всю проезжую часть дороги, вытянулся длинный караван афганских «наливников». Водители их сидели на корточках у самых колес машин. За изгибом дороги чадил горящий бензопровод, а с почерневших, закопченных гор, сдавивших дорогу как в тисках, раздавались хлопки выстрелов. Черная Щель!

Блинова рядом не было. Я спрыгнул на асфальт и пошел к голове колонны. Вдоль машин с подчеркнутой невозмутимостью расхаживали солдаты, держа автоматы стволами вниз, сплевывали, курили и сквернословили в адрес «оборзевших душков». Молодой прапорщик в шлемофоне, сдвинутом на затылок, размахивал руками, словно дирижировал оркестром, и что-то орал властным тоном, хотя разобрать, что именно, было невозможно. Блинов быстро шел мне навстречу вместе с сухощавым хмурым подполковником, что-то объяснял ему, ударяя ребром ладони по руке. Подполковник, словно стыдясь своего высокого роста, шел пригнувшись и крутил во все стороны головой.

— Сейчас поедem! — бросил мне на ходу Блинов. — Далеко не уходи.

Я встал рядом с группой офицеров, которые под прикрытием брони громко и оживленно разговаривали, смеялись, травили анекдоты, беспрерывно курили и подшучивали над розовощеким толстяком в маскхалате, который стоял на башне БМП, обхватив обеими руками мощный казенник крупнокалиберного пулемета.

— Бача-а-а! — кричал он и, прислушиваясь к отдаленному эху в горах, открывал огонь короткими тяжелыми очередями.

— Ты их спроси: сала свиного хотите? Когда крикнут «Не-е-ет», тогда и стреляй! — советовали толстяку.

— Бача-а-а!!!

— Ген, остается штаны снять и повернуться...

— Бача-а-а! Это я, Геннадий Стрельцов!

И снова короткая мощная очередь.

А водителям «наливников» было не до шуток. Усталые, обреченно-смирные, они сидели на земле уже, наверное,

не меньше часа, глядя с суеверным страхом и надеждой на кощунственно-веселых светлолицых людей в военной форме. Смотрели они и на меня, но хоть убейте, я не знал, чем мог быть им полезен в те минуты и вообще, что здесь произошло. Приставать с расспросами к Блинову мне не хотелось — ему было не до меня. Поговорить с солдатами?

Из подчиненных Блинова я запомнил только одного — солдата по имени Кирюша с совершенно невоенной фамилией — Тетка. Он, как и многие его товарищи, расхаживал вдоль колонны, молодцевато покачивая плечами; не поворачивая головы, искоса, со снисхождением покровителя поглядывал на афганцев. Шлемофон, разумеется, сдвинут на затылок — черт знает, как он там держится! — короткий, похожий на щетку чуб, редкие желтенькие усики и папиросина в зубах. Одним словом, Вася Теркин восьмидесятих годов. Уж этот-то должен знать все!

Я попросил у солдата спички, закурил и, как бы между прочим, спросил:

— Ну что, сейчас поедem?

— Да-а-а, — с небрежностью бывшего воина протянул он, глубоко затягиваясь, и тихо спросил: — А вы не в курсе, че там такое?

Эх, тоже мне Теркин!

— Засада! — кратко ответил я со свирепым взглядом.

Кирюша мгновенно оценил ситуацию.

— Конечно, засада! Они в этом месте все время стреляют, — сказал он мрачно. — Одно слово — Черная Щель! Не слышали? Гроб с крышкой и чертик на крестике! Недавно афганский полчок и две наших роты здесь порядок наводили, мочили их будь здоров! Не-е, без авиации здесь делать нечего. Если «наливники» пустить вперед, то от них одни уши останутся. «Душки» любят «наливники» жечь, — деловито продолжал Тетка. — Вы еще не видели, как они горят? Жуть! Пламя метров на тридцать поднимается. А может, и больше. В ста шагах от горящего «наливника» не выстоите... Пойдемте, товарищ старший лейтенант, кажется, по машинам объявили...

Блинов последним запрыгнул на броню, сел, свесив ноги в люк, рванул затвор автомата, надел шлемофон и, подтягивая ларинги, крикнул солдатам:

— К бою, ребята! Ощетинились!

И я увидел тогда, как напряглись



всем телом солдаты, сидящие на броне, как «ощетинились» они стволами автоматов, подняв их вверх, как изменились, посуровели их глаза, много раз видевшие то, что сейчас мне предстояло увидеть впервые. Я вцепился руками в крышку люка, стиснув ее так, что побелели пальцы.

Боевая машина с оглушительным ревом понеслась вперед. Я в последний раз бросил взгляд на серые «наливники», на водителей, сидящих за колесами... Афганцы смотрели на нас, как на богов.

— Полезай в люк! — крикнул мне Блинов и откинулся назад, почти лег спиной на броню, выставив ствол автомата вверх. — Ближе к стеночке! Скорость до полика, до полика! Стеночки держись!

Я сначала не понял, кому он кричал последние слова. Боевая машина вильнула корпусом, съехала с асфальта и помчалась по обочине, почти касаясь гранитной стены.

Потом я уже не различал слов Блинова. Казалось, воздух ожил, задрожал от чудовищного грохота автоматов и пулеметов, вытянулся в стальную струну и лопнул. И краем глаза, нечетко, я увидел вокруг себя солдат — одинаковых до неузнаваемости, застывших в одной позе, лежащих спиной на броне с вытянутыми вверх стволами автоматов.

Надо мной склонилось огромное, молочно-белое лицо Тетки.

— Патроны! Дайте коробку с патронами!

Я провалился вниз, ударившись локтем о металлический угол перископа. Мне показалось, что я предательски медленно двигался, а руки мои онемели. «Спокойно! — сказал я сам себе. — Это всего лишь учения, рота сдает проверку московской комиссии».

Это нелепое самовнушение, внезапно пришедшее в голову, как ни странно, помогло. Я схватил коробку, путаясь в ленте, и почти бросил ее в протянутые ко мне руки. Тетка исчез в проеме люка, исполосованном малиновыми нитями трассеров, с качающимися и бешено кружающимися скалами. Я что-то продолжал искать в утробной темноте машины, меня кидало из стороны в сторону, я падал на колени, валился на бок, откидывая в сторону бушлаты, флаги, коробки, и не мог найти что-то очень нужное сейчас. Машинально я схватил-

ся за ноги Блинова, пляшущие на спинке сиденья, как поршни гигантского механизма. Он, не думая обо мне, забыв о моем существовании, сильно дернул ногой, ударив меня ботинком по лицу.

— Автома-а-ат! Дайте автомат! — крикнул я неизвестно кому, поняв вдруг, чего мне так не хватало сейчас.

Я поднялся над люком и лег грудью на броню. Справа от БМП, в каких-нибудь двух метрах, мчалась грузовая машина с размалеванными высокими бортами. Блинов, ухватившись одной рукой за крышку люка, бил прикладом автомата по кабине грузовика.

— Назад! Наза-а-ад! — кричал он.

Я на мгновение увидел лицо водителя, его оскаленные, стиснутые зубы, мокрые полосы на щеках, обезумевшие, нечеловеческие глаза и крикнул Блинову в ухо:

— Дай мне автомат!

— Прижми его к скале! Обгоняй, мать твою! — визжал худой солдат и, лежа на боку, стрелял поверх кабины длинными очередями.

Грузовик подскакивал на ухабах, гремел, скрежетал кузовом и выл мотором на одной истерической ноте. БМП дернулась вправо. Раздался удар, глухой хруст, с холодным щелчком лопнуло стекло в дверце. Грузовик с изуродованным крылом выехал на обочину, но не снизил скорости, все так же продолжая мчаться рядом с боевой машиной.

— Ударь еще раз! Вали его, вали!

— Стой! Стой! — кричал Блинов, готовый вот-вот прыгнуть на подножку грузовика.

Тетка стоял на коленях, прижимаясь грудью к казеннику пулемета, и содрогался всем телом с каждой очередью. Вокруг солдата катались по броне гильзы, подпрыгивали пустые магазины. Кто-то надрывно хрипел, кашлял, склонившись над сеткой выхлопной трубы.

— Вали-ев-в-в-о-о!!!

Грузовик вдруг обогнал боевую машину, виляя шатким кузовом, как старая кляча крупом, помчался под уклон дороги, занимая всю проезжую часть.

— Сам сгорит и дорогу закроет! — со злостью стучал кулаком по броне Блинов.

БМП металась из стороны в сторону, пытаясь обогнать грузовик, изорванная покрышка заднего колеса которого шлепала по асфальту как мухобойка, а изрешеченный пулями кузов жалобно трещал и скрипел.





— Смотри!— Я схватил Блинова за плечо, показывая рукой вперед.

Метрах в трехстах от нас дорога исчезала. Пламя гигантского пожара, как красная штора, закрыло всю проезжую часть. Глянцевитой смолой стекал на обочину расплавленный асфальт, пожирая сухую траву; она вспыхивала, как спички, брызгая во все стороны огнем.

— Дурила, ох дурила!— поморщившись как от боли, заревел Блинов и, прижав к горлу ларинги, приказал механику:— Останови его, как можешь останови!

Боевая машина в ту же секунду рванулась вперед, покачивая острым лодочным передком.

— Ноги!— предупредил кто-то.

Удар пришелся под самый кузов грузовика. БМП приподняла его задний мост, оторвала на мгновение колеса от земли, затем бросила, выворачивая с хрустом подвеску, протащила изуродованный грузовик еще несколько метров и остановилась.

— Все к машине! За броню!

Солдаты прыгали на обочину, падали, вжимаясь изо всех сил в песок. Тетка, не оборачиваясь, все так же стоял на коленях у пулемета, стрелял и что-то все время кричал. На броню горохом сыпались гильзы. Блинов

толкнул меня, опрокидывая на землю у самых гусениц, и закричал:

— Прикройте!— и бросился, низко пригибаясь, к грузовику. С хрустом вылетели последние стекла кабины, запузырился кузов, отбрасывая от себя разноцветные щепки. «Почему я лежу? Надо что-то делать...» До боли вонзил я пальцы в сухой грунт, вырвал из него булыжник и в бессильной ярости швырнул в скалу.

— Автомат! Ну дайте же автомат! Блинов нырнул в кабину грузовика, а я вскочил на ноги, но не сделал и трех шагов, как опять рухнул в горячую пыль, чувствуя непреодолимое притяжение земли.

— Куда вы?!— тянул меня за рукав, насколько это можно было вежливо сделать, серый, безликий солдат, раскрывая по-рыбьи огромный рот.— На машину! Лезьте на бээмпэ!

— К черту! Осатанели? Помогите Блинову!

— На машину! На машину!— не слушая меня, шипел солдат.

Блинов вывалился вместе с афганцем из кабины, и они, не выпуская друг друга, будто борясь, покатились в кювет.

Меня сильно толкнули к броне, кто-то сверху схватил влажной рукой за запястье, и я почувствовал, как лопнул в чужих пальцах браслет моих часов.





Ухватившись за край люка, я потянул свое тело наверх. БМП с места боднула грузовик в борт, поволокла его юзом к скалам, освобождая дорогу. Изуродованные колеса с торчащими в разные стороны ошметками резины медленно оторвались от земли, на какое-то мгновение замерли в воздухе, и грузовик наконец рухнул на бок, ломая под своей тяжестью остатки кузова.

Блинов тяжело бежал к БМП, размахивая руками, словно пробирался сквозь густой кустарник. У самой машины он вдруг остановился, не обращая внимания на руки, протянутые ему навстречу, и наклонился, будто хотел отряхнуть брюки от пыли.

— Руку!— грубо выкрикнул я.— Давай руку!

Но Блинов не выпрямился, продолжал стоять, опершись руками о колени, потом поднял голову и, глубоко дыша, сказал:

— Сейчас, погоди... Не ори...

— Руку!!!

Вдруг Тетка, оттолкнувшись ногой от жалюзи трансмиссии, прыгнул вниз, покатился по земле и на четвереньках подполз к Блинову.

Я похолодел.

Блинов опустил голову и сел на корточки. Точнее, он упал, но Тетка успел подхватить его под руки.

— Помоги-и-ите-е!!!

Двое солдат спрыгнули вниз, кто-то занял место у пулемета, и в грохоте очередей я уже не слышал, что говорили и кричали солдаты, поднимая на броню тяжелое, обмякшее тело своего командира. «Блинов! Блинов!»— звал я его, даже не зная имени, а он смотрел на меня, на солдат, на горы уже невидящими глазами, и мы мчались куда-то, и нестерпимой болью жгла мне руку его липкая, клейкая, горячая спина.

«Его убили?— думал я, чувствуя, что перестаю соображать, где нахожусь и куда еду.— Это неправильно! Кто эти подонки? Кто им дал право стрелять в него? За что...»

А вокруг, отвратительно чавкая, горел бензин, и текла нескончаемой рекой лента огня, кружились в бешеной пляске черные скалы, и рядом, прижимаясь лицом к коленям Блинова, плакал солдат Тетка, и никто его не жалел, не успокаивал...

### ГЛАВА 3

Браслет от часов оставил розовый отпечаток на запястье. Я тер его пальцами, как чернильное пятно. Который час? Какая здесь разница с Москвой? В моем гвардейском, дважды ордено-



носом полку сейчас, наверное, обеденный перерыв. В офицерской столовой, как всегда, народу битком, духотища, мои товарищи толпятся у раздаточной с подносами в руках. Кассирша Зина, как на печатной машинке, стучит по клавишам, выбивая чеки, а офицеры возмущаются, что сметана слишком жидкая, а в борще вместо мяса — разрезанная сосиска. В буфете нарасхват идет боржом, запотевшие из холодильника бутылки открывают о шероховатый, как напильник, край алюминиевого прилавка, пьют здесь же, залпом, до слез. Говорят о предстоящей итоговой проверке, о вакантной должности начштаба, о новом приказе по форме одежды, о краске для пола в ленинской комнате... И никто не знает, что всего полчаса назад в бою на Саланге убит наш человек — капитан Блинов.

Какой глупостью, какой ерундой я занимался там! До чего же смешна была та мышьяная возня, на которую я тратил нервы, время. Как я был наивен, когда не спал всю ночь накануне парада и мне казалось, что нет ничего в жизни страшнее, чем упасть на виду у всех на скользкий булыжник. До чего примитивны были мои переживания, когда на строевом смотре замкомандующего сделал мне замечание за прическу. Насколько пусты были мои беды, когда я в бессильной ярости лупил кулаками по стене, думая, что навсегда потерял Ольгу Андреевну...

Сколько же надо было прожить, чтобы наконец задуматься об этом?

Сидя на чемодане у самодельного шлагбаума, вдоль которого расхаживал угрюмый часовой в каске, я тупо смотрел на белый кемпинг, у входа в который носились, гремя ботинками, солдаты, выносили и складывали у мраморной лестницы вещевые мешки, брошенные, похожие на рыцарские доспехи, лоснящиеся от смазки пулеметы.

Где же вы, братцы, раньше-то были?

— Ну, здравствуй, что ли?

Я поднял голову. Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек в маскхалате, кроссовках и огромных черных очках. Постриженный почти наголо, смуглый, с угадывающимися под одеждой буграми крепких мышц, он напоминал киноактера, снимающегося в вестернах.

— Степанов? Я не ошибся, ты Степанов? — спросил он.

— Да, я...

— Ну чего сидишь, черт тебя подери! — Он наклонился ко мне и вроде бы хотел обнять. «Спасибо, товарищ Оборин, — подумал я, — что ты хоть рад моему приезду».

Я с трудом встал. Ноги затекли, будто суставы в коленях заржавели.

— Слушай, что это солдаты все бегают? — спросил я. — Чего всполошились? — Злая ирония помимо воли так и лезла из меня.





Оборин остановился и удивленно посмотрел мне в лицо.

— Ты разве не знаешь? Какой же ты дорогой сюда приехал?.. Душманы опять объявились в Черной Щели, есть тут недалеко такое место.

— Гроб с крышкой и чертик на крестике?

Оборин улыбнулся и кивнул головой.

— Точно...— Он поднял голову, глядя на скалы, нависающие над ротой.— Видишь верхушку, похожую на трезубец? В прошлом году мы там установили сигнализацию, чтобы не дать «духам» плевать на нас сверху. Так вот, пятнадцать минут назад сработала. Кто-то прошел по тропе... Видишь, денек какой? Сначала Черная Щель, потом сверху, над самой головой, беспокоить начинают...

Я стоял как вкопанный, глядя на залитые солнцем горы. Перед глазами все плыло, кружилось, и не хватало воздуха.

— Слушай, парень, ты что-то побелел... Перегрелся или устал с дороги? Пойдем, под кондиционером оклемаешься.

«Да, я перегрелся,— думал я, чувствуя, что Оборин мне активно неприятен.— Озерцо, песочек... Где-то душманы «объявляются», а тут сигнализация, как в сберкассе, срабатывает, солдаты бряцают оружием... Что ж, замена — святое дело»...

— Да брось ты чемодан! — услышал я как издалека.— Дневальный поможет.

На перекладине, установленной в фойе кемпинга, тренировался солдат. Красный от натуги, он с сопением отрывал от пола собственное тело плюс пуговую гирию, подвешенную к поясному ремню. Услышав Оборина, он спрыгнул, снял с ремня гирию, облегченно выпрямился, взял мой чемодан и понес по коридору.

— Вот моя комната,— Оборин открыл настежь дверь, пропуская меня вперед.— Ложись на койку, там свежее белье, и отдыхай. Ужин в девятнадцать ноль-ноль. Я предупрежу, тебе принесут.

Он хотел выйти, но я взял его за руку.

— Подожди... Ты знал Блинова?

— Капитана? С третьего батальона? А что?

— Ты его хорошо знал?

Оборин внимательно посмотрел на

меня, нахмурился и, не сводя с меня глаз, покачал головой.

— Нет, друзьями мы не были...

— Жаль,— глухо ответил я и сел на стол.

— Я тебя не понимаю. Почему ты так спрашиваешь о Блинове?

— Почему? — Я выдавил из себя жалкую усмешку.— Его убили час назад... Некому было прикрыть нашу колонну.

Оборин, мне показалось, никак не отреагировал. Он помолчал минуту, потом спросил:

— Ты проезжал с ним Черную Щель? Я кивнул.

Оборин опустил глаза. Теперь я увидел на его лице смятение. Это доставило мне неожиданное удовольствие.

— В озере купаться можно? — спросил я, не сводя с Оборина взгляда.— Как сегодня водичка?

Оборин ничего не ответил, подошел к тумбочке, вынул оттуда флягу и плеснул в кружку.

— Выпей и ложись спать... Завтра поговорим.

Я машинально поднес ко рту кружку. В нос ударил тяжелый запах спирта.

— Не могу.

Оборин подошел к двери.

— Постарайся все же заснуть...

Я сидел на столе, без всякого интереса разглядывая разложенные под листом плексигласа схемы района, минных полей, списки личного состава, фотографии. Хмурый круглолицый малыш в буденовке. На скамейке сидит молодой и худой Оборин в курсантской форме и вместе с рослым, плечистым сержантом держит в вытянутых руках транспарант «Все на коммунистический субботник!». В сержанте я узнал своего нового комбата — майора Петровского. Действительно, учились вместе. Третий снимок: на фоне группы белобородых стариков в чалмах вполоборота стоит солдат в каске, бронежилете, перепоясанный пулеметной лентой, и машет кому-то рукой. И снова малыш...

Я сел на койку, чувствуя глухое безразличие ко всему происходящему и окружающему, рухнул на подушку, покачиваясь на сетке. В спину что-то давило, я просунул руку под матрац и нащупал холодный металл.

Я лежал, рассматривая маленький, похожий на игрушку автомат с пристегнутыми к нему магазинами, перевязанными изолентой. Гладкий, отполирован-



ный, он приятной тяжестью давил мне на ладонь. И каждый изгиб его стального тела, каждая деталь таили темную и суровую логику. Странно! Я будто впервые видел автомат, впервые держал его в руках.

Я несильно надавил на лепесток предохранителя. Он поддался, скользнув вниз. Мне показалось, будто автомат медленно напрягается в моих руках, замирает, прислушиваясь к моим движениям. Хорошо смазанный затвор почти беззвучно отошел назад и гладко вернулся обратно, где-то внутри бережно вставляя патрон в ствол. Я нащупал пальцем покатушку выемки спускового крючка и чуть-чуть надавил на него... Еще немного... Ничто не сдерживает, не мешает... Еще какой-нибудь миллиметр, и измученная ожиданием бешеная струя свинца и огня рванется к потолку...

С усилием я оторвал палец от крючка и быстро защелкнул предохранитель. Швырнув автомат под подушку, я встал с койки и раскрыл свой чемодан. Я перебирал вещи, кульки, свертки, весь этот ненужный здесь хлам. Голубую рубашку и галстук — к чертям! Отличная тряпка для мытья полов. Записную книжку с адресами сослуживцев — к чертям! Изорванные листочки, как хлопья мокрого снега, закружились по комнате. Коллекцию значков, которую я вез в подарок афганским детям, — к чертям! Прекрасен хруст под каблуками. О наивный юноша! О благородный рыцарь! А-а, и вы здесь, сударыня?

Ольга Андреевна строго смотрела на меня с фотографии из-под обрывков бумаги. Куда я тебя привез? Оставайся лучше в своем уютном мирке иксов, тангенсов и логарифмов...

Я порвал фотографию.

Это было просто безумие!

По пути на службу я проходил через парк в восемь часов с минутами, и в это же время, по той же тенистой аллее проходила она. Не помню уже, когда первый раз обратил на нее внимание, но с того дня, как выразился мой комбат, я стал похож на адъютанта командующего, хотя он и не уточнял, чем именно. Эти встречи повторялись день ото дня, и с каждым разом я все больше испытывал унижительное чувство своей неполноценности.

Я проследил весь ее утренний марш-

рут, узнал, что работает она в школе и по утрам заходит в детский сад.

Впрочем, то, что я называю встречей, таковой была только для меня, потому что молодая учительница упорно не замечала идущего рядом офицера, его всегда чистую, отглаженную рубашку, сверкающие сапоги, весь его лоск и блеск. Меня вообще для нее не существовало. Ольга Андреевна, очень неплохо одетая, шла по мшистому, в зеленых островках асфальту не торопясь, видимо, получая удовольствие от тишины и безлюдья. Если она и бросала на меня взгляд, то так, будто я был прозрачным, и ее лицо выражало самоуверенность привлекательной женщины, безразличие и усталость.

Эти встречи стали для меня приятным ритуалом и моей маленькой тайной, которой я не делился даже со своим другом — циничным и язвительным Дыриным, и если однажды в известное время я не встречал учительницу на аллее, то весь день чувствовал себя крайне скверно и с нетерпением ждал следующего дня.

Иногда я видел Ольгу Андреевну с мальчиком лет пяти, становился за ней в очередь в нашем военторге или на почте, прислушиваясь к их разговору. Однажды у окошка, где выдают бандероли, я хорошо рассмотрел ее руки. Она не носила обручального кольца! На свертке я успел разглядеть: «Шумихиной О. А.»

На следующий день после утреннего построения я подошел к Дырину и, не вдаваясь в подробности, сказал ему, что хочу познакомиться с девушкой, но не знаю, как это лучше сделать.

— Степанов! — удивленно протянул он, отступив от меня на шаг. — Ты ли это?

К счастью, почти все офицеры уже разошлись по своим подразделениям и нас никто не слышал.

— Рост какой? — спросил Дырин коротко, очень серьезно глядя на меня.

— Вроде ниже меня, — пожал я плечами.

— Та-ак, замечательно... Учится или работает?

— Учительница в младших классах.

— В младших? — переспросил Дырин, будто это имело какое-то значение. — Интеллигентка, значит... Что тебе посоветовать, исходя из моего скромного опыта? Ведешь ее на обед в кафе, заказываешь курицу, съедаешь ее и говоришь, что-де дичь изжарена отвра-



тительно, что ты готовишь в сто раз лучше, приглашаешь девушку к себе, вроде как убедить ее в своих выдающихся кулинарных способностях, и она твоя!

Я сказал Дырину, что он глуп, на что тот даже не успел обидеться, и побежал к своему комбату, который тряс ему кулаком и что-то кричал.

И все-таки ничего более умного я придумать не смог. Презирая себя, я снял с книжки сто рублей и в обеденный перерыв направился в школу.

Ольгу Андреевну я увидел в школьном дворе, где она, видимо, проводила с учениками урок. Дети прыгали по ступенькам, носились по газонам, толкались, орали, а моя маленькая учительница спокойно наблюдала за ними, стоя в тени акаций.

Проверив, на месте ли деньги, я подошел к ней и уже хотел было поздороваться, как круглолицый взъерошенный мальчуган чуть не сбил меня с ног, прижал ладонь к уху и заорал:

— Здравия желаю, товарищ генерал, хэнды хох!

Я поздоровался с Ольгой Андреевной, оглядываясь по сторонам на всякий случай. Учительница не ответила мне, взглянула удивленно и холодно и, давая понять, что есть дела поважнее, чем знакомство на улице, повернулась и пошла к детям.

Я догнал ее. Учительница не повернула головы, но остановилась.

— Разрешите пригласить вас на обед?

«Идиот!» — сказал я себе, поняв, как нелепо прозвучала эта безобидная фраза.

— Зачем? — спросила она, подозрительно и вообще очень неприятно взглянув на меня.

— Ну-у... — протянул я.

— Не надо. Ничего не надо.

— Вообще ничего? — на всякий случай уточнил я.

— Да, вообще ничего не надо.

Какими словами я называл в уме Дырина!

Вечером, изнемогая от тоски, я стал писать ей письмо, твердо убежденный в том, что никогда его не отправлю. Я писал, как каждое утро встречаю ее в парковой аллее, как узнал ее имя, как драю сапоги до зеркального блеска перед выходом из дома, как мечтаю, чтобы она позвонила мне вечером по те-

лефону. Подписался, как мне казалось, загадочно и романтично: Александр Петрович. В общем, это получилось не письмо, а бред сумасшедшего.

Утром, удивляясь своему безрассудству, я опустил письмо на семи листах в почтовый ящик.

Ни через три дня, ни через неделю Ольга Андреевна мне не позвонила. Но я с упрямой настойчивостью снова сел за письмо. Так продолжалось каждый вечер две недели подряд. По утрам мне было стыдно вспоминать то, о чем я ей писал накануне, и еще более стыдно встречаться с ней в парковой аллее, но странно — Ольга Андреевна по-прежнему не обращала на меня внимания, будто не помнила меня и не читала моих писем. «Она их не получает! — осенило как-то меня. — В школе они запросто могут затеряться».

В конце концов терпение мое лопнуло, и я позвонил в учительскую.

— Шумихину, пожалуйста!

Мне тотчас ответил ее голос:

— Я слушаю вас.

К такому быстрому развитию действий я не был готов.

— Алло! Говорите!..

— Это Александр, — выпалил я. — Вы получили мои письма?

— Александр Петрович? — неожиданно приветливо, даже радостно спросила Ольга Андреевна и, растягивая гласные, сказала: — Здра-авствуйте!

Я бросил трубку и с грохотом выскочил из телефонной будки. Что она сказала? Что она спрашивала? Ничего не замечая вокруг, я почти бежал по тротуару не помню в какую сторону. Да какая разница, что она говорила! Она прочитала мои письма и узнала меня!

Через полчаса я снова позвонил Ольге Андреевне с предложением встретиться. Она сразу же спросила: где и когда?

...В ту встречу Ольге Андреевне я не понравился — это было заметно по ее потухшему и разочарованному взгляду.

— Так это вы?

Автора сумбурных писем она представляла себе другим.

И все-таки мы стали встречаться не только по утрам на аллее. Пытаясь превзойти самого себя и восхитить Ольгу Андреевну, я пел под гитару песни Дениса Давыдова, читал наизусть Федорова, Доризо и Вознесенского, возил ее на стрельбище, где расстреливал на лету бутылки с водой и, как прежде, по



несколько раз в неделю писал ей письма. Даже мой циничный Дырин беспокоился и как-то сказал: «Ты плохо кончишь, возможно, в психиатрической больнице».

Но я ничего не мог с собой поделать.

Однажды я без приглашения пришел к Ольге Андреевне домой. В единственной комнате ее было не убрано. Сын Алешка, сидя на ковре, строил из кубиков крепость, а Ольга Андреевна гладила постельное белье и детские рубашки.

Я поставил на журнальный столик шампанское.

— Ты будешь со мной играть? — спросил Алеша.

Я играл с ним, наверное, целый час. За это время Ольга Андреевна успела не только перегладить все белье, но и убрала гору книг с письменного стола, вытерла с полок пыль, полила цветы, хотя, я был уверен, особой необходимости в этом не было. Время от времени она с любопытством поглядывала на нас с Алешкой.

Потом мы с Ольгой Андреевной пили шампанское и курили на балконе.

— А где его отец? — спросил я, когда Алешка выбежал в комнату за своими рисунками.

— Служит в Ленинграде, — ответила Ольга Андреевна. — Тренер в СКА.

Меня, конечно, интересовало другое. Она это поняла и спокойно добавила:

— Мы развелись год назад.

— У него есть семья?

Ольга Андреевна пожала плечами, но ответила уверенно:

— Нет, он не собирается жениться. Он думает вернуться, — и перевела разговор на школьные дела.

В коридоре на меня выскочил Алеша.

— Ты уже уходишь? — обиделся он, хотя я пока не собирался уходить. — А почему ты не останешься с нами спать?..

Я заметил, как Ольга Андреевна покраснела, взяла сына за руку и сказала:

— Алеша, не приставай, иди рисуй в кухню.

— Знаете, Ольга Андреевна, уже поздно, я пойду наверное.

— Да-да, — она накинула на плечи кофточку, взяла с полки ключи.

— Идемте, я заберу почту.

Я спускался по лестнице первым, а Ольга Андреевна — неслышно — за мной. Потом я светил спичкой в темном подъезде, а она никак не могла попасть ключом в замок.

— Давайте попробую, — сказал я. Ольга Андреевна протянула мне ключ, я легко открыл ящик.

— Ничего нет, — сказала она, как мне показалось, разочарованно и тихо рассмеялась. — Я сумасшедшая, хотела получить от вас письмо.

Ольга Андреевна не торопилась уйти. Кажется, я должен был что-то еще сделать.

— До свидания, Ольга Андреевна.

— До свидания, Александр Петрович.

Я вышел на улицу, чувствуя огромное облегчение, вытащил сигарету, хотел было прикурить, как услышал за спиной сдавленный шепот:

— Саша...

Я бросился назад, не видя уже ничего, кроме ее рук, протянутых ко мне. Фуражка слетела с моей головы и колесом покатила под лавку...

Ольга Андреевна, оказывается, была ниже меня на целую голову.

Еще полыхал дневной зной, еще ослепительно светились горы, а приближающийся вечер уже чувствовался по длинным прохладным теням деревьев, по розовому свечению мраморных натеков, покрывших серые скалы, и глубоко лазурному небу.

Оборин в полной экипировке, увешанный снаряженными магазинами, сигнальными ракетами и гранатами, уже не был похож на того пляжно-вульгарного супермена, одетого в широкий маскхалат на голый торс, в огромных непроницаемо-черных очках, каким он встретил меня у шлагбаума. Затянутый в горный костюм цвета выгоревшей травы, втиснутый в металл, он чем-то напоминал большую деталь для мощной машины.

— Паша, — сказал я. — Дай мне какую-нибудь одежду и автомат. Я пойду с тобой.

— Успеешь, — отрезал он. — Отдыхай пока.

— Нет, не успею, Паша, — тверже сказал я, давая понять, что спорить со мной нет никакого смысла.

Оборин взглянул на меня понимающе, но все же покачал головой и ответил:

— В таком состоянии в горы не ходят.

— У меня нормальное состояние!

— Я это сразу понял... Ты в самом деле возьми полотенце да искупайся. Вода сегодня отличная!

Чувствуя его иронию и готовый вот-





вот сорваться и нагрубить, я сквозь зубы процедил:

— Я все равно пойду.

Оборин вздохнул, оглядел меня с ног до головы.

— Ну, раз ты так настойчив... Только, пожалуйста слушайся меня. Здесь пока я начальник гарнизона. Договорились?

Мы прошли к кладовке старшины. Когда до двери оставалось несколько шагов, она с треском распахнулась и оттуда выскочил коренастый солдат и едва не сбил Оборина с ног.

— Киреев, добрый вечер,— сказал Оборин, морщась и потирая ушибленный локоть.

— Добрый вечер,— буркнул солдат, поправляя на себе куртку. Оборин ободряюще похлопал его по плечу и сказал:

— Ну ничего, ничего.

Мы зашли в кладовую. Оборин плотно прикрыл за собой дверь.

— Сафаров, в чем дело?

Рослый сержант с черными тонкими усиками тяжело поднялся из-за стола и буркнул:

— Ни в чем... Поговорили.

— Опять припомнил ему засаду? Сержант промолчал.

— А я ведь просил тебя!

— Да не трогал я его, товарищ ка-

питан, пальцем не коснулся,— загудел Сафаров.— Если бы тронул, то сразу в инвалидную коляску посадил бы. Он снова к молодым цепляется, вот я ему и сказал пару слов.

Оборин вздохнул.

— Хороший ты парень, Сафаров, но пойми, что армия — это не инспекция по делам несовершеннолетних.

— Я в оперотряде работал, а не в инспекции,— обиженно поправил сержант.— Там с такими, как Киреев, я бы по-другому разговаривал.

— Я бы тоже,— согласился Оборин,— но сейчас мы идем в горы и, пожалуйста, подыщи приличный комбез своему будущему командиру роты.

Сафаров смерил меня взглядом, прикидывая рост, и достал с полки не первой свежести комбез.

— Мерьте...

Комбинезон источал запах пота, плесени и кострового дыма, но, не испытывая ни капли отвращения, я сразу же стал его надевать на себя.

— На первое время сойдет,— сказал Оборин, оценивающе глядя на меня.— Потом достанем новый.

— Теперь давай автомат и побольше патронов.

Я заметил, как Сафаров вопросительно посмотрел на Оборина, и тот кивнул.





Ожидая команды на выход, я нервно ходил вдоль выложенных на асфальте вещевых мешков, приглядываясь к лицам солдат. Киреев, который едва не сшиб нас у входа в каптерку, сидел в стороне от всех, в тени переодевалки, обхватив руками голову, и плевал себе под ноги. Под румяной кожей на скулах перекатывались желваки, будто солдат усиленно пытался разгрызть орех.

— Здравия желаю!

Я обернулся. Рядом со мной навытяжку, отдавая честь, стоял совсем молодой лейтенант.

— Я командир взвода лейтенант Железко! — как приятную новость доложил он мне. — Разрешите идти с вами?

Я пожал плечами.

— Пока здесь Оборин командует. Вот у него и спрашивайте, — равнодушно ответил я.

Улыбка сошла с лица лейтенанта. Он потоптался на месте, сконфуженно буркнул «Есть!» — и побежал в помещение. Парень не знал, кому из двоих ротных должен подчиняться. «Потом, потом, — сказал я про себя, глядя вслед Железко. — Не до тебя сейчас».

Ноющая боль под лопаткой, горные ботинки, натирающие ноги, навязчивые мысли о холодной воде маленького озера — все это доставляло мне странное, мучительное наслаждение, заглушало тоску, охватившую меня после гибели Блинова. Я был изнурен крутым, долгим подъемом, но не хотел, чтобы он наконец закончился и можно было бы снять тяжелое снаряжение, лечь на землю, не шевелясь, не думая ни о чем. Я готов был идти по этой горе до тех пор, пока вообще буду в состоянии двигаться. Оборин, в отличие от меня, шел легко, будто поднимался по лестнице в собственную квартиру, пружинисто прыгал с камня на камень. За ним, раскачивая широкими плечами, словно по грудь в воде, поднимался верзила Сафаров с пулеметом в руках. Тонкие, безликие и одинаковые, как оловянные солдатики, братья-близнецы Латкины шли рядышком, будто их локти были склеены, и крутили во все стороны головами. Низкий, сутулый, чем-то внешне напоминающий Оборина москвич Киреев тяжело сопел слева от меня и так внимательно смотрел себе под ноги, словно искал среди камней грибы. Неполная рота растянулась по подъему метров на сто.





Громадное красное солнце лежало на зубчатой верхушке скалы, словно на- низанное на нее, по-прежнему, как и днем, излучая доменный жар. Но от рез- ких, контрастных теней уже струилась сырая прохлада — значит, наступал ве- чер.

— Привал,— сказал Оборин.

Я сделал еще несколько шагов, под- нимаясь к Оборину на узкий гранитный выступ, и, сдерживая себя, медленно сел рядом с ним, прижимаясь спиной к угло- ватой стене.

Маленький гарнизон, казалось, ле- жал прямо под подошвами моих боти- нок. Зеленое пятнышко озера, белые ку- бики переодевалок кемпинга, серая по- лоска шоссе напоминали мультиплика- ционную декорацию. Еще были разли- чимы и люди. Правда, разобрать, кто есть кто, с такой высоты было невоз- можно, но наверняка за ротой сейчас следили и угрюмый часовой у шлагбау- ма, и лейтенант Железко, которому Обо- рин приказал все время быть на связи.

— Паша,— спросил я, всматрива- ясь в далекую горную гряду.— Отсюда видна Черная Щель?

Оборин покачал головой, встал, по- вернулся лицом к вершине и, рисуя в воздухе воображаемую черту, сказал:

— Если выйти к тому красному хребту, то по нему часа за два можно добраться к Черной Щели. Мы туда

много раз ходили на блокирование.

— Значит, это рядом?

— Рядом — не рядом, но по горам все же ближе, чем по шоссе.

Я тоже встал, потрянул на себе сна- ряжение и пошел вверх.

— Не торопись,— сказал Оборин.

Я ничего не ответил.

Чем ближе мы подходили к вершине, тем больше дробилась она на отдельные валуны, казавшиеся снизу единым це- лым, теряла очертания и растворялась среди хаоса гигантских глыб. Ни озера, ни белых кубиков на его берегу, ни шос- се уже не было видно, и повсюду, куда хватало взгляда, громоздились залитые закатными лучами призрачные горы.

Я не заметил, как закончился подъем. Оборин, шедший впереди, ступил на ровную площадку, оглянулся и пошел по тропе влево, глядя под ноги. Вскоре нагнулся, что-то поднял и махнул мне рукой.

— Смотри,— сказал он, показывая мне кусок тонкой, как волос, медной проволоки.— Мы не ошиблись, час на- зад здесь кто-то прошел.

— Товарищ капитан, здесь сле- ды! — Оба Латкиных сидели на корточ- ках, разглядывая отпечатки рифленной подошвы.— И не один человек, а целая группа.

— Ты думаешь, это банда? — спро- сил я.





Оборин пожал плечами, оглядывая скалы.

— Не знаю, старина, не знаю. Но вряд ли пастухи.

— Сколько, ты говоришь, ходу от Черной Щели до этого места?

— Часа два.

— А за час можно дойти?

Оборин понял, о чем я думал.

— Ну если только бегом.

— Прекрасно,— ответил я и полез за сигаретой.— Замечательно!

Мы шли по тропе, и гранитные валуны ломаным строем напоздали на нас, обходили, будто боясь раздавить. Солнце стремительно темнело снизу, будто опускалось в лужу чернил и впитывало их в себя. Ярко-синее небо напоминало теплое южное море, каким-то чудом прилипшее к звездам.

Я быстро шел за дозором, стараясь не упускать из виду Латкиных. Хорошо представляя после сегодняшних событий, что может ожидать меня впереди, я все же испытывал странное упоение своей силой и властью, которую давало оружие.

Не прошло и десяти минут после выхода на гребень, как Латкины стали вести себя странно. Поднявшись на треугольный валун, похожий на акулий плавник, они вдруг упали, прижавшись к камню, будто их чем-то придавило свер-

ху. Один из них отполз, оглянулся и замахал рукой.

Вот оно! Я присел на колени, поглаживая автомат. Оборин тоже остановился, повернулся и жестом показал, чтобы рота приготовилась к бою.

Один из братьев уже мчался к нам на полусогнутых ногах, все время оглядываясь, будто его преследовали.

— Бородатые, товарищ капитан. Человек пятнадцать...

— Идут сюда?

— Нет, сидят!

— Вот вам и чертик на крестике,— сквозь зубы процедил Оборин, взглянул на меня, соболезнующе усмехнулся и добавил: — Повезло тебе...

Чудак, он сочувствовал мне!

Встав на ноги, я рванул по ровной прогалине к «акульему плавнику», где лежал Латкин-второй, взобрался на валун, и лег рядом с солдатом.

То, что я увидел, было и жутким, и захватывающе интересным. В неглубокой, похожей на гигантское блюдо ложбине, окруженной подобно кратеру каменным частоколом, сидела группа людей с оружием в руках. Они были настолько близко, что я без труда различил старенькие ППШ, короткоствольные винтовки, автоматы и пулеметы с широкой дульной насадкой и огромными дисками. Люди были одеты в поношен-



ное пыльное тряпье, сандалии и ботинки, на головах — тюбетейки и чалмы. В середине группы, опираясь рукой на винтовку, как на костыль, стоял коротко стриженный парень и о чем-то горячо говорил. Похоже, его не очень внимательно слушали, кое-кто лежал на спине, глядя в небо, другие беседовали между собой, третьи протирали тряпками оружие. Но когда тот схватил винтовку обеими руками за ствол и с размаху ударил прикладом о булыжник, душманы сразу вскочили на ноги, стали спорить, размахивая руками и толкая друг друга.

Я взглянул на Латкина. Солдат следил за происходящим в ложбине, как за головокружительным цирковым трюком. Даже рот приоткрыл.

На середину вышел степенный, опоясанный кожаными ремнями бородач, воздел руки к небесам, застонал и заговорил. Но стриженный вдруг заорал, не давая бородачому произнести ни слова, подошел к нему вплотную и принялся что-то объяснять, показывая рукой то на небо, то в нашу сторону, будто видел нас. И в ту же минуту раздался выстрел. Я почувствовал, как рядом вздрогнул и напрягся всем телом Латкин... Стриженный схватился за живот, упал на колени, ударился головой о землю и повалился на бок. Душманы, как по команде, взялись за оружие. Бородатый сунул за пояс пистолет и побрел к скалам. Несколько раз он повернулся, выкрикивая, наверное, угрозы и проклятия. Он дошел почти до самых камней, как его окликнули. Моложавый детина в джинсах, сидевший все это время в стороне, вразвалку подошел к бородачому и протянул руку. Потом они обнялись — так, во всяком случае, мне показалось. Парень в джинсах наконец повернулся и пошел обратно. А бородатый медленно опустился на землю и остался лежать там без движения.

— Ты что-нибудь понял? — спросил я, повернул голову и увидел рядом с собой Оборина. Я с трудом его узнал. Лицо ротного, еще недавно такое сосредоточенное, бесстрастное, теперь выражало нескрываемую радость. Он весь подался вперед, будто собирался вот-вот вскочить на ноги и броситься в ложбину.

— Смотри! — зашептал он лежащему рядом Сафарову и протянул бинокль. — Смотри же!..

Сержант долго не отрывал бинокль

от глаз, а Оборин нетерпеливо толкал его плечом.

— Ну? Ну же, Сафаров?

— Это Джамал, — наконец ответил сержант, глядя на Оборина ошарашенными глазами. — Вы видели — он уколошил главаря, старого Гафура!.. О, товарищ капитан, что они делают?

Душманы стаскивали с себя кожаные ремни, портупеи и заталкивали вместе с оружием в щели между камнями. Банда, ни о чем не подозревая, обезоруживала себя в ста метрах от нас.

— Сафаров, спустись к радиостанции и передай Железко, что мы следим за группой Джамала. Следующий выход на связь — через двадцать минут.

Оборин тронул меня за руку.

— Спускаемся... Латкины — вести наблюдение!

Он улыбался.

— Ну как? Впечатлило?

— Что ж, пора заявить о себе, — сказал я, с отвращением чувствуя, как от волнения дрожит и прыгает на каждом слове мой подбородок, и потянулся к автомату. «Достаточно короткой очереди в воздух, — с тоскливым равнодушием подумал я, — и они, конечно, сразу же бросятся за оружием. Одна очередь в воздух или... Или, может быть, к черту это благородство? Полоснуть из автомата по их спинам, как они по Блинову?..»

Оборин вынул из полевой сумки карту и близоруко склонился над ней.

— Главное сейчас — не спугнуть их, не обнаружить себя.

Я с недоумением уставился на него.

— Чего ты волнуешься? Бери их голыми руками, — меня раздражала его медлительность и эта непонятная предосторожность. — Ты хочешь окружить банду?

— Окружить, окружить, — бубнил под нос Оборин, водя карандашом по карте. — Будем отходить... Вот только стоит ли снова возвращаться по тропе?.. Ты не суешься, я тебе все объясню...

Но я не мог спокойно сидеть, встал и в то же мгновение встретился глазами с Киреевым. Солдат стоял, слегка пригнувшись, недалеко от меня и, не скрывая, внимательно слушал наш разговор.

— Вы что-то хотите сказать, Киреев?

Он едва заметно покачал головой и,



не спуская с меня глаз, медленно под-  
нялся к Латкиным.

— Куда ты собрался отходить,  
Паша?— Я осторожно потянул карту  
за уголок. Смысл происходящего, ка-  
жется, стал доходить до меня.

— Домой, конечно... Понимаешь,—  
он поднял на меня глаза, покусывая  
кончик карандаша,— с этим самым  
Джамалом, который только что убил  
главаря банды, я встречался полгода  
назад. У нас с ним был очень интерес-  
ный и полезный разговор...

Оборин не успел досказать. Наверху  
что-то металлически звякнуло, затем  
раздался глухой стук, и, подняв голову,  
я увидел, как Сафаров метнулся на  
камни, прикрывая кого-то своим телом.  
Рядом, подтянув колени к животу,  
лежал Латкин и с испугом смотрел на  
сержанта.

Бросив сумку, Оборин в одну секунду  
взобрался на верх «плавника», оттащил  
Сафарова в сторону, и я увидел рас-  
пластанного на камне Киреева и его  
искаженное ненавистью лицо.

— Отдай!— крикнул он, пытаюсь  
вырвать свой автомат из рук сержанта.

— Молчи!— зашипел Оборин и не-  
сильно толкнул солдата в грудь. Но  
Киреев покатился по гранитной плите  
так, будто его сшиб автомобиль. Потом  
он встал на колени и, тяжело глядя  
на Сафарова, прохрипел:

— Ну ладно, мусорок, шестерка,  
встретимся на гражданке, поговорим...

Он хотел еще что-то сказать, но  
осекся, опустил голову на колени и тихо  
заплакал. Плечи его вздрагивали, и с  
кончика носа падали помутневшие от  
пыли слезинки.

Что произошло? Киреев хотел выстре-  
лить по душманам? А Сафаров выр-  
вал из его рук автомат?

Смешно, дико, стыдно!

Чувствуя, что теряю самообладание,  
я шагнул к Оборину и крепко сжал его  
руку выше локтя. С усилием я заставил  
себя говорить тихо:

— Вот что, Паша, спускайся-ка ты  
вниз. Я здесь сам разберусь, куда и  
кому отходить. Понял?

— Ты напрасно нервничаешь,— ска-  
зал он, освобождая руку от моей хват-  
ки. — Не вмешивайся пока в мои дела,  
мы же договаривались!

— Твои дела?— вспыхнул я. — На-  
слышан я про твои дела, хватит! Теперь  
в роте будут другие порядки... Иди вниз,  
Паша, по-хорошему прошу.

— Хорошо,— неожиданно ответил  
Оборин и посмотрел на меня усталыми,  
холодными глазами.

Я выпрямился в полный рост, пере-  
дергивая затвор автомата. Было еще  
не настолько темно, чтобы я промахнул-  
ся с каких-нибудь ста — ста пятидесяти  
метров.

Сафаров, словно мое отражение, тоже  
поднялся на ноги — прямо передо мной.

— Отойди, сержант,— сказал я ему,  
поднимая автомат.

Тот не шелохнулся.

— Отойди!— заревел я.

Оборин вдруг резко схватил рукой  
цевье автомата и вырвал оружие из  
моих рук.

— Ты арестован,— спокойно сказал  
он, передавая автомат Сафарову.— Я  
принимаю такое решение, как началь-  
ник гарнизона.

#### ГЛАВА 4

Я сидел на земле, прислонившись  
спиной к теплему камню, и чув-  
ствовал тупое безразличие ко всему.  
Хотя я и не принял всерьез этот неле-  
пый арест, но, как бы то ни было,  
вынужден был безоговорочно подчиня-  
ться Оборину. Увы, несмотря на преду-  
преждение комбата, я все-таки не был  
готов к его авантюрам.

Оборин сел рядом мной, и мы молча-  
ли несколько минут. На краю неба тлел  
бледный розовый свет. Краски гор по-  
блекли, и силуэты солдат застыли на  
фоне плоских скал. Похоже было, что  
люди превратились в камни, а кам-  
ни — в людей.

— Ты не сердись,— тихо сказал Обо-  
рин. — У меня не было выбора. Не в  
душманов ты хотел стрелять, а в нас...

— Кто он — этот твой Джамал?

— Сын дехканина, окончил духовный  
лицей, член исламской партии Афгани-  
стана,— Оборин словно читал текст  
характеристики. — Три года назад  
прошел полный курс обучения в полку  
«Варсак», недалеко от Пешавара.  
Потом вернулся сюда. Год назад его  
банда распалась на две отдельные  
группировки — что-то не поделили му-  
джахеддины. Одну из них возглавил  
старик Гафур, он же назначил Джама-  
ла своим замом.

— Откуда ты все это знаешь?— спро-  
сил я.

— Я уже говорил — мы встречались





с Джамалом... Недалеко от роты есть кишлак — Бахтиаран. Я наладил хорошие контакты с органами власти и партячкой. Мне даже прозвище в кишлаке придумали — Пашабдулла... Так вот, в марте мы восстанавливали мост, который снесло селом, и после работы дехкане устроили нам маленький праздник. Тогда-то мулла и намекнул мне, что в кишлаке живут родственники Джамала и поддерживают с ним связь. И мне пришла в голову мысль о переговорах. Отведя муллу в сторону, я шепнул ему, что хочу встретиться с Джамалом. Старик страшно испугался и ответил, что это невозможно, Джамал очень осторожен и рисковать не станет...

— А к чему это все? — пожал я плечами. — Какой может быть разговор с этими бандитами?

Оборин ответил не сразу. Он долго думал над ответом.

— Вот ты говоришь — бандиты... Прежде я тоже относился к ним так категорично. Весь мир у меня был поделен на белое и черное. А потом стал задумываться: что это за люди, с которыми мы воюем, чего они добиваются, ради чего рискуют жизнью?.. Короче, через две недели после разговора с муллой, вечером, подходят к шлагбауму двое патлатых ребят с оружием и объявляют часовому, что им срочно нужен

«командор», то есть я. Зову Сафарова — он понимает дари — и иду к муджахеддинам. Это были люди Джамала. Без лишних слов они сообщили: Джамал ждет меня, причем ехать на встречу в Бахтиаран я должен сию же минуту.

Хотя чувство неприязни к Оборину не проходило, я уже слушал его с интересом.

— Я понял, что Джамал поставил мне такие условия, чтобы обезопасить себя, — продолжал Оборин. — Что мне оставалось делать? Я был без оружия, Сафаров, к счастью, захватил с собой автомат. Душманы торопят, мол, если хотите ехать, то едем. Я отвечаю: мне нужно взять рацию. Они сочувственно пожимают плечами, поворачиваются и идут к своей «Тойоте». Тогда я понял, что теряю редкий шанс. Помню, глянул на Сафарова. Смотрит он на меня, а в глазах озорная смелость: «Едем!» И тут меня осенило. За нами из кемпинга наблюдали Железко и еще трое солдат. Начертил ботинком на земле букву Б и махнул рукой в сторону кишлака. Потом крикнул душманам, и мы с Сафаровым побежали к машине. Впрочем, скажу тебе, у меня был надежный козырь. Душманы ведь не знали, что мулла рассказал мне о семье Джамала в Бахтиаране. Потом я этим козырем и воспользовался.. Мы выехали на окраину Бахтиарана, когда уже стемне-







ло. Вышли из машины и по какой-то улочке шли еще минут пятнадцать. Ночь была лунная, жутко...

Я с любопытством смотрел на Оборина. Все, что он мне рассказывал, напоминало сюжет лихого приключенческого фильма. Но я верил каждому его слову, хотя и не понимал до конца, ради чего он так безрассудно рисковал собой.

— Наконец-то мы зашли в какой-то сарай,— продолжал Оборин.— Три душмана сидели на полу и пили чай. Джамала я узнал сразу, мне его хорошо расписал мулла. Мы поздоровались, как вполне приличные люди, и я сразу же спросил Джамала о самочувствии его родственников. Не знаю, как тебе передать, что я увидел на его изменившемся лице, но понял, что с нами ничего страшного не произойдет. Потом я добавил, что мы располагаем всего тридцатью минутами времени, и приврал, что если я вдруг задержусь, рота моментально блокирует шоссе и кишлак.

— И о чем вы говорили?

— Обо всем,— Оборин задумался на минуту. — Джамал сразу пошел в наступление, стал доказывать, что мы представляем угрозу исламу и навязываем атеизм. Я напомнил ему, что прошлой зимой взвод моих ребят помогал лепить и перетаскивать саманные кирпичи для восстановления мечети в Бахтиаране, которую, кстати, взорвали душманы. Джамал ответил, что это была хитрая красная пропаганда, хотя, я видел, он сам-то не очень верит в то, что говорит. Потом он прошелся по Апрельской революции, сказал, что политическая система в Афганистане далека от совершенства. А я ему: так совершенствуйте! Сложите оружие, вас помилует власть, и предлагайте свою систему, пусть ее принимает джирга. Тогда Джамал стал говорить, что муджахеддинов не хотят слушать, ставят в один ряд с уголовниками, и они лишены в государстве всех прав. Поэтому, дескать, и приходится бороться за свои права силой оружия. Я ответил, что у них всегда есть право на помилование и честный труд... Джамал, должен сказать тебе, довольно образованный парень, в общем, мы хорошо понимали друг друга.

— И к чему вы пришли?

— Я предложил создать в нашем уезде зону мира, если, конечно, эту идею

поддержит старик Гафур. Джамал как-то сдержанно усмехнулся и ответил, что не один Гафур все решает. Я понял, что отношения у них хреновые.

Оборин замолчал. Я снова закурил.

— А дальше? Дальше что?

— Так вот,— сказал он, заметно волнуясь. — С тех пор, вот уже шесть месяцев, в уезде не ведутся боевые действия. Ни одного обстрела на трассе, Степанов, ни одного подрыва! Ни одной потери в роте! Это, по-твоему, результаты или нет?.. Но даже перемирие не так много значит, как то, что ты сейчас видел. Джамал убил старика Гафура, банда сложила оружие. Отвечай, что это значит?!

Он почти перешел на крик.

Я тоже был на взводе, но старался говорить как можно спокойнее, хотя не уверен, что это у меня получалось.

— Я не знаю, что это значит, но знаю другое: сегодня днем в Черной Щели твои муджахеддины жгли «наливники» и стреляли в наших ребят. И убили Блинова...

— Черная Щель — это другой уезд,— уже спокойно ответил Оборин.— И там хозяйничает другая банда.

— Доказательства! Где доказательства, что другая, а не эта? Ты сам говорил, что от Черной Щели до этого места — час ходу.

— Но где же логика?— опять вскипел Оборин.— Жечь «наливники», потом бежать сюда, ломать и прятать оружие?

— Ты пацифист,— сказал я тихо, уже не чувствуя прежней уверенности.— Ты поставил перед собой цель оправдать их, лишь бы не вступать в бой. Ты не умеешь даже ненавидеть.

Оборин поморщился.

— Два месяца назад мы вместе с царандоем работали под Салангом. Схватились с крупной бандой. Я лично убил нескольких «духов», одного штыком... А ты говоришь — пацифист.

— Ну хорошо, не надо крови,— я уже начал говорить не то, что думал.— Можно взять их в плен, черт побери, да сдать куда положено... В ХАД, кажется? А там разберутся, кто есть кто. Откуда тебе известно, из-за чего у них весь этот сыр-бор разгорелся? А вдруг из-за дележа власти?

— Когда идет драка за власть, то люди, наоборот, стараются не выпускать из рук оружия... Как я, например,— Оборин усмехнулся и погладил ствол автомата.



— С тобой тяжело спорить.

— Я знаю... А ты сгоряча не спорь, попробуй сначала разобраться. Интернационализм, между прочим, наука сложная.. Вот перед тобой чужая страна. Миллионы людей. И сколько различных взглядов на революцию, нашу миссию, судьбы ислама, земли, которую наконец дали народу... И у каждого мнения — своя правда...

— Товарищ капитан! — позвал сверху Сафаров. — Бородатые уходят.

— Скатертью им дорога!

— Ты опасно рискуешь, Паша. Если потом выяснится, что твой Джамал и не думал разоружаться, тебя же где угодно разыщут, да тот же Киреев тебя...

— Хватит! — перебил Оборин. — Решение принято, и я готов отвечать за каждый свой шаг.

— Круто, ох круто берешь! И солдата зря обидел...

— Я понимаю тебя, — кивнул головой Оборин. — Ты чувствуешь в нем союзника. Он ведь тоже рвался в бой! Только вот что я тебе скажу: не надо много смелости, чтобы стрелять в безоружных людей. Другое дело — вызвать огонь на себя. Тут надо душонку в кулаке держать, чтобы ненароком не ушла, куда не надо...

— Ты о чем?

— Да о том же... Сидел тут один у нас с тремя бойцами в засаде над тропой. А душманы пошли не по тропе, а над ней, по сопке, в каких-нибудь тридцати метрах от того места, где лежал наш «смельчак» в окопе. Он открыл огонь лишь тогда, когда банда ушла на безопасное для него расстояние. Чудом в роте обошлось без потерь!.. А то, что ты видел полчаса назад, всего лишь жалкая попытка реабилитировать себя... Ах, голова! Мы ведь не вышли на связь с Железко!

Оборин поспешно встал.

— Ну хватит хмуриться! Тошно смотреть на тебя, — он наклонился и положил руку мне на плечо. — Сегодня у нас праздник!

Праздника я никакого не чувствовал. Огромный, страшный день вымотал меня вконец, и мучительно хотелось одного: как-нибудь добраться до маленького кемпинга на берегу озера, рухнуть в постель, накрыться с головой простыней и отключиться от этой бешеной круговерти событий, лиц и слов.

Сафаров съехал на животе с «акулье-

го плавника» и молча протянул мне автомат. Я хотел было встать, но вдруг почувствовал едва уловимую ноющую боль. Сначала мне показалось, что она пульсирует где-то в груди. Пошевелил плечами, но боль стекла в ноги и стала жечь огнем. Натер-таки! Пришлось расшнуровывать ботинки.

Так и есть. Босиком, что ли, пойти? Хотя пока спустимся, от меня одни уши останутся, как говорил солдат Тетка.

Как на свете все уныло, нескладно и пакостно...

Оборин уже шел обратно, на ходу вытаскивая притороченный к прикладу автомата резиновый мешочек перевязочного пакета.

— Стер ноги? — спросил он. — Я так и понял.

Он присел на корточки, покрутил головой, осматривая мои распухшие ноги.

— На, перевяжи, — и отошел, чтобы не мешать.

Я разорвал резиновую оболочку перевязочного пакета, вытащил марлевый тампон, покрутил его в руках и со злостью отшвырнул далеко в сторону. Не поможет.

Стиснул зубы, стал обуваться. Потом с трудом встал и заковылял к солдатам.

Латкины уже побежали по тропе, вытягивая за собой цепочку солдат. Оборин дожидался меня.

— Ну что, стало легче? — спросил он.

— Нет, хуже.

Он шел рядом со мной, почти касаясь плечом. Потом взял за локоть, чтобы я мог опереться.

Я остановился.

— Ты чего? — спросил он.

— Иди, я догоню...

Он пожал плечами и молча пошел вниз.

Прошла минута, вторая. Негромкие голоса солдат стихли. Я остался один среди бесконечной теплой ночи. Наконец услышал шаги. Темный силуэт низкой фигуры застыл в трех шагах от меня.

— Это вы, товарищ старший лейтенант?

— Я, Киреев, я...

Солдат подошел ко мне ближе, поднял блеснувшие в свете луны глаза и глубоко вздохнул.

— Можно спросить?.. Вы скоро примете должность?



...Я мучительно соображал, что сказать. Молодой красивый мужчина с крепкой фигурой гимнаста, открывший мне дверь, приветливо улыбался, мол, давай, дружище, не робей, выкладывай свои проблемы.

— Ольга Андреевна дома? — наконец спросил я.

Мужчина как-то неопределенно кивнул, махнул рукой, приглашая зайти, закрыл за мной дверь и протянул руку:

— Павел.

Мне пришлось тоже назвать себя.

— Посиди, она скоро придет.

Из комнаты вдруг выскочил Алешка и схватил меня за руку.

— Дядя Саша, а ко мне папа приехал! Идем покажу, что он мне привез!

— Вешай сюда фуражку, — улыбаясь, сказал Павел. — Смотри телевизор, читай газеты. Я, прости, сейчас готовлю обед, но минут через десять освобожусь.

Счастливый Алешка прыгал по комнате, показывал игрушки и даже не догадывался, как пусто и как безнадежно тоскливо было на душе у дяди Саши. Павел гремел посудой на кухне, что-то насвистывая; а мне вдруг показались чужими и комната и все предметы, которые были в ней. Они уже не излучали, как прежде, тепло принадлежности к Ольге Андреевне, поблекли, вдруг покрылись пылью и крошками отвалившейся от потолка побелки.

«Надо встать, извиниться и уйти! — твердо решил я. — Скажу, что зайду попозже».

Павел вошел в комнату, сел на диван рядом со мной.

— В полку служишь? — спросил он.

— Да, здесь...

— Комбат уже, наверное?

«Какой, к черту, комбат? — зло подумал я. — Он же видит, что перед ним старший лейтенант».

— Нет, командир роты.

— М-м, ясно, — кивнул Павел. — А я в Питере, капитан волейбольной команды при СКА... Не видел нас по телевизору?

— Терпеть не могу волейбол! — поморщился я.

— Напрасно... А в Ленинграде доводилось бывать?

В Ленинграде я был дважды — на стажировке после третьего курса училища и сразу после выпуска — одноклассник пригласил.

Но я почему-то ответил:

— Нет, не был.

Павел раскрыл чемодан, порылся в нем, извлек оттуда стопку фотографий.

— Посмотри, тебе интересно будет. Качество, правда, не очень, любительские...

Изображая предельный интерес, я перебирал серые снимки Зимнего, Казанского собора, Адмиралтейства...

Павел хлопнул себя по лбу, пробормотал что-то о забытой соли и вышел на кухню.

«Надо идти!» — снова подумал я, бросил фотографии на диван и тут... увидел ее. Река, ветки ивы, надувной матрас на траве, Павел и Ольга в обнимку, какие-то очень голые в своих тонких купальниках; Ольга и Павел сидят на гранитном бордюре Фонтанки, он обнимает, а она, вытянув губы, целует его; Павел и Ольга на речном трамвайчике; Ольга и Павел на мосту; Павел и Ольга, Ольга и Павел...

Аккуратный, точный и сильный удар!

Я зашел на кухню. Алешка, едва высовываясь из-за стола, возил ложкой в тарелке супа и корчил кислую рожицу. Павел склонился над пышущей паром кастрюлей.

— Ты куда? — спросил он, повернувшись ко мне.

— Времени нет, — ответил я, надевая фуражку. — Позже зайду.

Я старался произнести последние слова как можно убедительнее, но не получилось. Вытирая руки о фартук, Павел двинулся на меня.

— Ну-у! — загудел он. — Так дело не пойдет! Снимай, снимай фуражку. Сейчас коньячку выпьем, пообедаем... Ольга Андреевна, наверное, очень огорчится, когда узнает, что ты ее не дождался.

Я не понял, иронизирует он или нет. На его холеном румянном лице было написано такое триумфальное снисхождение, что я лишь молча повернулся и попытался открыть дверь.

Она была заперта.

— Ну по пятьдесят грамм! — уже тише и спокойнее сказал Павел и положил руку мне на плечо.

Мне хотелось ударить его. Я швырнул фуражку на вешалку и вышел на балкон.

Мы стояли, опершись о перегородку, и долго молчали.

— Сколько ты пробудешь здесь? — спросил я.



Павел хмыкнул, покосился на меня и едко сказал:

— Послушай, а тебе не кажется, что задавать такие вопросы нетактично?

— Я люблю Ольгу,— выдохнул я.

— Об этом можно догадаться,— спокойно ответил Павел.

— Открой дверь!

— Ну уж дудки! Надо сначала все точки над «и» расставить, а потом уже прощаться — раз и навсегда.

— Напрасно беспокоишься, я больше не приду.

— Понимаешь, приятель, я бы выпустил тебя, но мне не хочется, чтобы Ольга Андреевна потом бежала к тебе выяснять отношения. Ты уйдешь и хлопнешь дверью при ней. Договорились?

Павел протянул мне рюмку коньяку.

— Давай выпьем и расслабимся. Ага? — и взглянул на часы: — Что-то наша Ольга Андреевна запаздывает.

Он так и сказал: наша. Затем запрокинул голову, проглотил коньяк и подмигнул мне.

— Павел, я хочу спросить тебя,— я поставил рюмку на стол и прислонился к дверному косяку.

— Валяй! — махнул рукой Павел.

— Ты серьезно решил... вернуться к Ольге?

— Конечно же, не в гости приехал... В любом конфликте кому-то первому приходится прощать и забывать. Женишься — поймешь меня.

— А Ольга?

— Ха, Ольга! — Павел усмехнулся и закрутил головой. — А куда она денется? У нее, как ни крути, нет выбора,— он пристально взглянул на меня и тверже добавил: — Нет выбора, приятель, нет!

— А ты не ошибаешься, Павел?

— Понимаю, понимаю! — Он закивал головой, сочно надкусил яблоко и стал расхаживать по кухне. — Ты хочешь узнать, в чем заключалась твоя роль в жизни Ольги Андреевны?... Как тебе сказать?... — Он остановился, скрестил на груди руки. — Разговор, конечно, не из приятных... Видишь ли, судя по тому, что мне рассказывала о тебе Ольга Андреевна в своих письмах, ты все это время был для нее вроде запасного варианта. Если бы я наотрез отказался вернуться в семью, то, возможно, у вас что-то бы получилось... Кстати, она цитировала мне твои пись-

ма, про то, как ты встречал ее каждое утро на аллее. А у тебя неплохо получается, просто литературный дар!

— Хватит!

Я повернулся лицом к окну, чтобы не видеть ни спортсмена-красавчика, ни этой кухни, ни кастрюль-тарелок.

Как все гадко в этом мире!

Павел тронул меня за плечо.

— Не переживай,— сказал он сочувствующе. — И у тебя все образуется... Только не женись, если сумеешь, до тридцати.

— Открой дверь,— попросил я тихо.

Павел, ни секунды не колеблясь, вынул из кармана ключи и пошел в коридор. На пороге он протянул мне руку.

— Будешь в Ленинграде — заходи!

В подъезде я нос к носу столкнулся с Ольгой Андреевной. Лицо ее было взволнованно.

— Это ты забрал Алешку из садика?

— Нет, не я. Дома твой Алешка.

Она долго смотрела на меня, будто хотела что-то увидеть в моих глазах. Потом очень тихо сказала:

— Значит, все-таки Павел...

И вдруг близко-близко подошла ко мне, положила руки мне на плечи и с тревогой в голосе спросила:

— Ты говорил с ним?... Почему ты молчишь? Вы поругались?

— Нет, зачем,— я осторожно отстранил Ольгу Андреевну от себя. — Мы очень мило побеседовали...

— Саша, ты можешь мне объяснить, что случилось? Почему ты так говоришь?

«Еще спрашиваешь, что случилось со мной», — подумал я и ответил:

— Запасной вариант не пригодился. Что ж, расстанемся как добрые друзья. Пока!

Я надвинул козырек на глаза и вышел на улицу.

— Саша!

Я не мог не обернуться. Ольга Андреевна стояла в дверях, и глаза ее были полны боли и отчаянья.

«Сердце, мое сердце! — подумал я. — Как это все похоже на тот вечер, когда я светил спичкой в подъезде... Гудбай, май лав!»

— Я ведь люблю тебя,— прошептала Ольга Андреевна.

«Повернись и уходи!» — приказал я сам себе.

Я повернулся и ушел.



В тот день у меня был выходной, но мысль, что мне придется бессмысленно болтаться по городу или сидеть в пустой квартире, показалась невыносимой. И я пошел в полк.

Третий батальон проверяла комиссия. На плацу и у казарм — торжественное безлюдье, лишь Ваня Дырин с невыспавшимися красными глазами яростно драил плешивой щеткой сапоги.

— Тебя еще не разжаловали? — мрачно пошутил я.

— Зайди к своему комбату, — мимоходом сказал Дырин, швырнул щетку в кусты и, перепрыгивая через ступени, полетел в казарму.

— У меня выходной! — крикнул я, но Дырин уже забыл о моем существовании.

«Вот так всегда, — подумал я. — Стоит переступить порог КПП, как сразу чувствуешь, что тебя помнят, без тебя не могут и очень хотят видеть».

Комбата я нашел в автопарке. Он был одет в черный комбез, висящий мешком на его долговязой худой фигуре, отчего напоминал таинственного монаха. В какой-либо другой форме я видел комбата чрезвычайно редко, но не берусь объяснить причину столь странного стремления всегда выглядеть бесцветно. Может быть, просторный комбез в какой-то степени сглаживал недостатки фигуры комбата, ее угловатость и сутулость, и подчеркивал невообразимую любовь Владислава Владленовича к технике.

— Идем, — сказал он мне и широкими шагами направился в расположение батальона.

Пока мы шли, я пытался отгадать, какой сюрприз готовит мой начальник. ЧП в роте? Вряд ли. Случись что — мне давно уже было бы все известно. Повышение в должности? Исключено... Может быть, ему что-то стало известно об Ольге Андреевне?

Но новость комбата оказалась для меня совершенно неожиданной.

— Есть возможность поехать в Афган, — сказал он, садясь за стол и чуть ли не на целый метр вытягивая из-под него свои ноги. — Как мысль?

— Мысль интересная, — оценил я.

Комбат принялся с пафосом убеждать меня, что каждый уважающий себя офицер, думающий о карьере, обязательно должен пройти Афганистан, что это уникальная возможность испытать себя в бою, получить награду, приобре-

ти бесценный опыт, а я как-то некстати вспомнил про себя, что сам он вот уже второй год пробивает себе место в Московском военном округе.

— Ну, что скажешь?

— Надо подумать.

— Надо, — согласился комбат. — Даю тебе три дня.

«Уже все решено, — подумал я, — и, конечно, я поеду».

Попрощавшись с комбатом, я спустился в свою роту, а там сразу же нашлись всякие неотложные дела, словом, мой выходной накрылся медным тазом, как сказал бы Дырин, и домой я вернулся лишь к десяти часам вечера. На улице уже стемнело, и соседские мужики под тусклой лампочкой у подъезда забивали очередную партию в «козла».

## ГЛАВА 5

Бронетранспортер с выключенными габаритными огнями стоял у самой лестницы кемпинга, заслонив собой вход. Я услышал, как Оборин в сердцах буркнул:

— Принесла же тебя нелегкая...

Я понял, что в роту приехал Петровский.

Комбат сидел в маленькой комнатухе у радиостанции, накиннув на плечи бушлат, то ли дремал, то ли читал газету, подперев рукой тяжелый подбородок. Когда мы с Обориным вошли, он исподлобья посмотрел на меня и сразу же перевел взгляд на Пашу.

— Ну что, искатели приключений, где банда?

Оборин, будто не услышав вопроса, поставил в угол автомат, стянул с себя безрукавку, сел на топчан, вытянув ноги, и закрыл глаза.

Не меняя позы, комбат негромко прорычал:

— Я не слышу доклада, Оборин! — И снова быстрый взгляд на меня.

— Банда Джамала ликвидировала сама себя. Так что нашего вмешательства не потребовалось, — ответил Оборин.

Комбат минуту молчал, постукивая карандашом по столу. Потом изо всей силы громыхнул по нему кулаком.

— Когда все это кончится, в конце концов?! Когда рота станет заниматься боевой работой, я спрашиваю!..



Он поднялся из-за стола, стал ходить по комнате, тиская шею.

— Где этот юный полководец, черт побери?.. Ну этот... Железко?

— Если ты не сменишь свой тон,— спокойно сказал Оборин,— разговор наш закончится.

— Видал, как с комбатом разговаривает?— процедил Петровский, кивая на Оборина. — Тон ему мой не нравится! А мне не нравится, что здесь сюсюкают с врагами, и я должен оправдываться перед начальством, почему в третьей роте нет результатов... Воины-интернационалисты, едрена вошь!

Железко, видимо, стоял в коридоре под дверью, потому что, услышав свою фамилию, сразу же вошел в комнату.

— Вызывали, товарищ майор?

— Ответь мне, Железко, какого черта ты доложил о банде дежурному по части? Кто тебя тянул за язык? Понятно, мне позвонил, но туда зачем? Ты понимаешь, что весь полк уже на ноги поднят!

Железко растерялся, щеки его зарделись, и, заикаясь, он ответил:

— Но я ведь не знал, что у них случилось...

— Ну вот,— комбат развел руками,— святая наивность! Что ты передал ему, Оборин?

— Со мной на связь выходил не командир роты, а сержант Сафаров,— поторопился сказать Железко.— Он сообщил, что рота следит за группой Джамала, я так и в журнале записал... А потом Сафаров сказал, что следующий сеанс связи — через двадцать минут. Но капитан Оборин на связь не вышел и на мой позывной не отвечал. Тогда я решил доложить об этом дежурному по части.

— Это правда, Оборин?

— Да.

Петровский, стоя перед столом, двигал плечами, руками, будто в нем разожгли костер.

— Детский сад!.. Ну вот ответьте мне, орлики-соколики, что я теперь доложу командиру полка? Вот он позвонит с минуты на минуту, и что я скажу?

— Что было, о том и доложишь,— ответил Оборин.

— Понимаешь, Паша, это только я могу слушать твои сказки про всяких джамалов, гафуров, мангалов, а ко-

мандир полка спросит о результате! Ему нужны пленные и трофеи, ему цифры нужны, понимаешь, цифры!

— Командир полка знает о моей договоренности с Джамалом.

— Ну ты посмотри на него!— возмутился комбат. — Что за лепет? Командир полка знает, что афганская колонна сожжена сегодня у Черной Щели! Вот что он знает! И не твоего ли Джамала это рук дело?

— Джамал здесь ни при чем.

Комбат замер на месте, широко расставив ноги и сунув руки в карманы.

— Ты, Оборин, дурак или трус? Никак не пойму. Кругом гибнут люди, лучшие наши люди, гибнут под пулями душманов, а ты, утирая слезы умиления, даешь банде возможность спокойно уйти. Нет, хватит! Напишу рапорт командиру полка. Пусть сам разбирается с тобой... Ха, Джамал! Тоже мне национальный герой! Тюрьма давно плачет по твоему Джамалу... Миротлюбцы, едрена вошь!

Он ходил широкими шагами по комнате, заложив руки за спину.

— Ну а ты что скажешь, Степанов? Что молчишь? Не хватило смелости открыть огонь?

Я вдруг неожиданно для самого себя ответил:

— Если бы я открыл огонь по безоружным людям, товарищ майор, то, наверное, перестал бы себя уважать.

— Ух ты!— Комбат остановился и с любопытством посмотрел мне в глаза.— Неплохое начало... А что помешало тебе арестовать бандитов и отвести в ХАД? Тоже перестал бы себя за это уважать?

— Они для того и прятали свое оружие, чтобы не попасть в ХАД,— ответил Оборин.

Петровский поморщился и замахал рукой.

— Все, хватит!.. Степанов, слушай боевой приказ: сейчас вместе с Железко берешь взвод и едешь на развилку дорог перед Бахтиараном. Оттуда по тропе вверх — Железко знает — и без лишнего шума вылавливаешь всех этих «друзей». Если окажут сопротивление — расстреливать. Сколько бы ни взял — всех сюда. Ясна задача?.. Тогда действуй. Сделаешь все, как я сказал,— представлю к боевой награде.

Я вышел в коридор, чувствуя огромное облегчение, пробежал по нему, бряцая снаряжением, зашел в комнату



Оборина и, не включая света, рухнул на койку. Я лежал, уткнувшись лицом в подушку, и слушал, как Железко строит взвод, как солдаты топают тяжелыми ботинками по коридору. Из открытой балконной двери тянуло прохладным сквознячком с рыбьим запахом озерца. Я вдыхал его всей грудью и прислушивался к едва уловимым чувствам, складывающимся во мне. Мне начинало казаться, что я падаю в черную бездну, и вся комната вращается вокруг меня, увлекая за собой табуретки, тумбочки, стены, лоджию. Не расплескиваясь, словно залитое в аквариум, помчалось по кругу озеро; как декорация в театре, тяжело поехали горы, шоссе, бронетранспортеры; и склонились надо мной, взявшись как в танце за руки, бородатые смуглолицые люди...

Я вздрогнул, с трудом отрывая лицо от подушки. Оборин сидел рядом со мной. В темноте я не видел его лица.

— Ты сделаешь все так, как он тебе сказал? — спросил он.

Я до боли надавил кулаками на глаза.

— Который час?

— Начало первого...

— Железко готов?

— Петровский - его инструктирует...

Ты не ответил мне.

— Ну что, что, Паша? — Я рывком поднялся на ноги. Меня пошатывало, и страшно хотелось пить.

— Ты станешь стрелять в них?

— Да, — раздраженно буркнул я. — В конце концов есть приказы, и мы обязаны их выполнять.

Оборин опустил голову и долго молчал.

— Да, приказы надо выполнять... Вот только кто сказал, что мы должны быть идиотами? Кто сказал, что в наши обязанности входит безропотное выполнение глупостей? Подумай о тех, кто будет расплачиваться даже за высокоиндейную глупость своими жизнями...

— Паша, — я положил ему руку на плечо и крепко сдал его. — Если бы ты знал, как мне тяжело, как вы мне все надоели!

— Я знаю.

— А тебе... неужели тебе это все не надоело? Ты уже отвоевал свое, остынь, забудь все! Езжай на море, в Сочи, ходи в кабаки... Честное слово, я тебя не понимаю.

— Да! Да! — Он оттолкнул меня от

себя. — Я так бы и сделал, если бы мог когда-нибудь вернуться сюда и все исправить. Поверь мне, ни Джамал, ни его люди не убивали Блинова. Я не могу тебе это доказать, я только прошу, чтобы ты поверил...

В коридоре слышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату брызнул тусклый свет. На пороге стоял комбат.

— Что вы в темноте сидите?

Он пошарил рукой по стене в поисках выключателя, зажег свет и сел за стол.

— Паша, что ж ты мне не доложил, что душманы оставили свое оружие в горах?

— Я много чего еще не успел доложить.

— Черт с ними, с душманами, но хоть бы оружие вынес!

— Это в потемках не делается. Я схожу за ним утром.

— Как же, долежит оно до утра! Полтора десятка исправных стволов!.. Так вот, я отправил туда Железко. Поэтому сон отменяется, бдить и держать с ним связь.

— Мне выезжать, товарищ майор? — спросил я.

Комбат досадно махнул рукой.

— Не надо! Смысла уже нет, поезд ушел. — Морщась, он стал тереть ладонью лоб. — Ох, голова болит, просто раскалывается. С ума сойдешь с вами!.. Паша, дай какую-нибудь таблетку, что ли?

Оборин открыл дверцу тумбочки и присел рядом. Я стащил с себя напичканную магазинами, ракетами и гранатами безрукавку и бросил ее на койку. Та закачалась на скрипучих пружинах.

— Можешь и чаем угостить своего нелюбимого комбата, — сказал Петровский и стал рассматривать фотографии под плексигласом.

Мне показалось странным, что Петровский так быстро изменил свое решение. Может быть, он проверял, как яотреагирую на его приказ?

— Это кто, твой сын? — удивленно протянул комбат, рассматривая снимок мальчика. — Здоровый парень! Сколько же ему лет?

Оборин не ответил. Он насыпал в трехлитровую банку с водой чай из большой жестяной коробки. Комбат, беззвучно шевеля губами, загибал на руках пальцы.

— Уже шесть лет? — Он смотрел на Оборина и думал о чем-то своем. — Не-



ужели уже столько прошло? Как же мы быстро стареем, Паша... А это?

Он приподнял лист плексигласа, вытащил оттуда другую фотографию и близко поднес ее к глазам.

— «Все на субботник»... Это мы, что ли, с тобой? Эх, зеленки ясноглазые! — Петровский положил фотографию на стол, откинулся на спинку стула, закурил, глядя в потолок. — Куда же это все ушло, а, Паш?..

Оборин помешивал кипятильником в банке.

— Никуда не ушло, Сергей. Все осталось.

— Осталось... — эхом повторил комбат. — Тогда почему мы с тобой перестали понимать друг друга?

Петровский взглянул на меня. Я понял так, что мешаю разговору, и встал, чтобы выйти, но комбат махнул рукой.

— Сиди, сиди!

Эти разговоры мне, откровенно говоря, несколько не были интересны, но я снова сел.

Комбат разглаживал ладонью фотографию, глядя на Оборина, а Паша сосредоточенно вынимал из тумбочки чашки, раскладывал на столе галеты, сгущенку, обернув банку полотенцем, разливал крепкий чай.

— Да, — повторил комбат. — Мы перестали понимать друг друга. И не пойму, почему? Ведь все хорошо у нас с тобой складывалось — и дружба, и служба. Нам даже завидовали... Ну чего молчишь, как официант ресторана высшей категории?

Оборин выпрямился, вытирая руки полотенцем, бросил его на спинку койки и сел за стол.

— Не знаю, Сергей, не знаю. Наверное, очень разные мы с тобой люди, а в молодости это не так было заметно, как теперь, — Оборин поднял кружку, глядя на хоровод чаинок. — Мне, например, не хватает твоей решительности и хватки. Стараюсь жить поаккуратней, поосторожней. Не умею локтями дорогу себе прокладывать.

— Интересно, — качнул головой комбат, с прищуром глядя на Оборина. — Не слышал еще о себе такого. — Он шумно отхлебнул чая, кинул в рот кусочек сахара. — Я, значит, вроде танка: рычаги на себя и вперед?

Оборин кивнул:

— Да-да, вроде того... Всегда ты

эффектно выглядел — и на экзаменах в училище, и на параде, и на собраниях... И на показательных занятиях тоже.

— Ага, вот ты о чем! — Петровский не совсем естественно рассмеялся. — Это в Кушке, что ли? Говоришь, эффектно выглядел?.. А по-моему, куда скромнее тебя. Твой же взвод начал нелепые маневры выделять и сломал боевой порядок, когда брали высоту. Зыбыл, Паша?

— Да, в отличие от тебя я не стал идти в лоб, прямо на пулеметы.

— С точки зрения тактики, может быть, ты и прав. А с точки зрения морали? Мы целый месяц готовились к этому занятию, люди забыли об отдыхе, все выложились, как могли. А твой маневр чуть все не перечеркнул! — Петровский устало вздохнул. — Да-да, я все понимаю! Конечно, хорошо быть чистеньким. Ну а о других ты подумал? Кто требовал от тебя инициативы? Нужна была красивая показуха — ровные шеренги да «ура» погорланистей. И не говори, что ты не знал этого!..

— А на разборе, когда с меня стружку снимали, ты говорил совсем другое, что лейтенант Оборин, как командир, нерешителен и инфантилен. Так, кажется? Помнишь, что именно тогда решался вопрос, кого из нас выдвинуть на роту?

— Что-то ты путаешь, — глухо сказал комбат.

Мы пили горький чай вприкуску с сахаром и молчали. Комбат, не отрывая взгляда, смотрел на фотографии.

— Сына-то как назвал?

Оборин долго не отвечал, шумно дул в кружку, осторожно тянул губами чай.

— Серегой назвал.

Комбат замер, поставил кружку на стол, встал и вышел на лоджию. Через минуту мы услышали его голос:

— А не искупаться ли? Что-то очень душно сегодня.

Он спрыгнул вниз и зашуршал по песку.

Мы долго слышали, как где-то в темноте плещется вода, ухает и фыркает Петровский.

— Вы долго служили в Кушке? — спросил я.

— Три года.

— А потом?

— Потом он пошел на повышение и



мы не виделись семь лет. А встретились здесь...

С озера доносился негромкий, низкий голос комбата:

— Не мани меня ты, воля, не зови в поля!.. Пировать нам вместе, что ли, матушка... земля?

Я слушал эту немыслимую среди непроглядной черной ночи и немых гор песню и с трудом представлял себе крепкого, рослого комбата, лежащего на темной глади воды, широко раскинувшего руки... Это было не похоже на Петровского.

Песня оборвалась так же внезапно, как и началась. Через минуту комбат уже стоял на лоджии, мокрый, с блестящей гладкой кожей, и расчесывал волосы.

— Брось-ка полотенце, Паша!

Он энергично растирался, глядя в звездное небо, что-то бормотал или пел, но уже не выговаривая отчетливо слова.

— Эх, орлики-соколики, сейчас бы в деревеньку, траву покосить, молока парного попить. Лег бы я под березами и забыл бы все на свете. Только и слушал, как жаворонок в небе заливается... Вот ты, Паша, считаешь, наверное, себя талантливым, благородным, честным, жизнь готов отдать своему делу, щадишь врагов, не гонишься за трофеями, за той самой порочной цифирью, которую так любит майор Петровский... Это хорошо, конечно, но ты все еще ротный, а я уже комбат. Вот такой грустный вывод...

Он опять сел за стол, подлил себе чаю.

— Хотите, расскажу вам одну маленькую сказку?.. Привезла как-то машина на зерновой ток пшеницу. Лежат зернышки в сырости и тепле день, второй. Никто не знает, что надо делать. Вот одно зернышко и говорит: «Ну что, братцы, час пробил, пора свой долг выполнять». А сосед ему говорит: «Не торопись, лежи себе да смотри, что другие делать будут». Но нет же, упрямое зерно попало. Земля есть, влага есть, что еще нужно? И стало оно трудиться в поте лица. Тужится, растет, корешок пустило, а их вдруг — раз! — и перевезли в амбар. Заметно исхудало это зернышко, но очухалось кое-как и снова за свое: «Пора, братцы, час пробил!» И давай опять расти изо всех сил. А сосед все смотрит и ждет. Пришла весна, сев начался. Стали пшеницу через решета пропускать. То,

зерно, что суеилось в зиму, настолько исхудало, что через все дырки провалилось и пошло курам на корм. А его сосед лег в почву, стал расти, вырвался вверх, потянулся к солнцу... Вот такая грустная сказка.

Комбат вдруг помрачнел, оттолкнул от себя кружку, и немного чая выплеснулось на стол.

— Жаль, Паша, мне тебя. Жаль. С твоей-то головой мы могли здесь таких делов наворотить, что места на груди для орденов не осталось бы. Но, увы!..

Он сунул руку в нагрудный карман, вынул сложенный вчетверо лист бумаги и бросил его на стол.

— Читай письмо трудящихся! И ты, Степанов. Пригодится на будущее.

Оборин взял лист, развернул его. Я сел рядом. Письмо было следующего содержания:

«Командиру батальона. Объяснительная записка.

Докладаваю Вам, что сегодня на мне было произведено неуставное взаимоотношение. Очень болея за честь коллектива и желая с честью выполнить интернациональный долг по защите свободлюбивого афганского народа от происков империализма, я хотел вступить в бой с бандой душманов. Но ком. роты к-н Оборин П. Н. решил не трогать банду, а отпустить ее своей дорогой, потому что у него замена и он спешил в роту. Когда я попытался выстрелить в главаря, с-нт Сафаров Г. сбил меня с ног, а к-н Оборин ударил меня. Сейчас надо смело вскрывать недостатки, и я не боюсь ответственности и требую наказания к-на Оборина П. Н.

Рядовой Киреев Н. С.»

В записке была сделана масса ошибок.

— Ну, что скажешь? — спросил Петровский.

Оборин сложил лист и протянул его комбату.

— Никогда не думал, что у Киреева так плохо с грамотой.

— Это сейчас меня меньше всего интересует. Ты ударил солдата?

— Я толкнул его, а не ударил, хотя с паникерами в боевой обстановке надо поступать иначе.

— А вот это, может быть, будешь объяснять прокурору, — жестко произнес Петровский.

— Мне все равно.



Комбат вспыхнул:

— Посмотрите на него, как легко судьбой своей распоряжается! Только мне, Оборин, небезразлична твоя судьба. Понятно тебе?.. И благодари бога, что я здесь оказался, иначе отправил бы Киреев кляuzu кому-нибудь повыше.

— Мне все равно,— упрямо повторил Оборин.

— Врешь, врешь, Паша! — зарычал комбат.— Тебе совсем не хочется садиться в следственный изолятор. И ты хочешь, чтобы я тебе помог, и надеешься на меня. И правильно делаешь, что надеешься. Потому что я не забыл нашу дружбу... Короче, отдаю тебе это письмо, делай с ним что хочешь. И все забудем, ясно?

— Письмо мне не нужно. Оно адресовано тебе,— спокойно ответил Оборин и встал.

— Сядь! — рявкнул комбат.— Я тебя не отпускал... Детский сад, а не армия! Ежели ты такой принципиальный, то почему не доложил мне о незаконном аресте Степанова?.. Отвечай, когда я спрашиваю!

Оборин мельком взглянул мне в глаза и ничего не ответил. В эту минуту в дверь постучали и в комнату вошел дневальный.

— Товарищ майор, лейтенант Железко вышел на связь.

Петровский кивнул мне:

— Узнай, что у него там?

Я выскочил в коридор и побежал к радиостанции.

— «Буря» слушает, прием!

Сквозь треск и шум помех я услышал далекий голос Железко:

— «Буря», докладывает ноль-третий! Нахожусь в квадрате... Трофеев нет. Как поняли, прием!

Я почувствовал, как во мне все похолодело.

— Ноль-третий, повторите, не понял вас! — закричал я в микрофон.

— Трофеев нет, ни одной единицы. Мы все обыскали. Ничего нет. Возвращаюсь...

— Ну что там? — спросил комбат, когда я зашел в комнату. Оборин сидел на койке, закрыв глаза. Я успел заметить, что письмо по-прежнему лежит на столе.

— Железко возвращается без оружия.

— Что? — хрипло выдохнул Петровский и привстал.— Что значит — без оружия?

Я заметил, как рядом со мной напрягся всем телом Оборин.

— Он не нашел его там. Ни одного ствола...

Комбат вышел на середину комнаты, за ним с грохотом упал стул.

— Ну, орлики-соколики, прямо не знаю, что с вами делать! Я вообще не знаю, что с вами делать! Это какой-то идиотизм, а не служба! Вы хоть понимаете, что произошло?!

Он так кричал, что его, наверное, было слышно у шлагбаума.

— Может, Железко плохо искал? — тихо сказал Оборин. Я взглянул на него. Лицо Паши было белым как мел.

— Молчать! — взревел Петровский.— Не хочу слушать никаких объяснений! Все, Оборин, пойдешь под суд. Лопнуло мое терпение, дружок хреновый! Ты, Степанов, сейчас же принимай роту.

Он метался по комнате, задевая стол, стулья, тумбочку. Потом схватил письмо и сунул его в нагрудный карман.

— Степанов, поднимай роту по тревоге! Сейчас я сам буду наводить порядок... Оборин — под арест! Снимай весь этот маскарад с себя, ни патроны, ни гранаты тебе не нужны... Ну что еще?

На пороге опять стоял дневальный. Испуганно глядя на Петровского, он доложил:

— Товарищ майор, «Силикатный» на связи.

— Вот так,— обмякшим голосом пробормотал комбат.— Вот так...

«Силикатный» был позывным штаба полка.

Мы остались с Обориным вдвоем. Я не мог на него смотреть и с каким-то сумасшедшим упорством растирал ладонью капельки чая по листу плексигласа.

— Не верю! — услышал я за спиной его глухой голос.— Все не то!

Я почувствовал, как в комнату вошел комбат. Несколько секунд стояла тишина. Я обернулся. Петровский почти вплотную подошел к Оборину и сквозь зубы сказал:

— После всего этого мне остается только ненавидеть тебя.

«Рота, подъем, тревога!» — раздался истошный крик дневального в коридоре. И в ту же минуту загрела, заклацала, затопала разбуженная рота.











Комбат оборвал тесьму, на которой висела шторка, прикрывающая схему района. Сдержанным голосом он сказал:

— Степанов, довожу тебе обстановку. Только что на кишлак Бахтиаран напала банда душманов. Вооружена автоматами, пулеметами и винтовками, численность ее пока не установлена. Кишлак обороняет группа партийных активистов и бойцов народной самообороны. Поднят по тревоге и, видимо, уже находится в пути отряд царандоя. Афганские товарищи просят о помощи... Времени нет, три минуты тебе на проверку личного состава, и по машинам. Я еду с тобой.

Надев на ходу безрукавку и схватив автомат, я выскочил в коридор. От безысходной тоски, которая мучила меня еще несколько минут назад, не осталось и следа. Подавая команды, я едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Воля и решительность комбата тянули меня за ним, и я почти с облегчением ощущал в себе раскованность, желая только одного — скорее окунуться с головой в предстоящий бой.

Уже сидя в люке бронетранспортера, я увидел Оборина. Без бронежилета, нараспашку, он бежал к колонне, пристегивая к автомату тройку связанных изолентой магазинов. Комбат что-то крикнул ему, но из-за рева двигателей я не разобрал ни слова.

Оборин запрыгнул ко мне на БТР и сел у люка десантного отделения. В темноте мне показалось, что его глаза необычно огромны, но спокойны. «Что он задумал?» — мелькнула у меня мысль, но я не обернулся и ни о чем его не спросил.

Комбат махнул рукой, и машины тронулись с места. Кто-то рядом со мной чиркнул спичкой, прикуривая сигарету. Опершись спиной о подъем башни и положив ноги на крышку люка, подчеркивая своей позой презрение к опасностям, полулежал Киреев.

— Повоюем, товарищ старший лейтенант! — крикнул он, протягивая мне пачку «Ростова».

Я наотмашь ударил ладонью по сигарете, выбив ее изо рта солдата. Малиновые искры взметнулись на ветру.

— Дрянь ты, — негромко, но так, чтобы ему было слышно, ответил я.

Эхо, застрявшее в узком коридоре между скал, сгустило грохот колонны до дрожащей пронзительной ноты. Лишь когда горы внезапно расступились и, куда хватал глаз, до самого горизонта раскинулась зеленая зона, мы услышали редкие хлопки выстрелов.

Снизив скорость, машины свернули с шоссе на ухабистую грунтовку. Мы ехали мимо бесформенных останков построек, задевая антеннами ветви сухих деревьев. Над головой, в еще сыром, не созревшем рассветном небе плыли блеклые мазки тумана, смешанные с грязным дымом выхлопов. Все вокруг было неживым, заброшенным, давно покинутым людьми: изрезанные трещинами дувалы, высохшие кусты и деревья убогого сада, что погиб в неравной борьбе с солнцем и безводьем.

Машина комбата остановилась, и Петровский, опережая пылевой столб, быстро опускающийся на броню, прыгнул на землю. Размахивая руками («Глуши двигатель!»), он пошел вдоль колонны. А когда затих последний бронетранспортер, я отчетливо услышал звук боя. Он то нарастал, сливаясь в сплошную частую дробь, то редел до отдельных выстрелов, затихал на минуту и снова тарабанил, как внезапно начавшийся майский ливень.

Я прыгнул с бронетранспортера и, увязая ботинками в мелкой, как пудра, пыли, пошел навстречу Петровскому.

— Разделимся на две группы, — сказал он, глядя в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. — Выйдешь через сад к мосту, а как прорвешься на другой берег — сразу под дувалы. Я перейду речку вброд с северной стороны. По мере продвижения к центру смотри в оба, чтобы мы друг друга сгоряча не ухлопали... Что еще? Советуйся по всем вопросам с Сафаровым, он, пожалуй, самый опытный парень в роте.

Комбат делал вид, что не замечает стоящего невдалеке от нас Оборина. Паша, прислонившись плечом к покосившемуся низкому дувалу, смотрел в сторону реки...

Пригнувшись, мы бежали среди усохших деревьев, спотыкаясь и разбивая ботинками затвердевшие комья глины. Рядом со мной под тяжестью пулемета сопел Сафаров. Он устал, бессонная ночь вымотала этого крепкого парня. Все устали. Я оглянулся. Киреев загла-



тивал воздух безвольными губами и едва волочил ноги. Кепи сползла ему на лоб, почти закрыв красные, дурные глаза.

— Оставайся, Киреев! — прохрипел я, чувствуя, что и у меня силы на исходе и что до отвращения не могу смотреть на измученного солдата. — Возвращайся к технике!

Он или не понял меня, или же сделал вид, что не расслышал, продолжал шлепать ботинками по окаменевшей земле, но выпрямился и кепи на голове поправил.

Мертвый сад остался позади, и мы выбежали на берег. Реки не было видно, она текла где-то внизу, в глубокой промоине, откуда, словно из-под земли, выпрыгивали языки пламени — неправдоподобно красные на фоне бесцветных стен Бахтиарана.

— Мост горит! — крикнул Сафаров, бросился к обрыву и будто провалился сквозь землю.

Я крикнул солдатам, чтобы бежали за мной, и тоже спустился с обрыва к шумной грязной реке, побежал, широко расставляя ноги, по крупной гальке к горящему мосту. Сафаров и Оборин, неведь откуда взявшийся тут, лежали у самой воды. Не поднимая головы, сержант замахал мне рукой, показывая, что надо залечь — не чувствуя опасности, я бежал к мосту с одним безрассудным стремлением спасти его от огня. На середине мост почти полностью прогорел, обуглившиеся доски едва держались на черных изогнутых гвоздях, лопались, разбрызгивая искры. Поток воды смывал, уносил течением обгоревшие щепки, заливал покосившиеся опоры.

«Поздно!» — с обреченным равнодушием подумал я, упал на камни, задыхаясь в дыму. Ослепший от боли в глазах, от слез, я подполз к реке, зачерпнул ладонью мутной воды и ополоснул лицо.

Наконец-то я отчетливо рассмотрел противоположный берег. Мощный, длинный, как крепостная стена, дувал, втиснутый в глубь кишлака, ломался на глинобитные домишки, издавала похоже на груды черепиц. Тонкие, как свечи, тополя обступали темно-зеленое поле, которое тупым углом вдавалось в кишлак. Где-то в глубь дворов дымился покосившийся двухэтажный дом с плоской продавленной крышей, страшными черными провалами вместо окон. Весь

Бахтиаран играл огнями, будто в лабиринте его узких путаных улочек под треск автоматных и ружейных выстрелов трудилась бригада сварщиков.

Я посмотрел на Оборина. Казалось, он ждал этого, молниеносно вскочил на ноги, сделал три огромных прыжка и упал рядом со мной.

— Плохи наши дела, командир, — сказал он. — Душманы хорошо подготовились к встрече с нами. Возможно, они сейчас смотрят на нас из-за того дувала. В открытую реку не перейдешь — нас заметят и перестреляют как уток... Что я могу тебе посоветовать? Попробуй переправиться маленькими группами вдоль моста. Дыма много, он надежно прикроет. Будет немножко горячо, но другого выхода у тебя нет... Если не возражаешь, мы с Сафаровым перейдем первыми.

Он перекатился к самой воде и, подняв автомат над головой, быстро вошел в реку. Осыпая песком, надо мной пробежал Сафаров, плюхнулся в воду.

Дувал вдруг засверкал, словно усыпанный кусками битого зеркала, и круглые камешки на нашем берегу ожили, зашевелились, запрыгали как горошины по раскаленной сковородке. Нас заметили, по нас стреляли, не давая поднять головы.

Я выстрелил по дувалу длинной очередью. Красная струя трассера, как тонкий луч, скользнула по его оспяной поверхности. Сразу же забыв об этом проклятом дувале, стиснув зубы, я стал следить за Обориным. Паша продвигался очень медленно, время от времени исчезая в дыму. Одной рукой он, наверное, держался за невидимые в воде опоры, в другой нес оружие. Несколько раз его с головой накрывало волной, и над поверхностью воды оставалась его худая рука с автоматом.

Оборин достиг уже середины реки, как вдруг исчез под водой. Борясь с течением, Сафаров пытался бежать по каменистому дну ему на помощь. Потом целую минуту я не видел, что там происходило — все затянуло дымом. Я крикнул, чтобы очередная тройка солдат начала переправу, и шагнул в воду, с трудом проталкивая себя сквозь бурный холодный поток.

— Сафаров, что с Обориным? Где... — Я не договорил, захлебнувшись водой, и инстинктивно ухватился за то, что когда-то было мостом. Не чувствуя



боли, я услышал, как под мокрой ладонью зашипели тлеющие доски.

Потом я увидел Оборина. Затылок его был опущен в воду, обеими руками Паша держал автомат, упершись прикладом в обугленные бревна. Сафаров, повернувшись к нам лицом, крикнул:

— Яма! Здесь яма!

Он стал пятиться спиной к берегу, прижимая плашмя автомат к покосившимся опорам. Свободной рукой сержант тянул за собой Оборина, вытаскивая его из-под обгоревшего настила, куда затягивало течением.

«Он маленький, он невысокий, — подумал я, испытывая какую-то мучительную жалость к Оборину. — Он с головой провалился там, где по плечи Сафарову».

Я оглянулся. За мной шли Латкины и еще трое солдат, вытянувшись в цепочку и поддерживая друг друга, как слепцы, за плечи. «Семь, восемь, девять... — мысленно перебирал я в уме тех, кто сейчас находился в воде. — Значит, на берегу еще одиннадцать».

Я снова увидел Сафарова. Он уже вышел из воды, упал на колени и пополз к обрыву. К потемневшим от воды куртке и брюкам прилипли комья глины и песок. Наверху, почти незаметный в пожухлой выгоревшей траве, он открыл огонь. Следом за ним, шатаясь, ступил на берег Оборин и упал на камни в метре от воды. Он не двигался, не поднимал головы, пока рядом с ним не повалились вышедшие следом солдаты. Только тогда он тяжело поднялся и пошел по гальке. Я отчетливо услышал его команду:

— За мной! Наверх!..

— Быстрее!.. Все наверх! Быстрее! — машинально повторил я команду Оборина и сам же, подчиняясь ей, тащился по сыпучему откосу обрыва.

Оборин и Сафаров уже бежали вдоль дувала, прижимаясь к нему телом, будто он притягивал их к себе. От реки до него было каких-нибудь пятьдесят метров, но на этом открытом пустыре душманы наверняка видели нас как на ладони. «Опасно, опасно», — бормотал я, медленно приподнимаясь над краем обрыва. И откуда только взялись силы? До спасительных деревьев, растущих на краю поля у самого кишлака, я бежал как на соревнованиях. Не знаю, стреляли ли по мне — я ничего не слышал, кроме шума ветра в ушах. А когда обнял руками теплый, шершавый ствол дере-

ва, то скорее почувствовал, чем увидел, как за мною бегут солдаты. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — шептал я, пытаюсь унять мелкую дрожь во всем теле, с облегчением осознавая, что самое трудное, может быть, уже позади, и мы вопреки всему перешли реку и ворвались в кишлак. «А-а, сукины сыны! Не вышло по-вашему! Кукиш вам, хрен вам третий!» — бубнил я, глядя на бегущих солдат, и никто из них не падал, никто не останавливался.

Я выстрелил по срезу дувала и побежал дальше, к узкой улочке. Когда я нырнул в ее тень, фигуры Оборина и Сафарова уже исчезли за дальним поворотом.

Внезапно все звуки пропали. Стараясь дышать спокойнее, я шел между дувалов. В глухой тишине я слышал только бешеный стук своего сердца. Сплошная, ровная, без всяких проемов стена переходила в двухэтажный дом. Деревянная дверь с металлическим кольцом была приоткрыта. Я встал рядом с ней, прижимаясь к стене спиной. Латкины с высоко поднятыми стволами автоматов беззвучно шли ко мне. Я поднял руку, они сразу же замерли и быстро подошли к двери с другой стороны.

Тихий, ноющий звук доносился изнутри, будто кто-то медленно водил смычком по струне скрипки. Он то затишал на низкой ноте, то, резко усилившись, поднимался до визга.

Вытянув руку, я надавил на дверь. Она мягко, без скрипа, отворилась. Прошла секунда, вторая... Я осторожно заглянул внутрь. Двор. Деревянная лестница на второй этаж дома. Двухколесная повозка, доверху заваленная дровами. Облезлый индюк, вытянув плешистую голову, недовольно смотрел на меня одним глазом... Я сделал шаг вперед и вздрогнул от неожиданности.

У самой стены, в трех шагах от меня, стояла на коленях старуха, одетая в лохмотья, и, обхватив руками голову, раскачивалась, бормотала или пела что-то. Из-под нее торчали две маленькие, босые, серые от пыли ноги.

Я услышал за спиной сдавленный вздох, и когда старуха в очередной раз качнулась вверх, увидел что-то омерзительное и страшное. На земле, лицом в бурой жиже, лежала девочка лет пяти. Я успел заметить, что голова ее была как-то неестественно вывернута назад,



а поперек шеи чернела огромная рубленая рана.

Я отшатнулся назад, выталкивая солдат в проем двери. «Что случилось, где ротный?» — раздались голоса с улицы, кто-то пытался протиснуться в дверь, и, подняв глаза, я увидел грязные, осунувшиеся лица солдат.

— Уходите отсюда! — выдавил из себя Латкин. — Идите отсюда!

— Девчонку убили, — шептал его брат. — Лучше не смотрите...

— Почему столпились? — раздраженно крикнул я. — Гранаты к бою! Никому не останавливаться! Пробиваться к центру! Первому отделению по главной улице. Второму — вдоль арыка. Остальные за мной!

И сам побежал вперед, шумно втягивая носом воздух и диким усилием воли сдерживая свое нутро, как крик, рвущееся наружу.

За поворотом я едва не наступил на труп. Заросший, худой детина с тонкой кучерявой бородкой лежал на боку, сжимая коченеющими пальцами окровавленный живот. К вывалившемуся изо рта языку налипла пыль, а в мутных глазах застыл ужас.

Я застонал от нетерпения и побежал дальше. Где душманы? Почему затихла стрельба?

Я свернул в боковую улочку, но тут же остановился как вкопанный. Навстречу мне шел своей неуклюжей походкой Киреев с двумя солдатами.

Я повернулся и побежал в другую сторону, вдоль арыка. Метров через сто дорога оборвалась и путь преградил высокий дувал. Черт возьми! Я, кажется, потерял ориентацию и попал в тупик!

Латкины куда-то пропали. Я был один среди немых мрачных дувалов.

Мне не хотелось возвращаться. Я ухватился за край дувала и влез на стену. И сразу же услышал звуки перестрелки, глухие хлопки гранат. Балансируя руками, я пробежал по стене и спрыгнул вниз.

В конце улочки я увидел знакомые фигуры Оборина и Сафарова. Сержант замахал мне рукой, показывая куда-то. В ту же секунду совсем рядом прогремела автоматная очередь. Я упал на землю, почувствовав на лице осколки сухой глины. Поднял голову и сразу же заметил движение в окне двухэтажного дома. Выстрелил наудачу и перебежал на другую сторону улицы.

Темный проем окна был над моей го-

ловой. С трудом двигая обожженными пальцами, я торопливо ввинтил в гранату запал. Успокоил дыхание, прислушался. Сверху что-то зашуршало, и на голову посыпались кусочки глины. Я сплюнул и швырнул гранату в окно.

Тупой удар выбил оконную раму.

Закрыв голову руками, я услышал далекий протяжный стон. Подтянувшись, я ввалился в проем.

Не видя ничего в густом дыму, я стрелял по углам, стенам и полу, медленно продвигаясь вперед... Потом вдруг стало тихо, и я подумал, что оглох.

Отстегнул ставшие непривычно легкими магазины, похлопал себя по карманам... Все, приплыли! Патроны кончились.

Где-то в глубине дома скрипнула лестница. Что-то загремело, похоже, ведро... И снова тихо.

Мои глаза постепенно привыкали к темноте. Я увидел сорванную с петель дверь, гору распотрошенных подушек и распластанные на полу фигуры. Неловко шагнул к двери, брезгливо переступая через убитых, вытащил из кармана последнюю гранату.

Запал никак не ввинчивался — я совал его другой стороной. Успокоился, взял автомат под мышку. Завинтил, вырвал чеку... За тебя, капитан Блинов!

Я вышел из комнаты на лестницу и бросил гранату вверх. По мне выстрелили, дверь с треском расщепилась надвое, но я успел упасть на колени и закрыть лицо руками. Трудно привыкнуть к грохоту взрыва.

Пламя отшвырнуло искореженные перила, где-то раздался звон стекла. Не дожидаясь, пока рассеется дым, я поднялся наверх. Лестница вывела меня в пустую комнату.

Я подошел к разбитому окну и увидел прямо под собой центральную площадь кишлака. На ней, перебегая с места на место, метались люди в серой форме, стреляли в разные стороны и кидали за дувалы гранаты. «Да это же солдаты царандоя!» — с облегчением подумал я и сел на пол, прислонившись спиной к железному сундуку. Провел ладонью по лицу — на пальцах осталась грязная кровь. «Моя или чужая?» — равнодушно подумал я, понимая, что должен хотя бы три минуты отдохнуть, ибо никакие силы не заставят меня сейчас подняться на ноги.





Я смутно помнил, как словно безумный, метался по витиеватым улочкам кишлака, как онемевший палец холодел на спусковом крючке, как очутился в доме... И этот короткий бой в темной комнате на первом этаже, и ощущение нереальности происходящего вокруг.

— Товарищ старший лейтенант! — услышал я голос. Кто-то осторожно поднимался по лестнице. — Вы здесь?..

Я негромко свистнул.

В двери выросла худая фигура Латкина. Он приоткрыл рот, будто там у него были глаза, чуть-чуть развернул голову ухом вперед и медленно вошел в комнату, выставив ствол автомата вперед.

— Убери пушку, пристрелишь, — простонал я.

Солдат какое-то мгновение смотрел на меня дикими глазами — не узнавал, что ли? — потом резко бросился ко мне, упал рядом на колени.

— Товарищ старший лейтенант, вы живы, вы ранены? — и стал трясти меня за плечи. От его мокрой одежды исходил какой-то прелый запах дождя.

— Да не тискай же ты меня!

Латкин глубоко вздохнул, стянул с головы кепи, вытер ею посеревшее лицо.

— Вас задело... Лоб рассечен... Сейчас!

Он вскочил на ноги, вышел на лест-

ницу схватился рукой за дверное кольцо и посмотрел вниз.

— Эй, Васек, давай сюда!

Неумело и торопливо перевязывая мне лоб, Латкин захлеб говорил, проглатывая слова:

— Вас комбат на связи ждет... Мы думали... Вы когда в окно залезли, там шарахнуло и, знаете... Так мы уже в самом центре, ничего себе... Тут уже царандойцы рядом... Комбат сказал, вас хоть под землей найти, а я все время за вами... Вы знаете, что-то повязка не хочет держаться.

Радист, огненно-рыжий Василий Громаков, нелепо и смешно изобразил на пороге «смирно» и, сильно окая, спросил:

— Разрешите войти? — повернулся и, пятясь спиной, на которой висела радиостанция, подошел ко мне.

Я взял наушники, прижал их плечом к себе и сказал в микрофон:

— Ноль-первый, я «Родник», прием!

— «Родник», доложи, где находишься, — сразу же услышал я спокойный, даже какой-то будничный голос Петровского.

— Я в пятидесяти метрах от центра с южной стороны.

— Ясно. Я недалеко от вас... Будь осторожен, площадь в тесном кольце бородатых. Поддержи огнем «зеленых».



— Они уже в центре,— ответил я, выглядывая в окно.

— Отлично, «Родник», отлично... Знаешь, что мы нашли? Винтовки с расщепленными прикладами... Привет миролюбцу. Отбой!

Я ухватился рукой за радиостанцию, сгибая своей тяжестью Громакова, и встал на ноги.

«Оборин, Оборин... Где он сейчас?»— Не знаю, почему, мне стало тревожно на душе.

Я бродил по комнате, бессмысленно перебирал книги, журналы, потом взял будильник и перевел стрелку звонка на полчаса вперед. Уже незачем было выходить на службу так рано и встречать в парковой аллее Ольгу Андреевну.

Заснул я прямо в кресле, даже не выключив свет в комнате.

Не знаю, сколько я так проспал. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. «Посыльный! — почему-то решил я.— Сейчас скажет: срочно к комбату, товарищ старший лейтенант!»

Я открыл дверь и довольно долго стоял, щурясь от яркого света, не понимая, почему вместо посыльного на пороге стоит Ольга Андреевна.

— Можно войти? — спросила она.

Я пропустил ее в коридор и захлопнул дверь.

— Ты спал?

Я кивнул, медленно приходя в себя.

— Послушай, а где твой Алеша?

— Спит дома.

— Чаю хочешь?

Она кивнула. Но я не пошел на кухню, а сел на пол и опустил голову на колени Ольге Андреевне.

— Пока я была в школе, он устроил дома обыск. Он копался в моем столе и читал твои письма.

— Так ты не писала ему обо мне?

Ольга Андреевна, глядя на меня широко раскрытыми глазами, протянула шепотом:

— Саша! Боже мой! Он тебе такое наговорил, и ты ему поверил?

Она вдруг рассмеялась и презрительно выговорила:

— Командир роты! Офицер, от которого в бою зависит жизнь десятков солдат! Смешно! Да ты лежковерный, наивный простачок!.. За что я тебя люблю?

Ольга Андреевна умела быть жестокой.

— Прости... Я грубая, злая, да? —

сказала она уже тише.— Письма... После того, как он уехал, я не писала ему ни разу. Его уже не было в моей жизни, понимаешь?..

Первый раз за всю службу я проспал и опоздал на построение. Комбат, хмурясь, ходил взад-вперед по плацу, будто мерил его циркулем, подошел ко мне и процедил:

— Чего ухмыляешься? Хочешь выговор?

Я по опыту знал, что в подобных ситуациях лучше упорно молчать и не оправдываться, тогда комбат быстрее остынет.

— Язык проглотил? Когда доложишь мне о своем решении насчет Афганистана?

— Я согласен ехать, Владислав Владленович.

— Окончательно решил?

— Да, окончательно.

Комбат удовлетворенно кивнул и сказал:

— Я и не сомневался, поэтому еще позавчера доложил кадровикам о тебе. Так что готовься сдавать роту... Чего это у тебя глаза красные?

Была бы у него такая ночь!

В четыре часа утра в дверь стали трезвонить, а потом, вдобавок к этому,— стучать, то ли кулаком, то ли ногой. Грохот стоял невероятный.

— У тебя так всегда? — спросила Ольга Андреевна и села в постели.

— Лежи, не вставай,— ответил я ей, быстро одеваясь.— Сейчас разберемся.

— Полежишь тут,— вздохнула Ольга Андреевна и накинула на себя мой халат.— Я знаю, кто это.

Интересная была встреча! На лестничной площадке, сильно навалившись на перила, стоял Павел. Его красный спортивный костюм был выпачкан в глине, на колене — рваная дыра. Он тяжело и глубоко дышал, качаясь всем телом.

— Где Оля?

Я с трудом понял, что он спросил.

— Выследил! — Ольга Андреевна вышла на площадку и встала между мной и Павлом.

— Оля! Оленька! — Павел отпустил перила и упал на колени перед Ольгой Андреевной, обнимая ее ноги.— Оленька, прости! Начнем все сначала!

— Отстань... Отпусти же! — Она пыталась вырваться.



— Олюшка, прости!!!

Ольга Андреевна оттолкнула его от своих ног и отступила на шаг.

— Уходи!

— Но я ведь люблю тебя!

— Сказали тебе — вали отсюда, значит, вали! — не выдержал я и несильно, как мне показалось, толкнул Павла в плечо. Тот потерял равновесие, неловко, боком повалился вниз, перекувырнулся через голову и тяжело упал на нижний пролет.

Ольга, покусывая губы, смотрела на Павла, который сидел в углу, положив голову на колени, и шумно, навзрыд плакал.

— Пойдем, — я обнял Ольгу Андреевну за плечи, но она резко высвободилась и с неприязнью посмотрела на меня.

— Зачем ты ударил его? Кто тебя просил?

— Я не ударил его. Я только прикоснулся. Но ты же видишь...

— Вижу! — Она быстро вошла в комнату. — Не закрывай дверь, я сейчас уйду.

— Ольга! Пятый час утра...

— А по-твоему, я должна его оставить в таком виде на лестнице?

Мы вышли, подняли Павла, который по-прежнему всхлипывал, как незаслуженно обиженный ребенок, и втроем, в ногу, зашагали по освещенной фонарями улице.

В подъезде было тихо. Павел вяло потащился вверх по лестнице, а Ольга Андреевна, лишь на секунду задержавшись у двери, быстро прикоснулась губами к моей щеке.

— Не сердись, — сказала она.

Я в ответ лишь пожал плечами.

Я стоически терпел разлуку с Ольгой Андреевной, но, следуя не совсем мне понятному принципу, не звонил ей и по утрам выходил на службу позже обычного, чтобы не встречаться на нашей аллее, выражая тем самым невесть что. Ольга Андреевна все же оказалась благоразумнее меня, на что я втайне и надеялся, и через три дня пришла на КПП и вызвала меня через дежурного.

— Старший лейтенант Степанов! — сокрушенно качая головой, сказала она и смешно отдала честь левой рукой. — За самовольную отлучку от любящей вас женщины объявляю вам ночь ареста.

Нет, на Ольгу Андреевну невозможно было обижаться! Я пообещал, что, как только освобожусь, сразу зайду к ней.

Это был мой первый день, когда я начал вплотную готовиться к отъезду «за речку», как говорили офицеры, отслужившие в Афганистане. Сдача должности — дело весьма хлопотное, чем-то напоминающее ревизию в универсальном магазине, и я, поглощенный заботами, пробыл в роте до десяти вечера.

По пути к Ольге Андреевне я обдумывал, как сказать ей о своем отъезде в Афганистан, точнее, как красивее и впечатляюще подать этот факт.

Дома у Ольги Андреевны не было ни Павла, ни сына.

— Алешу я отвела к маме, — словно догадавшись о моих мыслях, сказала Ольга Андреевна. Но о Павле — ни слова. А я не стал спрашивать.

В комнате был аппетитно и красиво накрыт стол, в вазе — цветы. Шляпа! Когда же я запомню, что любимым женщинам при встрече надо дарить цветы!

— По случаю чего у нас праздник? — спросил я, испытывая нежное чувство благодарности к Ольге Андреевне.

— По случаю того, что у нас с тобой все хорошо.

«Сейчас скажет про Павла!» — мелькнула у меня мысль, но я ошибся.

Ольга Андреевна молча сняла фартук.

— Потрясающе красивое платье! — искренне изумился я и тут же вспомнил, что сейчас мне придется снимать сапоги и демонстрировать свое галифе с «тормозами».

— Послушай, Оля, может быть я быстренько сбегаю домой и надену костюм?

Она поняла, моя умница, рассмеялась, взяла меня под руку и повела в комнату.

— Я привыкла к форме. К тому же, она тебе идет... Посмотри!

Ольга Андреевна взяла с дивана пакет и протянула мне.

— Что это?

— Подарок тебе... Рубашка.

Мне захотелось что-нибудь выпить. В горле запершило, я откашлялся и взял Ольгу Андреевну за руки.

— Милая моя Оленька. Я свинья! Я даже цветы тебе не принес.

— Да, это очень плохо, — согласилась Ольга Андреевна. — Ну, ничего. Постараемся найти выход из этого труд-



ного положения... Примерь же рубашку, она импортная, а размер твоего воротника я подсмотрела у тебя дома. Красивая, правда?

— Можно позже? — я вобрал в грудь побольше воздуха. — Нам надо с тобой серьезно поговорить.

Ольга Андреевна заметно побледнела, и ее волнение передалось мне.

— Да, надо, Саша... Сядем?

Мы сели за стол друг против друга. Я откупорил шампанское, разлил в бокалы. Ольга Андреевна едва заметно, как бы невзначай, прикоснулась губами к краю бокала, словно целуя его.

— Оля, я... улетаю в Афганистан.

Ольга Андреевна почти не изменилась в лице и смотрела на меня чуть улыбаясь, а рука ее с бокалом застыла в воздухе.

— Куда?

— В Афганистан.

Воцарилась тишина.

Я буркнул: «Вот такие пироги», — а Ольга Андреевна медленно опустила бокал на стол, не сводя с меня глаз, и тихо, каким-то чужим голосом спросила:

— Отказаться можешь?

Я не ожидал такого вопроса и замаялся.

— Отказаться всегда можно, но ты представляешь, что потом будет? В полку станут презирать меня за трусость. Да и ты же сама будешь меня презирать... В общем, я дал свое согласие.

Ольга Андреевна растерянно кивала:

— Да-да, наверное, ты прав... Ты прав...

Она встала из-за стола, вытащила из пачки сигарету, закурила у темного окна, повернувшись ко мне спиной.

— Это все, что ты хотел мне сказать?

— Да, все, Оля... И еще...

— Достаточно! — перебила она меня и после паузы: — Проваливай!

Вот это поворот событий! Я ничего не мог понять.

— Оля! — Я резко поднялся из-за стола, зазвенели бокалы, шампанское пролилось на скатерть.

Я подошел к ней и попытался обнять за плечи. Ольга Андреевна вздрогнула, будто мои руки били током, подошла к столу и стала быстро собирать тарелки.

— Прошу тебя, уходи отсюда. Улетай в свой Афганистан и вообще куда хочешь!

Она говорила подчеркнуто спокойно. Такой я видел ее впервые.

Во мне вдруг вспыхнула злость.

— Ну ладно! — процедил я сквозь зубы и вышел в коридор.

Я очень долго застегивал пуговицы, очень долго надевал галстук. Из комнаты не доносилось ни звука.

— Ты пойми! — громко сказал я в тишину. — Я командир, офицер в конце концов! Мне приказано, и я еду!

Нет, не то, не то я говорил! Сам же проболтался, что дал свое согласие.

Как все плохо получается у нас с Ольгой Андреевной!

— Ну, я пошел?

Тишина.

Я распахнул дверь, захлопнул ее за собой покрепче и побежал вниз. Катись оно все к чертовой матери!

— Саша! — эхом полетело по этажам.

Я в три прыжка очутился в ее квартире. У Ольги Андреевны блестели глаза, но она не плакала.

— Ты забыл рубашку.

Нет, так просто уйти нельзя. Надо все решить, все поставить на свои места.

Я взял пакет.

— Оля, у меня нет никого...

— Ты думаешь, что бабам нужны ваши ордена? — перебила она меня, едва сдерживая слезы. — Думаешь, нужны ваши звезды и должности?..

— ...и я люблю только тебя...

— Ты же видишь, какая у меня жизнь!

— ...но что мне делать, Оленька?

— Уходи! Совсем. Так будет лучше...

Я улетел с таким чувством, будто был виноват перед ней.

## ГЛАВА 7

Узкую улочку заволокло дымом. Он тонкими струями плыл над землей, и оттого казалось, что дувалы с черными пятнами, дорога, усеянная, как шелухой от семечек, гильзами, слепые дома медленно движутся куда-то вперед, в серую утреннюю мглу. Солдаты сидели на земле, стояли вдоль дувалов, лежали на срезах стен, глядя в одну сторону, туда, где еще раздавались редкие щелчки выстрелов, откуда тянуло тошнотворным запахом жженой резины. Их фигуры застыли, но не было в позах той недавней упругой, будто остановленной



на миг пружинной напряженности. Бой утихал...

Стоя на колене и зажав между ног автомат, Латкин торопливо запихивал в рот кашу, скреб ложкой в жестяной банке, энергично двигал полными щеками. Он с трудом глотал, вытягивая вверх тонкую шею, но не переставал крутить головой, осматривая все вокруг тревожным взглядом.

— Латкин, Оборина не видел?

Солдат положил банку на землю, вскочил и несколько секунд шумно сопел, дожевывая с мукой на лице последнюю ложку.

— Нет, — наконец ответил он. — Минут пятнадцать назад он вместе с Сафаровым побежал куда-то туда.

И махнул в сторону площади.

За углом пятеро солдат пили воду из ведра, а рядом с ними стоял сгорбленный старик и все время кивал головой, поглаживая реденькую белую бородку. Киреев, обхватив ведро обеими руками, поднял его выше головы и жадно пил огромными глотками. Струя лилась через край, стекала по шее за воротник куртки, капала даже со штангин. Наконец он опустил polegчавшее ведро, вытер губы рукавом и виновато взглянул на меня, не зная, куда деть руки.

— Кто видел Оборина?

Молчание.

Белобородый старик, улыбаясь беззубым ртом, жестом предложил и мне попить. Меня давно мучила жажда. Я охотно взял ведро, опустил в него голову, ощущая на лице колодезную прохладу, подул на плавающую мусоринку и сделал маленький глоток. В это же мгновение кто-то сильно ударил по дну ведра. Вода плеснула мне в глаза, залила нос. Я не удержал ведро в руках, выронил, и оно гулко брякнулось в пыль.

Этот сухонький, сгорбленный старичок едва не сбил меня с ног и захромал по дороге, подняв руки над головой.

— Шахло! — сипло звал он. — Шахло!!!

— Атас, ребята! — крикнул кто-то из солдат. — Бородатые!

Я сначала не понял, что произошло. Машинально отступив к стене, вытирая ладонью лицо, я смотрел в конец улицы, где, часто перебирая тоненькими ножками и вытянув руки вперед, бежала в нашу сторону девочка в длинном

бордовом платье с золотистой вышивкой. За ее спиной, у дувала, стоял высокий худощавый парень в черной рубашке, перепоясанный кожаными ремнями. Он так неожиданно выскочил из-за угла, что сам опешил и, застыв на месте, медленно поднимал к груди автомат.

— Киреев, ложись! — раздался пронзительный крик.

Киреев с побелевшим лицом стоял посреди дороги. Когда он обернулся на голос, я увидел его кричащие, молящие о помощи глаза, и понял, что он не успеет добежать до дувала.

— Да падай же ты! — отчаянно закричал я, готовый броситься к обезумевшему солдату и свалить его на землю.

Все произошло в считанные секунды. Душман откинулся назад, будто автомат, который он поднимал, был страшно тяжелым, расставил пошире ноги и посмотрел по сторонам.

— Шахло-о-о! — еще громче завыл старик.

И вдруг Киреев побежал навстречу ребенку, схватил протянутые к нему руки, неловко оттолкнул девочку за свою спину, а сам не удержался, упал на колени. И сразу же, быть может, мгновением раньше, раздался выстрел. Короткая очередь выплеснула из земли фонтанчики пыли, проткнула грубо, до рваных, бахромистых краев куртку на груди Киреева, и тогда одновременно со всех сторон, где стояли солдаты, загрохотали ответные очереди. Душмана ударило, развернуло лицом к стене и прижало к ней...

Я бросился к Кирееву. Его уже поднимали с земли, и скрюченные пальцы солдата волочились по липкой пыли. Девочка с протяжным криком встала на ноги и бросилась на шею старику.

— Бинт! Скорее бинт! — кричал я и, наверное, всем мешал.

На куртке Киреева расползлось темное пятно, будто из-за жары протекла ручка в нагрудном кармане.

— Дышит, ребята, дышит!..

— Его в тень надо...

— К старику занеси!

— У кого есть промедол?

Промедола у меня не было, но я все же сунул в карман липкую, выпачканную в крови Киреева руку. «Хорошо, что нет рядом Оборина, — подумал я, — а то бы не сдержался и размазал эту кровь по его лицу...»





Над кишлаком поднималось солнце. Зной тянулся над задымленной площадью, и я чувствовал всем телом, как быстро высыхает на мне влажное, вымазанное в речной глине хэбэ, как деревянеет и теряет гибкость. Я неудержимо зевал, меня тянуло ко сну.

Оборин дремал в тени дувала, опустив голову на колени и прикрыв рукой вспухшую обожженную щеку. Он, наверное, даже не слышал, как ругался Сафаров, приказывая душманам встать лицом к стене, как афганские солдаты выносили из дома и осторожно опускали на землю тела погибших защитников кишлака, как моложавый афганский капитан чисто, почти без акцента, рассказывал Петровскому:

— Теперь Абдулхана и его банду будет судить народ. Он хотел, чтобы дехкане, женщины и дети Бахтиарана стали его рабами. Мы почти два года дрались с ним. Сегодня очень хорошо мы работали, но если бы не... — он долго подыскивал нужное слово, — если бы не храбрые солдаты отряда самообороны, то все жители Бахтиарана стали бы заложниками Абдулхана... Вот, товарищ командир, секретарь партячейки — товарищ Анвар.

Я увидел, как к ним подошел молодой красивый мужчина в почерневшей от копоти белой рубашке, пиджаке.

Одна рука перебинтована, на скуле рубец с ободком запекшейся крови. Он молча поздоровался с Петровским и несколько минут о чем-то разговаривал с афганским афицером.

— Сколько ваших людей обороняло кишлак? — спросил комбат Анвара. Капитан перевел вопрос.

— Товарищ Анвар говорит, что из двадцати человек шестнадцать погибло и только четверо остались живы... Но отряд самообороны Бахтиарана был совсем маленький — всего шесть человек.

— Откуда же еще четырнадцать? Женщины?

Афганец отрицательно покачал головой.

— Нет, этой ночью на сторону товарища Анвара перешла банда исламской партии Афганистана. Муджахеды отказались воевать против власти и пришли без оружия. Но товарищ Анвар приказал бывшему главарю Джамалу принести свое оружие. Товарищ Анвар знал, что банда Абдулхана уже идет из Черной Щели в Бахтиаран. Люди Джамала принесли оружие, они его прятали в горах...

Секретарь кивал головой, будто понимал русскую речь.

— Товарищ Анвар говорит, что честным афганцам рано еще бросать









оружие. Много, очень много у нас осталось врагов... Товарищ Анвар говорит, что люди Джамала искупили кровью свою вину и будут похоронены как герои... Вы ранены, товарищ командир?

Комбат уже не слушал капитана, тер пальцами лоб и, пошатываясь, шел в тень дувала.

— Нет-нет... Сейчас...

Он пытался прикурить, чиркал отсыревшими спичками. Бушлат, накинутый на его плечи, упал на землю, но Петровский не обратил на это внимания.

До меня не сразу дошел смысл того, что я услышал. Не думая ни о чем, я долго и тупо смотрел на засохшую травинку под моими ботинками, похожую на сгоревшую спичку.

На площадь, осторожно протискиваясь через узкие улочки, выезжали бронетранспортеры. Они бодро выли, урчали двигателями, дисциплинированно становились в ряд, и столб пыли, подхваченный горячим ветром, закручивался в спираль, ввинчивался в чистое голубое небо.

Петровский подошел ко мне, поправляя на себе комбез, как будто он был с чужого плеча и тер ему шею.

— Я уезжаю на доклад к команди

ру полка... Ты проверь личный состав, оружие — и домой. Людям надо отдохнуть... Спасибо за службу!

Он протянул свою крепкую, горячую ладонь, тряхнул мне руку. Мне показалось, что комбат хочет еще что-то сказать, но он лишь вздохнул и, повернувшись, подошел к Оборину. Паша сидел в той же позе, как и двадцать минут назад, прислонившись спиной к дувалу и опустив голову на колени.

— Ну что, Павел Николаевич! — Комбат изо всех сил старался говорить бодрым, даже веселым голосом. — Отвоевались? Будем прощаться, я еду к командиру полка... Не знаю, увидимся ли когда-нибудь?

Оборин поднял голову, посмотрел на Петровского красными сонными глазами, опустил ее опять на колени и негромко сказал:

— Прощайте, товарищ майор...

Комбат постоял в нерешительности и как-то неестественно, словно с большим усилием, положил свою ладонь ему на плечо.

— Если можешь, Паша, то... прости.

Потом он махнул рукой, повернулся, поправляя на голове кепи, и быстро зашагал к бронетранспортеру.

Я смотрел на Оборина.



Паша поднял голову, долго растирал глаза руками, глядя вслед уходящей машине. Потом медленно поднялся на ноги, сделал несколько шагов по дороге, не замечая никого вокруг.

Я отвернулся и закрыл глаза ладонями, чувствуя, что меня начинают душить слезы...

Тихая, почти невидимая в ночи вода обожгла мне ноги. Увязая в мягком илистом дне, я сделал еще один шаг, и озеро подхватило меня, подняло, плавно покачивая. Я лежал на спине, раскинув руки, и смотрел на звезды.

Бесконечное небо опускалось на меня, притягивало к себе. Я уже не видел ни светлых окон кемпинга, ни горбатых спин гор, ни прозрачной полоски тростника — только небо...

Где же я был? Почему меня как будто не существовало целые сутки? Почему я не слышал, не видел этой жизни, этого неба?.. Я прислушивался к себе, к тому, что еще болело в памяти, стараясь отыскать тот обрыв, тот момент, когда я безрассудно отрекся от себя. Где это случилось? В Черной

Щели? В ложбине? В сером, безликом Бахтиаране? Или за тем порогом, где осталась Ольга?..

Я слушал себя в надежде ухватиться за тот неприметный намек на что-то очень важное, хотя и почти забытое, что так часто мучает нас, как мелькнувшее в толпе до боли знакомое лицо... Это было где-то бесконечно глубоко во мне. Где навсегда остались тихие и чистые зори, парковая аллея с трещинками кленовых листьев и Ольга Андреевна, склонившаяся над школьными тетрадями...

И я возвращался туда, погружаясь в бесконечно близкую и родную мне боль, боясь запутаться, обознаться, ухватиться за что-то надуманное, чужое.

Как все хрупко в этом мире, как все неприкосновенно!..

Звезды опускались все ниже, льдисто покалывали, кружились и плясали на мне, светились блестками на руках, качались на груди, и, уже не чувствуя онемевшими руками холода, я погружался в них легко и без усилий. И они были послушны мне, и целые миры то таяли, дробились на брызги, то появлялись опять.



*А солнце печет  
Нас немыслимым зноем,  
А мне бы напиться,  
Да нет здесь ручья.  
А небо большое  
И такое чужое,  
Чужой горизонт,  
И чужая земля...*

Валерий Петряев

С. БЕЛИКОВ

# ЧУЖОЕ НЕБО

Рассказ



Дед и отец лейтенанта Солощенко, вчерашнего курсанта Генки Солохи, были военными, участниками больших и малых войн. Как-то само собой получилось, что и ему пришлось избрать семейную профессию. Он поступил в училище связи легко, потому что был сообразительным пареньком и в школе учился спокойно и непринужденно, как бы между делом.

Первые недели учебы сжали Генку стальными тисками устава, отучили от домашних пирожков и сладостей, долгого ленивого сна по утрам и прочего гражданского мусора, словно подчищенного рукой старательного умелого

дворника. После завершения учебы лейтенант Солощенко попал прямо в Афганистан, постигать на практике нелегкую науку войны.

За полгода службы его память впитала столько смертей, рваных ран и искалеченных судеб, спаленных дотла кишлаков и покореженной техники, столько дыма и гари, что хватило бы на многих. Он видел, как война безжалостно толкала людей на то, чтобы притерпеться, привыкнуть ко всему, очерстветь душой и сердцем, потому что трудно не искипеться злобой, находясь в самом пекле. Это в штабах сидят прекрасодушные, добрейшие люди —





легко быть хорошими и милыми, если жизнь изо дня в день не тычет грубо в кровь и грязь.

Наверное, сражаться за правое дело должны люди, ненавидящие войну, но как это тяжело, какие муки выпадают на их долю!..

Однажды мокрым, цедащим дождевые капли днем судьба бросила лейтенанта в живое, подрагивающее стрелками приборов металлическое чрево скользкой серой «вертушки», в компанию к раздраженному капитану и двум хмурым, невыспавшимся лейтенантам с красными глазами и хриловатыми голосами. До места назначения вертолет не долетел, его обстреляли душманы.

После глухого удара вертолет коротко вздрогнул, потом его тряхнуло, как на ухабе, он замер, словно прислушиваясь к биению своего искореженного железного сердца, и устремился в ущелье, обреченно кромсая воздух винтами. В кабину вползло оранжевое пламя, жарко задышало в лицо Геннадию. Когда под колесами замелькали верхушки деревьев, чудовищная волна воздуха выбросила его из машины.

Падение было коротким, он даже не успел почувствовать страха. Внутри его тела образовалась звенящая пустота, словно ему вырезали все органы и

оставили одну оболочку. Лейтенанту повезло, если только это вообще можно считать везением: он упал на дерево, заскользил по ветвям, ободрал ладони до крови, сломал несколько ребер и, повредив левую ногу, врезался в твердую, выжженную солнцем землю.

Он очнулся, когда солнце село, но даль еще пронизывала легкая прозрачность, которая мутнела с каждым мгновением. Лейтенант сел, жадно втянул в себя воздух и, застонав, тут же повалился на спину. Показалось, что грудь раздроблена, разможжена и обломки ребер впились острыми краями в сердечную мышцу, легкие и печень. Он попробовал дышать ровно и осторожно, стало легче, но новые хищные щупальца боли сдавили плоть, когда он поднялся на ноги. Нестерпимо ныли левая ступня и бедро, в паху жгло раскаленным железом. Стиснув зубы, он сделал несколько шагов. Нога слушалась, но закружилась голова, повело в сторону, к горлу подступила тошнота. Лейтенант подумал, что при ударе головой о землю мог получить сотрясение мозга или другую травму. Час от часу не легче...

Шагов через двести он наткнулся на обугленные, еще чадающие останки вертолета. Земля около мертвой машины была покрыта множеством следов. Кто





здесь побывал — догадаться не составляло труда.

Обмундирование на нем сгорело почти полностью, огонь тронул нижнее белье, тело тоже обласкало пламя, особенно руки и грудь; кожа почернела, полопалась, сквозь мелкие трещины белело нежное мясо. Лейтенант на мгновение проникся жалостью к своему изувеченному организму, но тут же приказал себе о болячках забыть. Нужно было настраиваться на долгую дорогу. До своих несколько дней пешего пути. На чью-либо помощь он рассчитывать не мог, район был приграничный, контролировался душманами. Нужно было подальше держаться от жилья, обходить стороной водоемы, избегать мест, где могли появиться люди. Даже смерть казалась ему меньшим злом по сравнению с пленом. В лучшем случае отправят в лагерь для военнопленных в Пакистан медленно подыхать от голода и побоев, о худшем не хотелось и думать. Отрубят руки и ноги, выколют глаза, отрежут уши и нос и кастрируют. Он видел, что бандиты сделали с одним сержантом-десантником. Мороз по коже шел при одном воспоминании. Лейтенант решил идти ночью, а днем спать, спрятавшись от палящего солнца и людских взоров. Он был слишком слаб и к тому же безоружен — ни ремня, ни кобуры с пистолетом на

месте падения он не нашел — и теперь даже самый слабый враг мог без труда положить его на лопатки.

О возможности гибели лейтенант задумывался и раньше. Но, как это свойственно большинству молодых и здоровых людей, относился к ней с недоверием: «Вот он — я, — недоумевал он, — вот он — мир вокруг, вот — небо, земля, воздух, трава... Умру, а это все останется без меня... А я-то куда денусь? Мое «я» — оно пропадет? Неужели его не будет? Ну как это его не будет совсем? Такого не может случиться... Объясните мне, как это живое, горячее, что сидит во мне, куда-то денется? Растворится, рассыплется в пыль и исчезнет без следа? Как хотите, но этого я понять не могу...»

Смерти лейтенант Солощенко никогда особенно не страшился. Но пассивная гибель, без борьбы, усилий, рывков к жизни была ему противна.

Вечер опустил темноту на плечи земли. Огоньки звезд сонно мерцали в непроглядной вышине.

Лейтенант выбрался на вершину горы и огляделся. Хребты были мощные, казалось, что перекатываются океанские валы и гребни, которые могут легко захлестнуть человека, затянуть в во-



дворот и утащить на дно. Но он понимал, что первое впечатление обманчиво, не так уж возвышенности страшны, как кажутся. Одолеть их напрямую трудно даже здоровому человеку, но обойти не стоит большого труда и раненому.

Во время полета на «вертушке» он из любопытства глядел на землю, и вот пригодилось — он знал, что могучая горная гряда скоро должна оборваться широкой низменностью с маленькими кишлачками и чахлыми лесочками. Пройдя равнину, надо осилить еще одну гряду, не такую, правда, высокую, как эта. За ней родной аэродром, свои...

Ночь, тишина сначала успокаивали, но потом стали раздражать. Одиночество давило на нервы похлестче опасности. Казалось, что он один на всей земле, кругом на тысячи километров ни единой живой души, пустыня.

Совсем рядом завывали шакалы и двинулись по пятам за лейтенантом. Он вспомнил, как кто-то рассказывал, что, несмотря на трусость, голодные шакалы могут напасть на человека. Но страха эта мысль не вызвала, наоборот, от присутствия шакалов на душе потеплело. Все-таки не один.

Шакалов не было видно, но их вой так и стоял в ушах. Когда один стал особенно вдохновенно надирать голосовые связки, лейтенант захотел наконец увидеть этих тварей и шагнул в его сторону. Вопли моментально смолкли, оборвались на самой высокой ноте, но едва он тронулся с места, возобновились с прежней силой.

Лейтенант часто отдыхал, и тогда ночной холод забирался под лохмотья. Он уже как-то притерпелся и к головокружению, и уколам в ступне, только к холоду привыкнуть не смог. Быстрая ходьба согревала, но тогда начинала невыносимо ныть нога. Теперь он с нетерпением поглядывал на восток в ожидании солнца. Звезды помогали не сбиться с пути.

Утро разрумянило облака, которые вскоре стали похожи на раскаленные, пышущие жаром угли. Терпкая росная прохлада остывала на валунах, листьях растений, растворялась в поднимающихся спиралях тепла.

Он нашел между корнями прилепившегося к самому краю скалы дерева уютную пещерку, забрался в нее, плюх-

нулся на камни и мгновенно окунулся в забытие. Спал крепко, без сновидений.

К концу дня Геннадия поднял на ноги звук колокольчика. «Это во мне болезнь звенит,— решил лейтенант.— Скоро пройдет». Но тихий звон нарастал, и он вылез из щели, постанывая и ругаясь скупым матом, и отправился на звук. Ступать стало тяжелее, покалеченную часть ноги обволакивала опухоль. На глаза попался гладкий, старательно облизанный ветрами камень. Геннадий поднял его, размахнулся, словно собираясь нанести удар. Камень был удобен, и лейтенант повеселел. Хорошо ли, худо ли, но вооружился.

В просветах между холмами замаячила зеленая равнина — оказалось, что за ночь лейтенант одолел горы и даже не заметил этого. По выдубленной тысячами ног, лап, копыт дороге степенно двигались верблюды,

Душманы! Караван из Пакистана. На крепких верблюжьих спинах мерно раскачивались из стороны в сторону ящики с патронами и минами, какие-то тюки и мешки.

За плечом у высокого басмача с усами-бабочками, широко шагавшего впереди каравана, притаился гранатомет. Месяц назад из такой же железной трубы обстреляли взвод лейтенанта Солощенко. Осколки разорвавшейся гранаты посекали Сеню Коровина, старшего сержанта, заместителя командира взвода. Он и санинструктор бросились на стоны... Сеню вели под руки... Пальцы правой его руки превратились в кровоточащую рану. Осколок вспорол кожу у макушки головы, лоскут волос сползал на лоб... Множество крошечных, но глубоких ранок, сочащихся кровью, усеяли лицо. Остекленевший глаз еще держался на каком-то сосуде, но что толку, это был уже мертвый глаз. Здоровой рукой Коровин зачем-то держал перед собой шапку, куда капала кровь. Когда санинструктор начал оказывать помощь, Коровин оттолкнул его, измазав в крови, и зарыдал, выкрикивая сквозь слезы: «Ведь урод, навсегда урод»... Жалость кольнула сердце — он вдруг вспомнил, что Коровину скоро домой, что его ждет невеста, очень хорошая, по его словам, девушка, Сеня регулярно получал от нее письма...

Проклятая война, сколько калек на-





делала и еще будет делать! На его глазах афганскому мальчику оторвало ладонь душманской миной-игрушкой. Лейтенант услышал хлопок и увидел, что у мальчика вместо кисти торчат бело-розовые кости. Брызнула кровь. Стоявшие рядом люди засуетились, громко закричали, растерянность, паника были пугающими... Он выдернул мальчика из толпы, жгутом передавил ему руку, сумел остановить кровь и доставил в военный госпиталь. Тот сто-нал, и в его полных нечеловеческих страданий глазах лейтенант читал мучительный вопрос, который потом не давал ему спать спокойно. «За что?» — спрашивали эти глаза. Действительно — за что? Откуда такая звериная жестокость?

Караван исчез вдаль, а Геннадий все лежал в своем укрытии. Почему люди не живут в мире? У человека одна-единственная жизнь, и ее он стремится употребить во зло своему ближнему. Что спасет людей? Кто подскажет им правильный путь на земле?

Тьма подступала к горам, и трудная дорога ожидала Геннадия.

За ночь он сумел пройти только несколько километров, так как очень ослабел. Один раз чуть не наткнулся на

пастухов, сидевших у порхающего светлыми дымами костра, и долго лежал на земле, сдерживая дыхание, опасаясь, что его заметят. Он не должен был попасть на глаза людям. Только в этом была надежда на спасение.

Третий день запылал жарой. Солнце безжалостно вбивалось палящими лучами в каждую клеточку его тела и скоро вытянуло из него последнюю влагу. Он забился в щель между камнями, надеясь, что забытие избавит его от мук жажды, но жестоко обманулся. Лейтенанту приснилось запотелое ведро с колодезной водой; хрустальная струя падала на землю, разбиваясь на тысячу мелких брызг, в каждой из которых мерцало микроскопическое солнце. Он цеплялся за струю ртом, живот наполнялся, становился тугим, шарообразным, вода стеклянно булькала в желудке и пищеводе, но пить хотелось все нестерпимей. Уже к полудню он проснулся совершенно истерзанный водяной пыткой и, несмотря на опасность быть обнаруженным, решил идти вперед. Терпеть больше не было сил.

Лейтенант выбрался из убежища и вздрогнул. Он увидел спасительные хребты. Казалось, ткни рукой — попадешь в каменные тела гор. Мысль,











что испытания подходят к концу, наполнили сердце бешеной радостью.

Через каких-то полчаса ходьбы деревья разбежались в стороны, открыв плоскую засушенную равнину с небольшим кишлачком вдали и заблестевшей влагой арыка. Лейтенант бросился вперед, забыв о боли и усталости. Добежал, вонзил колени в берег, торопливо потянулся потрескавшимися губами к живой струе и отшатнулся в ужасе. Из прозрачной глубины на него глядело незнакомое черное лицо, покрытое грубой щетиной.

Он вновь нагнулся к воде и стал жадно пить. Нет, не пил — целовал, гладил, ласкал, обнимал теплое, податливое тело потока в каком-то пьяном восторге.

Короткий возглас заставил вздрогнуть и поднять голову. На другом берегу арыка застыла, в испуге прижав к груди худющие руки, девочка. У ее ног валялся кувшин, неторопливо сочившийся тонкой струей. На вид ей было лет тринадцать, на самом деле, наверное, меньше — крошечное личико не пеленала чадра, а чадру афганские девочки носят с двенадцатилетнего возраста. Она хотела бежать, но ужас парализовал тело, лишил голоса и дыхания.

Лейтенант стиснул камень в потной руке так сильно, словно хотел задушить, и шагнул в арык.

Девочка следила, как медленно приближается гибель, но не двинулась с места, не пыталась ни спастись бегством, ни защититься. Все инстинкты, от рождения данные ей природой, утопил страх. Она только крепко зажмурила глаза, чтобы не видеть, как страшилище с камнем будет ее умертвлять.

Когда девочка разлепила веки, черный человек удалялся, подволакивая ногу.

Он сделал крюк, огибая кишлак, и значительно углубился в худосочный лесок, когда ветер донес до него далекий звук, похожий на скуление. Он прислушался с тревогой, успокаивая себя, мол, почудилось, но уже догадался, что означает этот звук. Замедлил ходьбу. Через несколько минут хриплый псовый брех вновь уколол барабанные перепонки.

Случилось самое подлое — по его сле-

ду пустили ищейку. От собак не скроешься... Но ведь горы так близки! Лейтенант собрался с силами и побежал.

И поврежденная нога, и искалеченная грудь перестали существовать сами по себе, они вошли в сосредоточие мышц, костей и нервов, работающее, как единый механизм, настроенный на спасение. Лейтенант безжалостно заставлял больные части плоти действовать как здоровые. Потом он расслабится и даст волю болячкам. Они начнут мучить его, казнить болью... Потом, после... Сейчас, в минуту смертельной опасности, они должны исчезнуть, раствориться в организме и не мешать ему бороться.

Лес оборвался пустым ровным пространством, постепенно поднимающимся к горным хребтам. Резвая речушка весело катилась по камням. Не раздумывая, он вошел в противно-холодную воду и зашлепал по течению. Главное было — выиграть время. Ищейка потеряет след, придется пустить ее вдоль реки, но ведь враги не знают, вверх или вниз направился он. На поиски уйдет десяток-другой минут, и он успеет скрыться в горах. Лейтенант задыхался. Пробежав около километра, он перешел на шаг. Решив, что достаточно запутал следы, вылез из воды и поковылял к хребтам.

У подножия горы Геннадий спиной ощутил чей-то злобный взгляд. Оглянулся и опустил бессильно руки. Редкоколесье выплеснуло несколько темных шариков, рассыпавшихся по равнине. Впереди прыгал крошечный черный комочек. Несомненно, его заметили, а значит, он бестолково потерял время, когда бежал по речке, вместо того чтобы сразу направиться к горам.

И все же он не верил... Он еще надеялся на что-то.

Горная тропа тянулась к облакам, камни лениво шевелились под ногами, от толчка беспечно скакали вниз, словно играли в пятнашки... Лейтенант скоро убедился, что расстояние между ним и преследователями сокращается с каждой минутой. Теперь он останавливался все чаще и чаще, чтобы перевести дыхание и отдохнуть — израненный организм не выдерживал непосильной нагрузки.

Он обернулся на царапающее шуршание за спиной и увидел бойко скачущего по тропе пса. С трудом побо-



рол желание немедленно швырнуть в ищейку камень. С такого расстояния легко промахнуться. Камень должен ударить наверняка, в момент, когда животное прыгнет.

Он отвел руку с камнем. Ищейка приближалась, разрастаясь в размерах, и скоро он мог хорошенько разглядеть лохматого врага. Это был небольшой, худоватый, но, без сомнения, очень сильный пес с мускулистыми крепкими лапами и мощной шеей. Лейтенант видел, как волнообразно перекатываются ребра зверя под тонким слоем мяса и шерсти, а в шариках глаз скачет лихой охотничий азарт.

Пес атаковал стремительно, но когда был уже готов вцепиться мертвой хваткой в человека, лейтенант ударил. Раздался отчаянный собачий визг, и ищейка покатила по камням.

Он двигался дальше на последнем пределе сил. Сзади грохнул выстрел. Сердитой осой прожужжала над головой душманская пуля.

«Настигли... Только не плен! — думал лейтенант, с хрипом выхаркивая воздух из легких. — Только не плен! Вот подлое положение! Срежут на берегу, ноги подобьют, и даже нечем застрелиться или подорвать себя! Твари мерзкие!»

Лейтенант нырнул за огромный валун и затих, прислушиваясь к звукам погони. Он заставил себя успокоиться, подобраться, приготовиться к схватке. Но враги не спешили. Видно, судьба слишком ретивого пса несколько охладила их пыл. Не зная, чем лейтенант вооружен, они выжидали.

Не торопился и он. Одна мысль колобродила душу, заставляла стонать не от боли, а от бессилия — тело его достанется врагам. Конечно, мертвому безразлично, а вот живому сейчас как-то не по себе. Он посмотрел в раскаленное, чужое небо и вспомнил об афганке. Теперь он понял. Война охотилась не за ним, а за чем-то внутри него. Сначала она притупляла его жалость к чужой жизни, а потом столкнула с этой худенькой девочкой у арыка. Стокнула, переплела линии их жизней и поставила перед дьявольским выбором: либо уничтожишь ее, либо она станет причиной твоей гибели.

Нет, он не жалел, что пощадил девочку. Он сделал выбор. Сам. Пусть живет долго и счастливо, рождает де-

тишек, много маленьких трогательных комочков...

Жалобное скуление вплелось в тишину, и Геннадий с удивлением увидел ползущую ищейку. Бровь у нее была рассечена, глаз вытек, правая передняя лапа беспомощно волочилась сбоку от тела. Но человек приказал: «Вперед! Взять!», и искалеченное животное не осмелилось послушаться.

— Ну иди, пес! Ползи сюда, гад! — бормотал он. — Ты смел, потому что глуп... Твои хозяева умнее тебя, они не лезут в драку, не зная, что их ожидает. И правильно делают, иначе я бы их встретил, как сейчас встречу тебя!

Ищейка метнулась вяло и слабо. Лейтенант сжал ее пульсирующее горло, подмял под себя, придавил к земле и дважды ударил острым концом камня в узкий, подрагивающий венами лоб.

Его коротко вырвало водой. Вместо обычного после рвоты облегчения он почувствовал неприятную тяжесть в голове и в глубине живота. И все-таки он победил! Пусть одного и не самого сильного врага, но победил! Лейтенант выпрямился во весь рост, схватил за заднюю лапу пса, швырнул в сторону «духов» и крикнул, забыв, что его все равно не поймут:

— Получите! И с вами то же будет!

Он ожидал выстрелов. Почти физически представлял, как вбиваются в тело свинцовые маленькие пули, буравят в нем ходы, застревают в легких, сердце, желудке. Но бандиты не стреляли. Они вдруг встали и направились к лейтенанту. Шесть человек, всего шесть... Вот бы пистолет сюда, ему, лучшему в роте стрелку, сейчас достаточно было бы одной обоймы.

Он растерянно наблюдал за своими преследователями, брезгливо почувствовал, как потянутся к нему чужие, поросшие жестким волосом руки, толстые пальцы с бархатной каймой грязи под ногтями. «Живым?! — подумал вдруг он с отчаянием. — Никогда!»

Рванул по тропе. Сзади рассыпалась дробь шагов. На бегу швырнул в душманов булыжник — последнее оружие. Камень описал короткую траекторию и плюхнулся в серую кучу преследователей. Раздался звук, напоминающий хлопок лопнувшего воздушного шара, и душманы застыли на месте.

Ему казалось, что горная дорога



должна неминуемо врезаться в облако, лениво обнимавшее вершину горы. Но она неожиданно соскользнула в бездну.

Лейтенант побежал вдоль пропасти, стараясь держаться подальше от края.

Впереди показались два полосатых халата. Он обернулся. Сзади трое тоже почти настигли его. У одного раскрутилась чалма, кончик свисал на плечо, у другого на голове темнел вязаный колах, пропитанный тяжелым потом погони, третий дурашливо скалил молодые кривоватые зубы.

«Твари,— с ненавистью подумал он.— Одного подбил, жалко, мало...»

Он приблизился к пропасти и опас-

ливо заглянул в нее. Дна не увидел, внизу клубился густой, похожий на молочный кисель, пар. Лейтенант представил, как он устремился вниз. Острые камни цепляются за тело, стараясь схватить кусок побольше. Да нет, это не камни, это зубы... зубы черные, гнилые, дурно пахнущие, они пронзают его насквозь...

Он отвернулся от пропасти, посмотрел на своих преследователей и плюнул в их сторону. Ему до боли захотелось еще как-нибудь унижить врагов, и с изысканным высокомерием он показал им кукиш:

— На-кася, выкуси... Вот вам, а не Генку Солощенко,— и скрылся в бездне.



*Этот мир без тебя  
Перечеркнут ракетой.  
И погибшим друзьям  
Не закончился счет.  
Здесь измерена жизнь  
Пулеметною лентой,  
Караванной тропой  
И чем-то еще...*

Игорь Морозов

# С. СОКОЛОВ **ТИГРОВЫЙ КОГОТЬ**

Рассказ



*Сергею Шевченко — человеку, сполна познавшему лихолетье Афганистана.*

Это было в мае, в Панджшере. Жара, помню, стояла невероятная: на броню плюнешь — через полминуты сухо. В Панджшере в то время сильные бои шли. Три дня батальон выбивал душманов с высот. Выбили. Мои ребята держались уже из последних сил. Тогда у меня в роте впервые были потери. После этого отправили нас на короткий отдых. Не успел прийти в себя, вызывает меня командир полка подполков-

ник Герасимов. Здоровый такой дядя, голос грубый, а нрав — не дай бог в провинность попасть. Говорит:

— Поедешь, Егоров, сопровождать писателя, — и называет фамилию, которая мне ни о чем не говорит.

— Ясно, — отвечаю без всякого выражения, мол, ездить с писателями — самое обычное для меня дело.

К тому времени я давно уже разучился удивляться. Вот говорят, что на



войне ожесточаешься. Нет — просто становишься ко многому равнодушным.

— Выезд в четырнадцать, — между тем говорит Герасимов. — Возьмешь три «бээмпэшки». И смотри, за каждый волосок на его голове отвечаешь!

Ну конечно. Писатель! Хотя, честно говоря, мне эта миссия сразу пришлась не по душе. Уж лучше на обычные боевые. Но приказ есть приказ, никуда не денешься.

Сопровождать надо было в наш соседний полк. Рядом находилась афганская часть. Именно у афганцев ему что-то понадобилось.

— Задача твоя, — говорит мне командир, — привезти его обратно и не позже шестнадцати тридцати.

Это, как говорят, и коню понятно. Позже — темнеет. Как любил говорить Герасимов, наступает «час длинных ножей». Сказал это — и тут увидел у меня на шее цепочку. А в Афгане я носил небольшой амулет — тигровый коготь. Жена заставила надеть, когда уезжал. Я отказывался, но в ее глазах была такая мольба, что я согласился. «Он будет хранить тебя», — говорила она. Я же в душе усмехался женским предрассудкам... Тигровый коготь был семейной реликвией. Отец ее служил в Уссурийске, получил этот коготь в подарок от друга, охотника. Тот утверждал, что коготь тигра оберегает от всяческих бед и напастей.

Ну вот. Увидел, значит, Герасимов мой амулет и сразу:

— А это что за ерунда?

Не успел я и рта раскрыть, как он схватил его своими большими пальцами. Хрясь! Цепочка лопнула. Я даже объяснить ничего не успел. Как раз в эту минуту к штабу подкатывает БТР. Увидел его командир — и навстречу к нему. Герасимов имел редкую способность переключаться. Ручаюсь, что обо мне в ту минуту он совершенно забыл. Я же только растерянно посмотрел ему вслед. Вижу, цепочка змейкой выскользнула у него из руки, а сам коготь так и остался зажатым в кулаке.

Что мне оставалось делать? Я наклонился, подобрал цепочку. Жаль талисман. В Афганистане я уже совсем по-другому относился к этой вещице и, глядя на нее, всегда вспоминал день прощания с женой.

Эх, командир, командир!

Из машины тем временем вылез

невысокий плотный мужчина лет пятидесяти в защитном комбинезоне. Он снял шапку с козырьком, достал платок и стал вытирать пот. Жарко!

«Писатель», — догадался я. Человек этот был почти лыс, и я рассмеялся, когда вспомнил о предупреждении командира оберегать каждый волосок. Следом с «броника» спрыгнули здоровенный старший лейтенант — десантник и еще невысокий подполковник.

Герасимов подошел, поздоровался со всеми. Писатель тут же стал говорить что-то насчет дороги. А Герасимов, молодец, отговаривал его от поездки. Мол, поздновато. Может, лучше отложить. Но товарищ попался очень несговорчивый, все доказывал, что ему нужны личные впечатления и причем немедленно. Чем закончился разговор, я не слышал, потому что отошел в сторону. Они еще о чем-то говорили. А командир все время прижимал правую руку к сердцу и картинно отводил ее в сторону. Потом Герасимов вспомнил обо мне и позвал.

— Вот, Николай Петрович, старший лейтенант Егоров. Командир роты. Дорогу знает, сам — офицер боевой, как говорится, проверенный...

Николай Петрович протянул руку, и я пожал мягкую ладонь. Почему-то подумал, что писатель начнет сейчас расспрашивать меня про операцию, про службу, но он только поинтересовался, сколько времени потребуется для подготовки к выезду.

— Минут десять, — отвечаю.

Он кивнул и снова повернулся к Герасимову. Поняв, что «аудиенция» закончена, я отправился готовить машины. Мои механики-водители были на выезде, поэтому мне дали чужих — из другой роты. Как назло, на месте их не было. Обошел вокруг машин. Вижу, из-под одной из них торчат ноги.

— Механик! Водитель! — зову.

Ноги даже не шевельнулись. Я слегка постучал в подошву.

— Чего надо?

Отвечаю, что шоколада.

— Сейчас будет, — голос из-под машины очень многообещающий.

Вылазит этаким здоровенный бугай, но видит, что перед ним офицер, и слегка тушует.

— Где остальные? — спрашиваю.

— К землякам пошли.

— Давай за ними, — говорю. — Через пять минут выезд.





Он пожал плечами и вразвалочку пошел к палаткам.

— Быстрей! — кричу.

Но солдаты появились только через десять минут. Тороплю их, чертыхаюсь. А что поделаешь? Все же не даром говорят, что плохой солдат, но свой, лучше чужого, хоть и хорошего. Потому что знаешь, чего можно ожидать от своего.

Пока заводили, подошел писатель. Я уже пожалел, что сказал ему насчет десяти минут. Шапка натянута на самый нос, в руке — портфель. На лице — недовольство.

— Почему задерживаемся? — сразу накинулся он на меня. — Время, молодой человек, надо ценить. Если не свое, то хотя бы чужое!

Я молчу, почтительно слушаю нотацию. Одновременно разглядываю его высокие ботинки со шнуровкой. Хорошие у него были ботинки, крепкие, как раз такие, чтоб по горам ходить. А комбинезон не понравился. Темно-зеленый, выделяться будет.

— Мне командир полка приказал выехать в два часа, — отвечаю. — Ровно в два и выедем.

Он хмыкнул, глянул на часы и опять за свое:

— Знаете, молодой человек, что сказал по этому поводу Теофраст? «Вре-

мя — самое драгоценное из всех средств».

Хотел было сказать ему, что не знаю никакого Теофраста и что он давно, наверное, помер, а мне, старшему лейтенанту Егорову, гораздо важнее, что сказал товарищ подполковник Герасимов. Но не стал, все же заслуженный человек. Заметил только, что форма его будет привлекать внимание, поэтому лучше сидеть в машине и не высываться. Тут Николай Петрович посмотрел на меня с большим интересом, мол, что это за юный нахал перед ним такой, и объяснил, что ему лучше знать, где находиться. И неторопливо пошел к первой машине. Следом за ним — верзила-десантник. Он с самого Кабула сопровождал писателя. Добросовестный такой парень, дальше десяти шагов от Николая Петровича не отходил. Десантнику я посоветовал занять место в третьей машине. Он тут же заартачился, но я его убедил, что там ему находиться целесообразней, особенно если машина с писателем наскочит на мину. Во вторую машину сел сухощавый подполковник из политотдела. Он тоже сопровождал Николая Петровича.

Я всегда предпочитаю ездить наверху, а если внутри — то под открытым люком. В машине, конечно, укрыт от



снайпера, осколков, не получишь стволом в спину, если сзади идет танк, не слетишь под гусеницы. Но сверху и обзор лучше, и больше шансов «духа» заметить. Что же касается мин — то здесь все ясно: при подрыве слетишь с брони и в худшем случае что-нибудь себе сломаешь. А внутри — гиблое дело.

Выехали. Раза два мой подопечный о чем-то спрашивал, но расслышать его не было никакой возможности, и я просто кивал головой. Кажется, это его вполне удовлетворяло.

Как прибыли в полк, Николай Петрович сразу направился в командирскую палатку. Подполковник — вместе с ним. В палатке, кроме наших, и афганские офицеры. Я только заглянул внутрь, войти не стал. Стоим вместе с десантником. От нечего делать закурили. Верзила поначалу показался мне молчуном. Но мы быстро разговорились, запоздало познакомились.

— Василий, — назвался он, протягивая мне руку. Ладонь, как саперная лопата. А сигарета в его ручищах, будто спичка.

— Человек он своеобразный, — стал рассказывать он про писателя. — Мне, говорит, нужны горячие точки. В них, мол, сконцентрированы человеческие страсти, жизнь кипит-бурлит, характеры выпуклые и еще там что-то... И непременно под огонь ему надо. Пороху понюхать хочет.

— А ваша с подполковником задача, — спрашиваю, — держать его за фалды?

— Что-то в этом роде. Ретивый он больно. Послевоенное поколение... Дожил до старости, а не воевал. Отличиться же тянет, как молодого солдата. С ним хитро надо. Мы с подполковником, между нами говоря, свою тактику выработали. Ведет, к примеру, подполковник такой разговор. В таком-то месте напряженно сейчас, люди из боев не вылазят. Смотрим, наш писатель навострил уши. А через час: «Хочу туда». Пожалуйста, едем. А там как раз более или менее спокойно.

Я рассмеялся и подумал, что мне с моим прямым, как палка, характером пришлось бы туго с писателем. Или ему со мной.

Курим, на часы посматриваем.

— О чем можно так долго говорить? — спрашиваю Василия.

У нас как раз полчаса оставалось.

— Э, не говори, — серьезно так отвечает Василий. — Работа непростая. Бывает, такой вопрос задаст, что самые привычные вещи по-другому видишь. Спросил однажды: «Хотел бы приехать в Афганистан лет через десять или двадцать обыкновенным туристом?» Или: «Что, — говорит, — чувствовал, когда обстреляли в первый раз? Страх, или, может быть, думал о долге, о Родине?» А мне, честно, и сказать нечего. Помню, с перепугу мочил из автомата, пока патроны не кончились... Рассказывал, что искал участников боев в Испании. Книгу написал об этом... Да, чтоб быть писателем, — заключает мой Вася, — надо с высоты видеть жизнь. Вот я, командир «пэдэвэ»\*, что я вижу? Дальше взвода — ничего. А вот он...

— Ты давно в Афгане? — спрашиваю Васю между прочим.

— Три месяца...

— Ну, ничего, — обнадежил его, — все впереди. Успеешь еще с высоты увидеть.

Я к тому времени в Афгане второй год был, насмотрелся всякого, осмыслил, переосмыслил, так что оценивал все спокойней, без восторгов.

Из палатки между тем выходили офицеры, а Николай Петрович все не появлялся. Время поджимало. Подымаюсь с земли — устроились мы в тени палатки, — отодвигаю полог, вхожу внутрь. Кроме нашего Николая Петровича и подполковника, там сидели командир соседнего полка Сычев, пять или шесть афганских офицеров и наш переводчик-лейтенант.

— Простите, как ваша фамилия? — переспрашивает Николай Петрович афганца-капитана. Тот слушает перевод, повторяет:

— Абдулмухаммед Гуламмухаммед.

— Абдулмахмуд?

— Абдулмухаммед, — помогает переводчик.

— Вот вы участвовали в операции, товарищ... Абдулмухаммед, — читает мой Николай Петрович по блокноту. — Бывает, во время боя загораются посевы, я знаю об этом. Наверное, население возмущается?

— Конечно, — переводит ответ лейтенант. — Но ничего не поделаешь: война.

— Да-да, конечно, — соглашается Николай Петрович.

\* Парашютно-десантный взвод.



Улавливаю паузу, быстро и громко говорю:

— Извините, время шестнадцать часов, пора ехать!

Николай Петрович голову подымает, смотрит на меня так, будто и не собирался уезжать отсюда.

— Разве не видите? Я занят. Подождите!

Я снова повторяю, что время поджимает, что дорога опасная, и выхожу.

— Ну что? — спрашивает Василий.

— Записывает. Я бы на эти вопросы ответил ему у нас в полку. И фамилии назвал бы на любой вкус, если ему для романа надо.

— Скоро закончит?

— А пойдешь спроси его... Сейчас темнеть начнет, точно напоремся на «духов».

Мы снова закурили, но я не выдержал, бросил сигарету, вошел в палатку. Николай Петрович по-прежнему что-то записывает и все приговаривает: «Так... так...» А переводчик диктует:

— Захватили семнадцать пулеметов, двести пятьдесят мин, триста гранат...

Перебиваю переводчика:

— Николай Петрович! Пора ехать. Темнеет.

Он перестал писать, зыркнул в мою сторону.

— Не мешайте работать! Выйдите! Когда надо, вас позовут.

И командир полка Сычев тоже машет: иди, иди! Подполковник из политотдела руками разводит: мол, ничего не поделаешь, занят человек.

Плюнул — вышел.

— Гори он пропадом!

— Синим пламенем, — невозмутимо так поправляет меня Василий. — Ты не сердись, у него работа такая. Чтобы правду написать, разобраться надо хорошо.

— На войне первая правда — дисциплина... Ладно, — говорю и направляюсь к машинам. — Механики, заводи!

— Ты что, без него собрался? — всполошился Василий.

— Да, — говорю, — мне пора. А то как бы с ужином не пролететь. Пешком пусть идет, раз такой храбрый.

— Брось дурить! — Василий тут совсем растерялся.

А механиков долго упрашивать не надо — тут же заводят машины. Я проверил людей, приказал всем занять свои места. Ждем. Наконец появляется мой подопечный в сопровождении ко-

мандира полка, политотдельца и афганцев. Они еще о чем-то три минуты говорили, затем стали прощаться. Каждое мгновение для меня тянулось невыносимо медленно, и я отвернулся, чтобы не видеть, как люди бесцельно тратят время на совершенно ненужные слова и жесты. Наконец мой писатель распрощался окончательно, бросил мне короткое «поехали» и направился к первой машине. Ну уж, хрен с маком, думаю. И так рискуем. Сейчас поедем во второй.

— Подождите, Николай Петрович, — останавливаю его. — Моя машина бабахлит, давайте во вторую.

Он спорить не стал.

...Не знаю, хорошо ли это, плохо ли, но в Афгане меня считали осторожным человеком. Я же сам думаю, что это не осторожность вовсе, а способность чувствовать опасность, что ли... Вообще-то я не суеверен. И тем не менее хорошо понимаю вертолетчиков, которые никогда не снимутся на память перед вылетом. Хотя почти у каждого фотоаппараты. Инстинктивная боязнь последнего снимка... Или взять наших разведчиков. Принципиально не бреются, когда идут на задание. Примета... Маленький островок надежды... Какие только мысли не лезут в голову, когда впервые на «боевых». Часа три более или менее успешно давишь в себе труса, а в последние минуты внутренняя пружина — бац, соскакивает...словно холодной рукой по сердцу. Оглядываешься: никто не видел твоих гримас? Начинаешь успокаивать себя, всякую чепуху вспоминаешь: долг кому-то не успел вернуть, библиотекарьше книгу не отнес... Только потом все это проходит. Нет, не смелость появляется. Скорее — равнодушие. Устаешь, что ли, от боязни. А вот после отпуска — совсем иное дело. Опять кошки на душе скребут, опять привыкать надо... А вообще-то каждый имеет право на надежду.

Ну вот, выехали, значит. А темнело быстро, как и всегда в горах. Прямотаки катастрофически быстро. Я все время механика-водителя подгонял. БМП так и прыгала по ухабам. Механик лавировал, объезжал ямы, рискуя свалиться в кювет. Подрыв на mine, и особенно в такое время, был чреват для нас самыми неприятными последствиями.

Проехали мост. Вокруг — ни души. Но мне от этого как-то не легче. Стран-











ное чувство испытывал: будто от гор, сжимавших дорогу, все время исходил гул — тяжелый, низкий и густой, как инфразвук. Оглядываюсь по сторонам, хотя по опыту знаю, что первый душманский выстрел всегда неожиданный... С километр проехали от моста, началась низина. По краям дороги какие-то чахлые кусты виноградника, а дальше — заросли кукурузы. И тут мне словно шестое чувство подсказывает: здесь! Кладу руку на автомат, который у меня висел на крышке люка, наклоняюсь, кричу подполковнику:

— Готовьтесь, сейчас начнется!

— Что? — тоже кричит он и лезет из люка.

Тут и ударил гранатомет. В глазах — вспышка. Не помню, как очутился на дороге, видно, взрывной волной сбросило. В ушах звон, круги перед глазами, но соображаю. Откуда-то наводчик-оператор с автоматом выскакивает, к броне прижимается, озирается, но не стреляет. Вижу, рука перебита. Выхватил у него автомат — свой так на люке и остался — щелк, не стреляет. Отсоединил магазин, а из него патроны, как горох посыпались. Бросил, вытащил из нагрудного кармана свой магазин. Прижался к борту и очередью по кустам. Одна мысль в голове: не дать им по второй машине пальнуть. Обернулся назад, рукой машу, ору: «Давай вперед, вперед проезжай!» Дошло наконец, объехала нас вторая машина — и сразу на «газы». Сколько в кустах было душманов, сам черт не разберет. Знал только, что без прикрытия гранатометчики не ходят. Зарядил второй магазин и вслед за первым выпустил. А сзади уже пушка бьет по кукурузе — один раз, другой... Десантник меня поддерживает. Тут я пришел в себя окончательно, наводчика за шкирку — и в десантное отделение, сам — на броню. Мой механик уже очухался, рванул с ходу так, что я чуть снова с машины не свалился. Машу Василию рукой, но он и так все прекрасно понимает: уходить надо, пока целы. А связи, как назло, нет.

Как приехали в полк, помню смутно. Стали разбираться. В моей машине трое раненых, не знаю, что с ними. Но первым делом бегу ко второй машине. Навстречу десантник, глаза пустые, лицо каменное. «Что с писателем?» — кричу. «Все в порядке с писателем», — отмахивается он. Но мне

тоже уже не до него. Бегу обратно к своей машине. Задняя дверца открыта, рядовой Алешин, радист, лежит, раскинулся, весь в крови. Вытаскивают его, а он уже все, не дышит. Слышу, один из солдат, механик тот здоровый, навзрыд плачет. Меня тоже всего трясет. «Кончай, — говорю ему, — слюни распускать». Зло так говорю. Потом санитары прибежали. Ору на них: что так долго, гады! Тут человек умирает! Показываю на подполковника. А на него взглянуть страшно: все лицо в крови. Он же отмахивается, мол, ничего страшного, улыбнуться пытается, а мне от этой улыбки дурно становится. Отправил подполковника и наводчика-оператора в санчасть, а сам пошел смотреть дыру в борту. Хорошая такая, аккуратная, потрогал: еще горячая. Как раз напротив места, где подполковник сидел. Подумал: не окликни его — погиб бы человек.

Потом подошел мой подопечный, целый и невредимый. Только бледный очень. Руки не слушаются, закурить пытается, хоть до этого не видел его с сигаретой. Слышу свой голос как из тумана — в ушах по-прежнему противный такой звон стоит:

— Теперь понимаете? Все понимаете? Эх, вы! — махнул рукой и побрел в санчасть. Там как раз наводчика-оператора перевязывали. Рана оказалась неопасной, в мякоть. Подполковник сидит уже перевязанный, глаза между бинтов моргают. Врач говорит, что пустяки, кисть немного ковырнуло и щеку осколками посеколо.

Подхожу к наводчику.

— Что с магазином было? — спрашиваю.

Он молчит, мнется. А что спрашивать? И так все ясно. Пружину сломал, а под патронами наверняка деньги прятал. На «дембель» откладывал. Жмот проклятый! Из-за таких вот субчиков люди гибнут. Но ничего тогда не стал говорить: все же раненый.

Перевязали наскоро и меня. Когда взорвалась граната, несколько осколков вошло в ногу.

Потом отправился докладывать командиру полка. Тот, конечно, обо всем уже знает и с места в карьер:

— Тебе когда было приказано выехать?

Я стою и молчу, ругаюсь про себя. Когда, когда, Теофраст твою мать! Но, правда, Николай Петрович на-



клоняется тут к командиру, шепчет что-то.

Я по-прежнему стою, переминаюсь с ноги на ногу. Герасимов слушает его, на меня поглядывает. И отчего-то меня такая вдруг злость взяла на всех, просто словами не выразить. Нога еще разболелась, еле терплю. Чувствую, дело худо, распоясаюсь сейчас, как деревенский хулиган.

— А ты что, ранен? — уже другим тоном спрашивает командир. — Ну-ка покажи!

— Да там перевязано, — отвечаю.

— Закати штанину! — рывкает на меня.

Пришлось показать.

— Ну, ладно, иди.

Я повернулся, но командир вдруг остановил меня.

— Держи свою хреновину, — он примирительно улыбнулся и бросил на стол мой талисман.

Я усмехнулся и буркнул, что если б «хреновина» была со мной, то ничего б не случилось.

— С каких это пор ты стал суеверным?

— А с тех пор, — говорю, — как цену жизни понял.

И на Николая Петровича смотрю. А он не выдержал, отвел взгляд.

Наутро писатель вдруг сильно заинтересовался моей ротой, солдат по одному вызывал для беседы. «Летучку» ему Герасимов выделил. Фамилию у каждого спрашивал, место жительства, записывал все обстоятельно. Потом меня пригласил. О вчерашнем — ни слова, будто ничего не случилось. Стал о родителях расспрашивать, где служил да почему в армию пошел, с детства ли мечтал, или позже решение оформилось. Сам сидел по-домашнему, в футболке. На столе — плитки шоколада, бутылка коньяка. Записывает, а сам по кусочку от плитки все отламывает. А мне чего-то вдруг так захотелось шоколаду этого, что сил никаких нет. Как беременной женщине. А Николай Петрович все жует и жует. Хорошо, хоть коньяк при мне не пил.

Узнал, что я из Москвы, обрадовался очень, даже визитную карточку подарил. Позвони, говорит, когда в Москву приедешь. Будешь, мол, боевым побратимом. А потом вдруг сообщает, что хочет написать повесть о советских воинах. Делает очень многозначительную паузу и говорит:

— А прототипом главного героя хочу сделать вас.

Подумал я и отвечаю:

— Да нет, не стоит. Какой из меня герой? Лучше кого-нибудь другого подыщите.

На том и расстались. Был я после этого дома, в Москве, но ему не звонил. Визитку порвал сразу же, как вышел из «летучки».

А вот с десантником-телохранителем специально встретился, как раз перед заменой. Зашел к нему в часть, а там говорят: он ранен. Иду в госпиталь. Вася как увидел меня, просиял, с постели вскакивает и давай ко мне ковылять. Мы обнялись, слезу пустили. Потом он рассказал про свои боевые похождения, про ранение, про то, что к ордену представлен. Я понимал, ему хотелось сказать, что он уже не тот новичок, каким был. Потом вспомнили подполковника-политотдельца. Оказывается, он лежал в соседней палате и не так давно выписался. Вася рассказывал, лицо у него после ранения почти чистое, только небольшие оспинки остались.

Вспомнили мы и писателя.

— Читал его что-нибудь? — спрашиваю.

— Нет, не читал.

— Может быть, потом и про ту поездку напишет.

— Знаешь, — говорит Василий, — я потом понял, что никакая книга не стоит жизни того паренька, Алешина. И вообще все это геройство за счет других дурно пахнет.

Подарил мне Вася на прощание свою тельняшку. А мне на подарок и ответить нечем — все свои вещи на аэродроме оставил. И тут осенило: отдам ему свой амулет. Снял с шеи и говорю:

— Держи, это мне жена перед Афганом дала, чтоб хранил меня.

Расчувствовался Василий, хотя, если подумать, было, с чего. Ведь в той нашей жизни мы верили лишь в две вещи — в автомат и надежных друзей.

Как приехал в свою новую часть, написал Васе обещанное письмо. Потом второе. Но ответа не получил. Может быть, перевели его в другое место, а может, просто письма затерялись в пути.



**САЛМАНГ**



**СПОКОЙНЫЙ**



Шоссейная дорога через перевал Саланг — единственная, которая напрямую соединяет Афганистан с Советским Союзом. Десятки автомобильных колонн ежедневно проходят по ней. Разделенная ледниками Гиндукуша, дорога словно пронизывает все времена года. У подножия — весна с зелеными пиками тополей и шумом быстрой реки. А на перевале мокрый снег замедляет колею и рваные низкие тучи проносятся в просветах между суровыми заснеженными скалами.

Высшая отметка перевала — тоннель, вырубленный в теле скалы. Из-за сильной загазованности в нем трудно дышать, слезятся глаза, а небо и горы из него кажутся ядовито-желтыми.

Будет беда, если в глубине тоннеля произойдет затор. Поэтому автоколонны идут через Саланг всегда в одну сторону: один день с севера на юг, другой — с юга на север.

Вниз, по южному спуску, машины катятся быстро, со свистом рассекая теплеющий с каждой минутой воздух. Незаметно исчезают серые пятна снежных заносов — сначала с дороги, потом с обочины, щелей в скалах. Появляются горные кишлаки: сложенные из булыжника домики лепятся к горе один над другим.

Очень много здесь сожженной, покореженной войной техники, а на скалах — огромные пятна копоти.

За Джабалем уже жарко. Расступаются скалы, и дорога устремляется в знойную Чарикарскую долину. Но за спиной еще долго чувствуется холодное дыхание седого Саланга.

Даже привыкшим к горам водителям путь этот кажется длинным-предлинным, как жизнь.







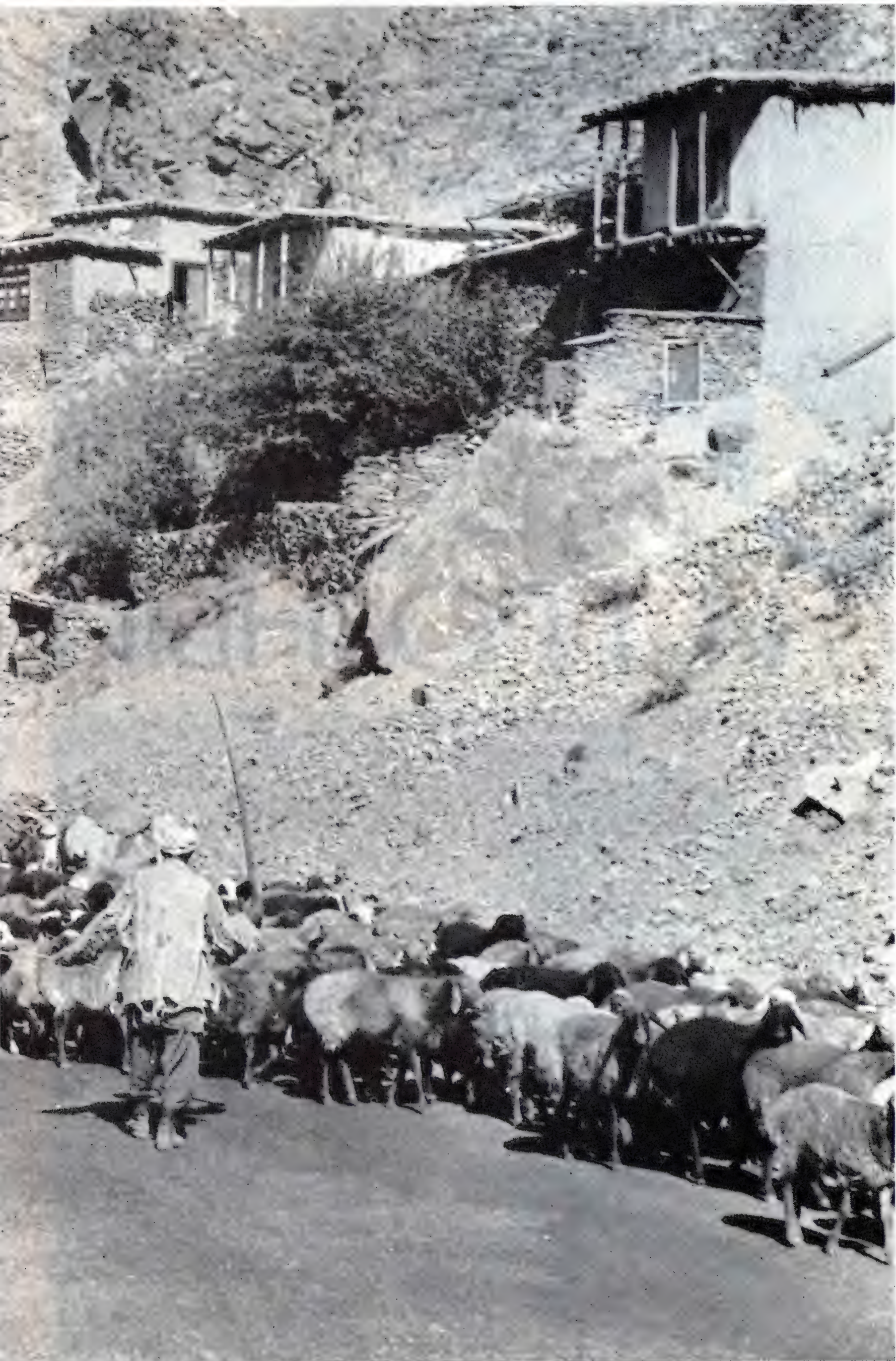














**САЛАНГ**

**...И ГРОЗНЫЙ**







Автоматы в руках,  
Передернут затвор.  
Друг надежный в горах —  
Безотказный мотор.  
К перевалу подъем,  
Может, там басмачи...  
Я опять за рулем,  
Только сердце стучит.  
Мы пройдем, люди ждут,  
Всем душманам назло,  
Только пули вот жгут  
Лобовое стекло.  
А в родимом краю,  
Там сады зацвели.  
Я дыханье ловлю  
Благодатной земли.  
Жди, любимая, жди,  
Мама, вытри глаза.  
Перевал позади,  
Утихает гроза.















САЛАНГ

„ЭДЕЛЬВЕЙС“







Красивое название у этого сторожевого поста — «Эдельвейс». Только на горе, где он расположен, не растут цветы. Там гуляют холодные ветры да звериными тропами крадутся в округе враги. Преградить им дорогу, не пропустить к Салангу — такова боевая задача воинов, назначенных на «Эдельвейс».

Непросто было добратся сюда, чтобы поговорить с солдатами, сделать снимки. Казалось, не было конца тропе, что по каменистым осыпям, мимо вздыбленных скал круто вела к вершине. Уже под нами плыли набрякшие снегом облака, а она все петляла, звала вверх, пряталась меж камней.

Но вот он, желанный пик — 3890 метров над уровнем моря. Здесь практически безотлучно несет службу крохотный гарнизон. Не раз случалось: в приборах наблюдения мелькнут непрощенные «гости». И тут же властная команда «к бою!» бросает воинов в укрытия. Плотнo прижаты к плечу автоматы, зорко всматриваются в обманчивую тишину прицелы пулеметов, а в следующий миг кинжальный огонь прикрывает путь к перевалу, по которому движутся автоколонны с мирными грузами.

На снимках: вверху — старший лейтенант Л. Кедыс, рядовые Д. Овезов, Ф. Шарипов, К. Турбаев, А. Манукян, Б. Нигматуллин, Ш. Курбанов (слева направо); вот он, вид на Саланг — под прикрытием «Эдельвейса» идут машины автоколонн; снизу — сержант И. Алпашаев (когда делался групповой снимок, он прикрывал нас).

**Майор С. Федоров,**  
корреспондент «Красной звезды»









# АВТОМАТ И ГИТАРА

Мы вспоминаем, ребята,  
Как пели когда-то  
Под ласковой туркменской  
Скучной звездой.

Как трудно было жилось,  
Как в горы ходили,  
Где каждого ждалось  
Жданий и берез.

Морис Морозов





# ОНИ ПРИШЛИ СВОИНЫ

Такого, кажется, не было давно. Во всяком случае, не помнится, чтобы стихи пользовались таким вниманием, заучивались наизусть, передавались на магнитофонных кассетах так же, как песни. И это в то время, когда интерес к поэзии явно и уже давно упал, когда на прилавках пылятся сборники стихотворений не только графоманов, но и поэтов интересных, самобытных.

Говорю о поэзии, родившейся на войне, на той необъявленной войне, которая тревожит и жжет всех нас, в Афганистане.

Поэзия эта прежде всего заявила о себе песнями, авторскими, самодеятельными воинскими песнями, имеющими глубокие традиции в нашей культуре. Не случайно почти каждый стихотворец, скажу так, там родившийся, поэт. Может быть, в этом проявилось свойство нашей сегодняшней поэзии вообще, которая все настойчивее и безогляднее уходит в песню.

Участие в боевых действиях пробудило поэтические способности у многих и многих воинов. Известны стихи лейтенанта Александра Стовбы, сержанта Виктора Тарасова, рядового Сергея Болотникова, погибших на афганской земле. Бытуют песни на стихи Юрия Кирсанова, Игоря Морозова, Сергея Демешова, Игоря Кошеля, Николая Кирженко, Валерия Петряева. Валерия Ковалева и многих других авторов и исполнителей. Новой стороной открылось творчество Виктора

Верстакова. Им написано немало песен. Но здесь ситуация особенная. Ведь Виктор Верстаков, пожалуй, единственный из профессиональных поэтов, так тесно соприкоснувшийся с судьбами наших ребят в Афганистане.

Часть «афганских» песен записана уже на диски, вышедшие в Ташкентской студии грамзаписи. Имею в виду прежде всего комплект из четырех дисков «Время выбрало нас», то есть авторские песни, а не песни ансамблей.

Бывают в жизни удивительные совпадения, поразительные переклички. Когда читаешь сейчас стихи ребят, воевавших в Афганистане, стихи, пришедшие из боя, невольно вспоминаешь поэтов фронтового поколения, которые вынесли из войны свою поэзию, идеалы, души, сердца. Какую нравственную энергию вносили они в мирную жизнь!

Когда я читаю, к примеру, стихи старшего лейтенанта в отставке, бывшего военного переводчика, ныне студента Литературного института имени А. М. Горького Александра Карпенко, я вспоминаю другого замечательного поэта — Сергея Орлова. Их роднит то, что оба прошли войну, правда, разные войны. Но одинаково оказались ими меченными. Обожженными в прямом и переносном смысле. Хочется верить и надеяться, что так же, как поэт-фронтовик, молодой автор с гордостью пронесет через годы на теле и в душе эти меты войны. Для этого у него есть все — военная судьба и поэтический



дар. Верю, что он будет таким же, как и его старший товарищ, — верным и надежным. В стихах и в жизни.

Песни эти ворвались в нашу жизнь как-то неожиданно. И тем разительнее было от них впечатление. Впервые зазвучав на афганской земле, они перемахнули хребет Гиндукуша и пошли по стране в магнитофонных кассетах, искренне рассказывая о мужестве и стойкости наших воинов, о судьбе поколения, которое мы привыкли называть мирным.

Видимо, потому они и получили такую широкую известность, что в них проявились характеры молодых людей, наших современников, о которых мы имели, как оказалось, представление приблизительное. И даже сейчас, когда появились публицистические книги, рассказы, повести и романы о них, популярность «афганских» песен не ослабевает. Их не заслонили, не заглушили другие жанры.

Вышло ведь так, что именно из этих песен ранее всего узнали мы о чувствах и переживаниях наших ребят на афганской земле. Потом уже газеты рассказали о подвигах, изложили биографии героев. Потом уже в издательстве «Плакат» вышли красочные буклеты, посвященные им. Первыми же рассказами были песенные баллады, исполняемые под гитару. Они звучали уже тогда, когда закавычивали слово противник, хотя был он вполне реальным. Когда настоящий бой пытались представить учением в Н-ской части. А песни уже говорили о мужестве ребят, о печалих и радостях их, об их гражданской и духовной зрелости. «В этой жизни мы уже узнали, что такое смерть, огонь и друг...» — поется в одной из песен.

Почему же эта поэзия, эта бытовая песенная культура получила столь широкое распространение, почему обращает на себя такое пристальное внимание? Думаю, прежде всего потому, что родилась она в ситуации исключительной, там, где профессиональный поэт сначала просто не мог побывать. Позже если и бывал, то наездом, в командировке, всегда оставаясь наблюдателем, но не прямым участником событий. Это условие объективное. Кстати, об этом говорится и в самих стихах, распространяемых в кассетах:

Как часто в боевой метели  
Горят, метутся волны чувств.  
Хотели б вы иль не хотели,  
Но нас тревожат струны муз.  
Кто выразить хоть как-то сможет  
И рассказать тем, кто далек,  
Как славу предков снова множит  
Отважный русский паренек.  
Какие тяготы, лишения  
Ему испытывать пришлось,  
Но у поэтов вдохновенье  
Афганской темой не зажглось.  
Да, не сменив кис-кис на тельник,  
Паркет на пыльную тропу,  
Не написать «Кавказский пленник»,  
Но можно породить «Фуку».  
Вот и бытует самодельный  
Фольклор воюющих ребят.  
О равнодушие беспредельном  
Молчит художников набат.

Да простим «афганцам» некоторую обиду, сквозящую в этих стихах. Она понятна. Но в силу реального положения вещей, условий этой войны там не могла появиться поэзия профессиональная. Возможно, еще появится, осмысливающая эту войну, эту нашу общенародную боль...

У каждой песни, родившейся в Афганистане, своя история создания и уже своя история бытования. За ними, как выясняется, — трогательные, а порой и трагические судьбы. Беззащитные, всецело зависящие от нашей памяти. Светлая грусть осеняет при этом. Спасительная от черствости грусть, без которой глубокое чувство неполно. И, может быть, самое действенное здесь участие — молчаливо и терпеливо их выслушать.

Вовсе не случайно, что одной из самых известных среди песен этого цикла стала «Кукушка». Не просто так полюбилась воинам. Ведь кукушка — старинный образ народной поэзии, связанный с родным домом.

Как, по каким законам из запасников души и памяти там всплыли вдруг те или иные стихи, видимо, останется загадкой. Вот и «Кукушка» возникла на основе стихотворения известного поэта-фронтовика Виктора Кочеткова. Причем на музыку до этого не положенного. Некоторые изменения в текст, придавая ему афганский колорит, внес, как мне удалось установить, одаренный автор и исполни-



тель Юрий Кирсанов. Он — один из первых авторов «афганских» стихов, написавший такие известные по магнитофонным записям песни, как «В декабре зима начало», «Вспомним, ребята, мы Афганистан», «Письмо любимой» и многие другие.

О том, как было написано стихотворение, ставшее позже песней, мне рассказал Виктор Иванович Кочетков: «Для меня было неожиданностью превращение стихотворения в популярную песню, да еще где — среди наших воинов в Афганистане... Стихотворение написано в начале 60-х годов в Молдавии, где я тогда жил. Особенно тянуло меня в Буджакские степи, места эти «священны для души поэта», как сказал когда-то Пушкин. Тут не раз русские войска сходились врукопашную с янычарами, здесь была одержана блистательная победа под Кагулом... В то время война, на которой мне пришлось испытать всякое, занимала в моей памяти и творчестве главное место. И вот — степь, жаркий полдень, древние курганы, близость границы, заставляющая вспоминать июнь сорок первого... В такой атмосфере родилось стихотворение. И я счастлив, что строки пригодились солдатам в Афганистане. Время связало нас — людей сороковых, роковых и восьмидесятых. Кукушка продолжает куковать».

Ничего из того, что чувствовал тогда поэт, прямо вроде бы не высказывалось в стихах. Но строчки словно освещены опытом и житейской мудростью. Проникнуты щемящим чувством причастности к бесконечным далям родной истории, настоящему и грядущему Родины:

Так что ты, кукушка, погоди  
Мне дарить чужую долю чью-то —  
У солдата вечность впереди,  
Ты ее со старостью не путай.

И хотя «афганцы», возвратившись домой, держатся друг друга, образуя боевое братство, бывает и так, что новые заботы разбрасывают их в разные концы страны и не всегда они знают о судьбе каждого. Так, видимо, случилось и с Кирсановым. Во всяком случае, от сослуживцев его я слышал, что его якобы нет в живых. К счастью, слухи не подтвердились. Юрий Кирсанов живет в Жданове. Он и рассказал мне, как появилась «Кукушка»:

«Песня родилась не случайно. Когда я уезжал в Афганистан, багаж, естественно, был невелик. Но все же я не устоял, чтобы не захватить два сборника стихов: «Лирика» Рудаки и «Отзывается сердце» Виктора Кочеткова. И хотя авторы принадлежали к совершенно разным эпохам, мне казалось, что у них есть некая общая философская направленность. А то, что один представлял регион, в котором нам предстояло воевать, другой — военное поколение, только усиливало желание найти в их стихах зерна истины. Рудаки не оправдал моих надежд. Изображаемый им Восток оказался совсем не таким, каким увидели его мы. Стихи же Кочеткова брали за душу. В них звучали мелодии испытываемых нами чувств. Надеюсь, поэт простит меня за то, что в текст стихотворения я внес изменения...»

Не стану полностью приводить текст уже хорошо известной песни, вошедший в сборник\*. Думается, будет справедливо так теперь указать ее авторство, Виктор Кочетков и Юрий Кирсанов. Так песня свела воинов разных поколений, никогда не видевших друг друга.

Среди самодеятельных солдатских песен есть и эта — о разведке. Долго не решался включать ее в сборник, так как все вроде бы говорило в ней за то, что родилась она не в Афганистане. Закрадывалось подозрение, что это мало известная фронтовая, каких немало покоится в сборниках, архивах да живет в памяти и сердцах фронтовиков. Но если песня бытует среди нынешних воинов, значит, есть какая-то внешне неприметная связь между тем, о чем в ней поется, и что каждодневно окружает исполнителей. Так оно и оказалось. В этом я убедился, разыскав в Москве ее автора Игоря Морозова. И в который раз уверился, что пути песен неисповедимы:

А на войне, как на войне,  
А нам трудней того вдвойне.  
Едва взошел над сопками рассвет,  
Мы не прощаемся ни с кем,

---

\* Имеется в виду сборник «Когда поют солдаты». М., «Молодая гвардия», 1987, 1988, составленный автором этой статьи (ред.)



Чужие слезы нам зачем —  
 Уходим в ночь,  
     уходим в дождь,  
     уходим в снег.  
 Батальонная разведка,  
 Мы без дел скучаем редко.  
 Что ни день, то снова поиск,  
                     снова бой.  
 Ты, сестричка, в медсанбате  
 Не тревожься бога ради,  
 Мы до свадьбы доживем еще  
                     с тобой...

Игорь Морозов увлекался песнями с детства. Служба в Афганистане открыла в нем новые творческие возможности. Так что вовсе не случайно им написано немало широко бытующих «афганских» песен. Но «Батальонная разведка» была сложена не в Афганистане. И посвятил ее Игорь своему отцу Николаю Петровичу, человеку, можно сказать, легендарному, фронтовому разведчику, ныне подполковнику в отставке.

Я увидел у Игоря фронтовую газету с фотографией отца — старшего лейтенанта с боевыми орденами на гимнастерке. Под фотографией надпись: «Смелый командир-разведчик Н. П. Морозов. Он участник многих дерзких разведывательных поисков. Под его руководством был разгромлен штаб немецкой части и добыты ценные штабные документы». Довелось прочитать и выписку из политдонесения 172-й стрелковой дивизии от 20 марта 1944 года, в которой рассказывалось о подвиге разведчика Морозова: «В боях за город Дубно особенно отличились коммунисты и комсомольцы 514-го стрелкового полка... Ночью, проваливаясь по колено в холодную воду, лейтенант Морозов вел свою роту на врага. Преследуя отступающего противника, рота первой ворвалась в центр города и начала очистку его кварталов...» В квартире Игоря Морозова — фотокопия картины этого памятного боя, написанной художником-грековцем Г. Гольдом. Оригинал ее хранится в галерее города Дубно, что на Западной Украине. Есть там и улица Морозова, отважного разведчика, проживающего сейчас в Москве. Так неожиданно через песню оказались связанными город Дубно и далекий афганский Файзабад, где звучала эта песня. Да и только ли города оказались ею связанными?

Какие высокие судьбы встают за этими песнями! Кажется, что по неким неписаным законам справедливости такие судьбы просто не могли не увенчаться песнями. Но замечаю, как привыкаем мы, что ли, к подвигам нынешних воинов. Промелькнет однажды имя героя в газете и позабудется. Часто ли можно увидеть его портрет, пройти по улице, носящей его имя?.. Неужто и впрямь притупилось сознание и ослепла душа к героическому, к подвигу как вершинному проявлению личности? Нет, мы не молчим о героях, пишем о них статьи и очерки. Но где же они в нашей жизни, повседневности? Почему перестали они быть для нас образцом поведения? Не думаю, что происходит это только потому, что пишем о них пресно. Потому, видимо, и пишем так, что судьбы и подвиги их порой не вызывают в нас сопереживания, ответного движения души, чисто человеческого участия.

Вот встречаюсь с майором Валерием Бурковым, человеком непростой судьбы, повторившим подвиг А. Маресьева. Он тоже авиатор и тоже остался в строю. Но тут ситуация еще более драматичная. Ведь в Афганистане погиб его отец — вертолетчик полковник Бурков Анатолий Иванович. Погиб, спасая экипаж другого вертолета. Но откуда узнал я об этих людях? Нет, не из новой повести о настоящем человеке. Узнал из песни самого Валерия, обращенной к матери:

Прости за разлуку,  
     покинутый дом,  
 За то, что пошел в бой  
     вослед за отцом.  
 За то, что спасти  
     я его не сумел,  
 Когда он живой  
     в вертолете горел...

Из песен узнавал и о других судьбах, других героях. Включаю магнитофон, и меня снова терзает песня капитана Игоря Кошеля «Памяти друга», посвященная военному журналисту, сотруднику окружной газеты «Фрунзевец» майору Валерию Глезденеву. Да разве только ему теперь посвящена она:

Он за хлеб заплатил  
 Самой красной  
     обильной ценою,



Жизнь не прожил взаймы,  
Дал ей фору  
на лет пятьдесят...

А Игорь Морозов исполняет свою давнюю, одну из первых песен, написанных в Афганистане:

И вот опять летим  
мы на задание,  
Режут небо кромки  
лопастей,  
А внизу страна  
Афганистанья  
Разлеглась в квадратиках  
полей.  
И кому судьба какая  
выпадает,  
Предсказать пока что  
не берись.  
Нам не всем ракетой  
красной высветят  
Право на посадку  
и на жизнь.

И конечно же, воспринимал бы ее совсем по-иному, если бы не знал, что посвящена она Вадиму Бураго, ученику четвертого класса Востриковской школы № 3 Домодедовского района. Игорь Морозов служил в Афганистане вместе с его отцом, вертолетчиком, старшим лейтенантом, тоже Вадимом Бураго.

Так случилось, что жена Вадима Викторовича Бураго Нина ненадолго пережила своего мужа, всего на два года. Она так и не смирилась с выпавшей на ее долю утратой, так и не нашла в себе душевных сил противостоять горю. И умерла, оставив маленького Вадима сиротой. Не могу, не имею права судить ее... Живет Вадим с дедушкой, Виктором Саввичем, кстати, тоже бывшим летчиком, и бабушкой, Александрой Романовной. Не хочу гадать, что делается в душе маленького Вадима, но только иногда то бабушку свою, то тетю Людмилу Викторовну он называет мамой. Может быть, по привычке, а может быть, и сознательно. Ведь это так естественно, чтобы рядом была мама...

Я и не предполагал, что песня выведет не только на судьбы людей, но и на проблемы, кажется, пока совсем неразрешимые, потребует не только сочувствия, но и человеческого участия. Пока была жива у Вадима мама, на семью платили пособие. Но вот

мама умирает. Мальчик становится по сути сиротой, но пособие уменьшается вдвое... Жесткая и по крайней мере странная арифметика. В Московском областном военкомате меня убедили в том, что все сделано по закону. Действительно по закону. Но только какой закон, какой Детский фонд, какое общество милосердия поможет мальчику?..

Стою у могил Вадима и Нины Бураго в Домодедове, припорошенных снегом, с рубиновыми каплями калины, сбиваемыми птицами. Смотрю в их красивые, спокойные лица на граните и думаю о так быстро свершившихся судьбах людей, которые моложе меня. И нет мне покоя. Что же так тревожат меня жизни людей, которых я не знал, никогда не видел? Почему они не встретились раньше? Но ведь верил же я всегда, что такие люди есть, что их немало, что они украшают жизнь, наполняют ее смыслом. Как же прошел мимо них... Может быть, прохожу и сейчас... Какой циник убедит меня после этого в том, что не бывает на свете настоящей любви, единственной и неповторимой, что чувства приглушаются и души черствеют в наше суетное время? Никто в этом меня убедить уже не сможет.

А жизнь у Вадима Бураго только начинается. Где сведет она нас снова на своих путях-перепутьях? Хочется верить, что он всегда будет помнить песню, которую слышали его отец и мать.

Говорят, что смерть метит всегда в лучших. Может быть, и так. Да только там, в Афганистане, где погиб сержант, старшина десантной разведроты Виктор Тарасов, были действительно лучшие из того поколения, которое мы привыкли называть мирным. Таковыми стали, возвратясь на родную землю. И от своих сверстников они отличаются не только таинственным загаром обветренных лиц, не только ранней сединой и еще непотускневшим блеском боевых наград. Возвращаясь домой, они несут с собой мощный заряд лучших человеческих качеств, добытых ими в испытаниях: товарищества, солдатского братства, обостренного чувства социальной справедливости — всего того, что так необходимо в нашей сегодняшней обновляющейся, непростой жизни.



И доказательством этого являются добрые дела их.

Замечательное патриотическое движение воинов запаса, набирающее силу, является жизненным, сейчас даже спасительным противодействием нравственной эрозии, поразившей большую часть нынешней молодежи. Таковым оно представляется и потому, что, возникнув стихийно, действительно необходимо для патриотического воспитания молодежи, и потому, что имеет свою поэзию, свою душу — «афганские» песни, стихи. Это патриотическое движение имеет своих поэтов. Среди них и Виктор Тарасов.

Может быть, действительно смерть метит в лучших. Да только как тут разделишь, если в том злопамятном бою 21 апреля 1985 года в Мараварском ущелье погибли все... если из храброй разведгруппы никого уже не воскресить... Остался один — Владимир Турчин. И когда я вглядываюсь в его лицо при встречах или во время передач по телевидению, где он — в составе инициативной группы воинов запаса, мне видится в нем нечто, нам, не слышавшим свиста пуль над головой, не сразу и понятное. Может быть, он расскажет когда-нибудь о том бое. Обязан по праву памяти о тех, кто остался там, среди каменных пустынь навсегда. Должен рассказать, так как ротный поэт тоже погиб в том бою.

Глубина выражаемых в стихах чувств, конечно же, зависит от их художественного уровня, поэтической одаренности авторов. Но бывает ведь и так, что о стихах невозможно судить только по художественным достоинствам. Можно ли спокойно читать, скажем стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной, не соотнося их с совершенными ими подвигами, их судьбами? Нет, такие стихи бесстрастно читать невозможно.

И, пожалуй, бестрепетно не можем мы читать стихи нынешних воинов-интернационалистов, особенно тех из них, кто уже не напишет ни единой строки. Наивные, а то и откровенно неумелые, соотнесенные с их судьбами, они приобретают вдруг смысл символический, силу обжигающих документов.

Передо мной — письма из Алма-Аты от солдатской матери Анны Степановны Тарасовой. В них она рассказывает о сыне Викторе. Прислала и стихи сына. Читаешь эти письма и стихи и

чувствуешь, как встает перед тобой облик человека одаренного, несколько, может быть, романтического, но вместе с тем целеустремленного, волевого, надежного и верного.

Если слезы не лил от обиды и зла,  
Если с горя и боли не плакал ни разу,  
Значит, ты не любил никого никогда,  
Принимая любовь за красивую фразу.

Если кожу ты с рук  
никогда не срывал,  
Если ссадин и крови не видел на теле,  
Значит, ты не боролся, не рисковал  
И себя не познал на рискованном деле.

Рос он, рассказала Анна Степановна, шустрым и умным мальчиком. С детства любил книги, музыку, песни. Самостоятельно научился играть на гитаре. Но главной чертой его характера была общительность, умение находить общий язык с разными людьми. Поэтому он и был и сейчас остается необходимым многим.

После окончания восьмого класса поступил в кинотехникум. Родители хотели, чтобы он закончил среднюю школу. Он же рассудил иначе. Отец Василий Николаевич часто болел, да и у матери здоровье неважное. Вот и хотелось ему поскорее стать им помощником.

В техникуме его избрали комсоргом, там и стихи начал писать. И тогда и позже, когда уже работал, была у него мечта, продиктованная, может быть, самой романтичностью его натуры — стать десантником. А пришел срок призыва в армию, и оказалось, что достичь этой мечты не так просто. У него ведь было плоскостопие, и он постоянно носил ортопедическую обувь. Но своего он все-таки добился — его призвали в десантные войска. Дефект этот напомнит о себе еще не однажды. Из-за него его не будут посылать в Афганистан. И он опять настоит на своем. Иногда это прорывалось и в письмах: «Получил, мама, твою посылку. Спасибо за стельки. Мне их теперь до конца службы хватит». И тут же такие нежные слова: «Всю жизнь просидел бы рядом с тобой. Вроде уже и не маленький, а все хочется, чтоб обняла, как ребенка, и за волосы потрепала». Напомнит этот дефект о себе и еще раз, когда Виктора не станет. Именно по



ногам опознают его изуродованное душманами тело...

Как оберегал он мать от излишних волнений. Ведь он так и не написал ей, что служит в Афганистане. Писал совсем о другом: «Будем стоять в ГДР. Отличное место. Красотища! Такая природа, архитектура! В общем, немцы строить умеют. Здесь тоже весна». Письмо это написано за месяц до гибели...

Вспоминает Анна Степановна, как приезжал Виктор в отпуск. Так совпало, что приехал он домой как раз в день рождения мамы. Приехал ночью, будить не стал, а через окно, как когда-то в детстве, попал в дом. Сколько радости у матери! Тогда она еще не знала, что это была его последняя шалость...

Когда уезжал в часть, взял с собой гитару. Как рассказывали потом его боевые товарищи, она была вся исписана названиями городов и кишлаков, где ему довелось побывать. И писал матери: «Хочу после службы поступить в наш институт культуры на актерское отделение. Я тут понемножку даю концерты. Спасибо гитаре, везде выручает».

Какими теплыми были отношения Виктора с матерью! И совсем, видимо, не случайно, что о сыне своем в письмах она рассказывает тоже в стихах. Одно из своих стихотворений Анна Степановна завела в рамочку и поставила на могиле сына. Объяснила это так: «Приезжали к нам студенты и посадили на могиле Вити елочку. А я боюсь, что под Новый год хулиганы срубят ее. И я надеюсь, что, прочитав стихотворение, они не станут этого делать. Ведь у меня, кроме этой елочки, в жизни ничего больше нет».

Нельзя не поразиться этой ее искренней вере во всемогущество человеческого слова.

Но прорывалась порой в ее письмах и горечь: «Вот уже скоро три года, как нет моего сыночка, моего Витеньки, а мы, старики, по сути, ни от кого еще не слышали доброго слова. Если и приходилось куда обращаться, то всюду один ответ: «Мы вашего сына в Афганистан не посылали». Но мы ведь тоже не посылали. Значит, судьба нашего сына такая. Значит, он не прятался за спины других, а шел по зову сердца своего туда, куда посылала его Родина...»

Сообщила Анна Степановна и о том, что улица Садовая в поселке Красный Восток, по которой Виктор ходил в школу, названа теперь его именем, что в поселке будет сооружен бюст сына.

О нем можно было бы рассказать как о сапере, прошедшем трудную школу коварной минной войны в Афганистане, где он был советником, мушавером, как зовут их афганцы. Можно было бы рассказать о том, как учил он непростому саперному делу афганских воинов, как воевал бок о бок с ними. И это, не сомневаюсь, была бы трогательная повесть. Можно было бы рассказать о нем и как об одаренном художнике, не расстающемся с карандашом и блокнотом даже в самые напряженные моменты жизни. Художнике, создавшем уникальную, видимо, единственную в своем роде изобразительную летопись событий, участником и очевидцем которых он был. Но я узнал его прежде всего как автора и исполнителя «афганских» песен. Получил как-то очередную кассету от «афганцев», была там и эта, вроде бы традиционная, но своеобразная и характерная песня, несущая в себе и тревогу, и боль, и оптимизм: «Время выбрало нас, закружило в афганской метели. Нас позвали друзья в грозный час, мы особую форму надели...» Автором песни оказался генерал-майор Виктор Павлович Куценко — сапер, художник, поэт, автор и исполнитель песен. Позже, когда мы познакомились с ним, он показал свои многочисленные блокноты с рисунками, картины, над которыми работает и сейчас. Сколько лиц предстало передо мной, пока листал его блокноты, может быть, только здесь и запечатленных, ведь там зачастую было не до фотографий...

Есть у него альбом портретных рисунков, который ему особенно дорог. Этот альбом в красном дерматиновом переплете называется «Альбом моих друзей». Любопытна его история. Виктор Павлович особенно любил рисовать в Афганистане людей, портретные зарисовки ему особенно удавались. Он тут же раздавал их на память. Кто-то из офицеров втайне от художника догадался собрать рисунки, размножить их, переплести в альбомы и вручить на память каждому, чьи портреты вошли в него, в том числе и автору.



В песнях его тоже конкретные люди, с которыми сводила его судьба на горячей афганской земле. Среди многих песен есть у него, к примеру, «Песня о Хосте». Хост — городок на границе с Пакистаном, положение в котором все время было напряженным. Но песня у В. Куценко получилась бодрая, с доброй лукавинкой. Я спросил у него, почему тон ее как бы не соответствует ситуации, там складывавшейся. И он рассказал, что песня посвящена советнику, мушаверу подполковнику Михаилу Караеву, что ему хотелось передать характер ее героя.

— Миша Караев был человеком неунывающим, хорошо пел,— рассказал Виктор Павлович,— Однажды он попросил написать песню о Хосте. Долго она мне не давалась. Не мог я написать ее грустной, хотя бывало там всякое. Но Хост я воспринимал через таких людей, как Миша. Песню я все же написал. Но услышать ее Мише не довелось. Он погиб.

Есть город в приграничье  
с Пакистаном.  
Матун его назвали до Корана.  
А нынче это Хост,  
И путь к нему непрост,  
С Кабулом связь одна —  
Воздушный мост.  
О, Хост, за сотни верст  
Вокруг него душманская блокада.  
Что ни гора, то пост,  
Траншеи в полный рост,  
Гранаты рвутся тут, и там,  
и рядом...

А потом нам довелось с Виктором Павловичем лететь в Ашхабад на 1-й Всесоюзный сбор воинов запаса. Там я и убедился, как песни его связаны с судьбами конкретных людей.

Он снова вспомнил о Хосте, о Караеве. Мы и не подозревали, что в Ашхабаде произойдет неожиданная и такая трогательная встреча с героями этой его песни. Ведь именно там живет Светлана Атаевна Караева, жена Михаила Караева, кстати, тоже бывавшая в Хосте, по Хосту и знавшая Виктора Павловича, и ее сын Довлет. Он и сам не знал, что в Ашхабаде похоронен Миша Караев. Узнали мы об этом совершенно случайно, услышав в штабе знакомую фамилию.

А через несколько дней, когда участники ашхабадского сбора возлагали цветы на могилы воинов-интернациона-

листов, у могилы Караева состоялся митинг. Светлане Атаевне был вручен орден Красного Знамени, которым посмертно был награжден ее муж.

Вечером в кругу большой родни Караевых Светлана рассказывала мне о своей жизни. Показала письмо друзей мужа, его боевых товарищей, адресованное сыну. На конверте надпись: «Караеву Довлету. Вскрыть в день совершеннолетия».

Не знаю, о чем написано в том письме. Видимо, там есть добрые слова об отце Довлета. Может быть, рассказано, как погиб, о чем мечтал. Не знаю. Но представляю, как через восемь лет, когда, конечно, многое забудется, заслонится новыми заботами, они вскроют к тому времени уже пожелтевший конверт. Отыщется кассета с песней, подаренная Довлету Виктором Павловичем, и, так же, как и теперь, снова зазвучит песня о далеком, загадочном Хосте...

Примечательна история и другой песни В. Куценко.

Там, в Афганистане, были не только свои песни, но и свои легенды, предания. Как и всякие другие — пленительные и загадочные. Дело ведь не только в том, насколько они соответствуют действительности. Главное — не случайно они пребывают в душах солдат и офицеров, опаленных огнем. Ведь предание переплетается с действительностью там, где живая и чуткая душа не утрачивает податливости своей перед прекрасным, возвышенным. Поистине, как поется в одной из песен: «Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость. И по-прежнему в душах надежда жива...»

Так вот, рассказывали о погибшем солдате, у которого была найдена тетрадка со стихами и песнями. Правда, фамилии его никто не помнил, где и когда произошло это, не знал. А легенда блуждает, как поется в песне, «меж гор и сопков, ни низко ни высоко», трогает и согревает сердца. Услышал ее однажды и В. Куценко. Она так взволновала его, так запала в душу, что он написал песню, которую назвал «Песня, сочиненная солдатом»:

В краткой меж боями передышке  
Достает помятую тетрадь  
Опаленный порохом мальчишка.  
Сердцем хочет песню написать.  
Просвистела пуля, он не слышал,



заслон,



этой войны, «афганцев», жизнь, по сути, только начинается.

Да будет сопутствовать нам на этот раз благоразумие, чтобы не забыть за новыми делами и заботами о тысячах своих сограждан, прошедших войну. Говорю это с тревогой потому, что даже сейчас, когда еще не выведены полностью войска, наметилась тенденция «приукрасить и припудрить», «афганскую» поэзию, значит, и судьбы воевавших людей. Имею в виду телепередачу в рамках Всесоюзного конкурса «Когда поют солдаты», посвященную «афганским» песням. Передачу, не представившую наиболее талантливых авторов и не давшую представления об этих самобытных песнях... Что же должен думать всякий мыслящий человек, не побывавший там, не встречавшийся с «афганцами», не окунувшийся в песенное кассетное море, прослушав только эту передачу? Дума его может быть горькой: значит, эта, затянувшаяся война не проявилась в искреннем и тревожном слове, не выявила человеческой силы духа? Но ведь это не так. Ведь разговор наш не только о стихах и песнях...

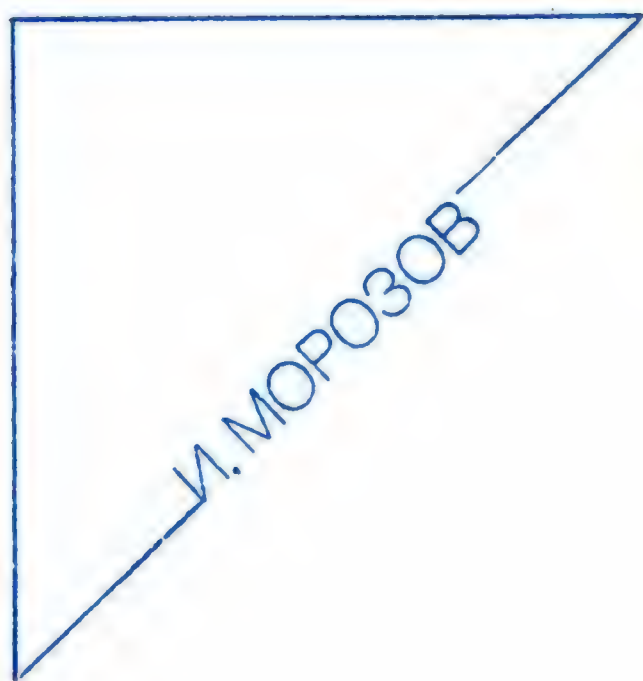
Конечно, будут еще рождаться новые «афганские» стихи и песни. И не раз еще замрет душа и вздрогнет сердце юноши, только вступающего в жизнь, при встрече с ними:

Они пришли с войны,  
Похожие на вас.  
Они пришли с войны,  
Не пробил смертный час...

Отзвенят по скалам последние гильзы, затеряются в расщелинах и потускнеют от времени. Из каменных пустынь Афганистана возвратятся на Родину сыны. Не раз еще поднимутся и пожухнут под палящим солнцем травы. Еще не однажды разорвут мирную тишину взрывы мин, коими усеяна многострадальная афганская земля. И всегда перед нами будут лица — «дорогие мальчики в тельняшках, не вернувшиеся в родной дом». Останутся и песни, напоминая о том, что все было не зря. Ведь как хлеба не растут на скудных землях, так и песни не прорастают на духовно бесплодных нивах.

*Петр ТКАЧЕНКО*





## АВТОМАТ И ГИТАРА

Автомат и гитара  
На афганской войне...  
Кто-то скажет — не пара,  
Не типичный дуэт.  
Я не спорю, поверьте,  
Но хотел бы спросить:  
Вам когда-нибудь в рейды  
Доводилось ходить?

Вы считали недели  
До отлета домой?  
Вы когда-нибудь ели  
Сухпак фронтной?  
Не в туристских походах,  
Не в лесу у костра —  
Там беднее природа  
И сильнее ветра.

Там пылают пожары,  
И в жестоком бою  
Громче всякой гитары  
Сами скалы поют.  
Вам знакома усталость  
После трудного дня?  
Если это случилось,  
Вы поймете меня.

Там романтики нету —  
Есть работа и кровь:  
Кто-то верил в победу,  
Кто-то верил в любовь,  
Кто-то знал, что вернется,  
Да упал под огнем,  
И струной отзовется  
Наша память о нем.

Не изучены свойства  
Наших душ на войне:  
Кто-то бредил геройством,

А мы пели про снег,  
Про края, где родились,  
Да про шелест берез,  
И совсем не стыдились  
С пылью смешанных слез.

Вам, не ведавшим, вроде  
Нет причины тужить:  
Вы спокойно живете,  
Нам уж так не прожить.  
Нам не выйти из боя,  
Не вернуться назад,  
И гитар не настроить  
На лирический лад.

Боевые гитары,  
Я вам песню пою!  
Да, гитара не пара  
Автомату в бою.  
Но, поправ все законы  
В этом мире скупом,  
Вы горели в колоннах  
Заодно с игроком.

Вас дырявили пули  
И осколки секли,  
Гриф тонкие гнули,  
Да сломать не могли,  
И вдали от Союза  
Вы в руках у солдат  
Доказали, что музы  
На войне не молчат.

Автомат и гитара  
На афганской войне...  
Кто-то скажет — не пара,  
Там романтики нет!  
Я не думаю спорить —  
Петь о том или не петь.  
Мне гитару настроить  
Надо к бою успеть!



\* \* \*

Мы шли в горах, и путь казался вечен,  
И сердце било в уши, как набат.  
Сказал комбат: «Держись! Еще не вечер,  
Не опускай, братишка, автомат!»

Комбата снайпер срезал под Гератом,  
А я живу — спасибо, медсанбат,—  
И как завет, храню слова комбата:  
Не опускай, братишка, автомат!

Мы про войну учили не по книжкам:  
Там, где поля косил свинцовый град,  
Война бойцов ковала из мальчишек —  
Не опускай, братишка, автомат!

Мы никогда не лезли в середину  
И никогда не пятились назад.  
Мы были там, где должно быть мужчинам,—  
Не опускай, братишка, автомат!

Нам в этой жизни ничего не слишком —  
Ни орденов, ни горечи утрат...  
Еще не время делать передышку —  
Не опускай, братишка, автомат.

Еще гуляет зло по белу свету,  
Еще враги стреляют из засад  
И подлецы не призваны к ответу —  
Не опускай, братишка, автомат!

Нам не дремать на пуховых перинах,  
Когда бои затихнут, отгремят.  
Еще не все покорены вершины,—  
Не опускай, братишка, автомат!

В огне девятилетнего похода  
Не выжгли нас ни пули, ни булат.  
Мы — воины великого народа!  
Не опускай, братишка, автомат!

## ПЕСНЯ ПУЛИ

Бредит песнями земля  
От ручья до соловья,  
Композиторы в идеях утонули.  
Но однажды вышло, друг,  
Нам почувствовать на слух  
Песню пули, песню пули.  
Мы узнали, старина,  
Как умеет петь война  
В Бадахшане, Кандагаре и в Кабуле.  
Под аккорд пять — сорок пять  
Смерть выходит исполнять  
Песню пули, песню пули.

Рикошетом от земли  
Пули прыгают в пыли,  
Вон фонтанчиком  
к кому-то потянулись.  
Недолет ли, перелет,  
Но кто-то жизнью оборвет  
Песню пули, песню пули.  
Было дело, бой гремел,  
Каждый честен был и смел,  
Мы не дрогнули  
и вспять не повернули,  
Не за деньги, не за страх —  
Вот и слышим мы во снах  
Песню пули, песню пули.



## ЭТОТ МИР БЕЗ ТЕБЯ

Этот мир без тебя — просто голые скалы.  
От палящего солнца не спрятаться в тень.  
Здесь душманские буры\* стерегут перевалы  
И в тревожных рассветах рождается день.

Этот мир без тебя перечеркнут ракетой,  
И погибшим друзьям не закончился счет.  
Здесь измерена жизнь пулеметною лентой,  
Караванной тропой и чем-то еще...

Этот мир без тебя — после рейда усталость,  
Недописанных писем скупые слова,  
Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость.  
И по-прежнему в душах надежда жива.

Этот мир без тебя неизменен и вечен,  
Мир нежданных разлук и нечаянных встреч.  
Здесь ремни автоматов врезаются в плечи  
И звучит иностранная, странная речь.

Этот мир без тебя — он расколот войною.  
Эхо выстрелов скачет по склонам крутым...  
Этот мир без тебя все же полон тобою,  
И становишься ближе далекая ты.

## ПАМЯТИ ВАДИМА БУРАГО

\* \* \*

Вот опять летим мы на задание,  
Режут небо кромки лопастей,  
А внизу земля Афганистана  
Разлеглась в квадратах полей.

Но не верь в спокойствие ты вечное —  
Вот уже к тебе под облака  
Тянутся прерывистые встречные  
Огненные трассы ДШК.

И кому судьба какая выпадет,  
Предсказать пока что не берись.  
Нам не всем ракетой алой высветят  
Право на посадку и на жизнь.

Ни к чему гаданья и пророчества,  
И о прошлом тоже не жалею.  
Не спастись порой от одиночества  
Даже в окружении друзей.

Но опять летим мы на задание,  
Режут небо кромки лопастей,  
И опять земля Афганистана  
Разлеглась в квадратах полей.

Дождь идет в горах Афгана.  
Это странно, очень странно —  
Мы отвыкли от обилия воды.  
И, дождю подставив лица,  
Мы пытаемся отмыться  
От жары, столетней пыли и беды.

Дождь идет в горах Афгана.  
На колонны, караваны  
Нити радужные тянутся с небес.  
Дождь стучит по горным склонам,  
По машинам, по погонам  
И шипит на раскаленных АКС.

Дождь идет в горах Афгана,  
Позабывший и желанный, —  
Память звонкая о долге и весне.  
И отплясывают рьяно  
Два пехотных капитана  
Под дождем у «бээмпэшки» на броне.

Дождь идет в горах Афгана —  
Пересошим речкам манна.  
Он, конечно, не российский,  
не родной...

Местный бог, от взрывов злея,  
Из созвездья Водолея  
На войну обрушил дождик проливной.

\* Вид винтовки.



\* \* \*

Текут по небу облака,  
Голубоватая река,—  
А здесь, внизу, лежат века  
В пыли дорожной.  
На скалах солнце запеклось,  
Багряным соком налилось,  
Лучами режет вкривь и вкось  
Что только можно.

Под ноги катится тропа,  
В конце тропы — твоя судьба.  
Она не зла и не глупа —  
Она бесстрашна.  
Здесь пуля — дура не всегда,  
И кровь людская — не вода.  
Но все ж горит твоя звезда,  
И жизнь прекрасна.

С последней каплею воды  
Придет предчувствие беды —  
Вот только зубы стиснешь ты  
И шаг прибавишь,  
Всю жизнь в уме переберешь,  
И на вершину вознесешь —  
И там оставишь.

Забудь, когда вступаешь в бой,  
О том, что ты уже герой.  
Ищи за огненной чертой  
Свою победу.  
И будут жить твои друзья,  
И песню сложат про тебя,  
И биография твоя  
Не канет в Лету.

## ПЕРЕВАЛЫ СУДЬБЫ

Я бы мог написать о красе этих мест  
И про жаркое лето в Кабуле,  
Но боюсь, что романтика вам надоест  
После первого посвиста пули.

Лучше я расскажу о природе иной,  
Где связались конец и начало:  
Закрываю глаза, и встают предо мной  
Перевалы, перевалы.

## ПИСЬМО

Желтой пылью наши окна запорошило:  
Третий день афганец бродит по горам.  
Я письмо тебе пишу, моя хорошая,  
Из провинции Магорный Бадахшан.

Перевалы в кисейной фате облаков —  
Испытание сердца и воли.  
Перевалы, где дикие розы ветров  
Наши щеки шипами кололи.

Перевалы горели в жестоком огне,  
Так, что трескались вечные скалы,  
И оставили россыпь заплат на броне  
Перевалы, перевалы.

Перевалы, где наших последних следов  
Не затянет столетий пороша,  
Где чистейшие скатерти горных снегов  
На земные совсем не похожи.

Эти горы, где каждый доверил друзьям  
Жизнь свою и в великом и в малом  
И, какую-то высшую точку пройдя,  
Обзавелся своим перевалом.

## ФАЙЗАБАД

Файзабад, Файзабад!  
Не за-ради наград  
Этот год мы тебе подарили.  
И лежишь ты в горах  
У Памира в ногах,  
Порыжевший от солнца и пыли.  
Облака уплывают  
В родные края,  
Ветер пахнет черешней и хлебом.  
Тополя, тополя  
Над Кокчею шумят,  
Упираясь верхушками в небо.  
Что столетье — что миг:  
Караванщиков крик  
Так же эхо в горах повторяет,  
И верблюды бредут,  
Куда тропы ведут,  
Меж горбами пуштунок качая.  
Синий вечер упал  
На расщелины скал.  
Камни песню поют, остывая.  
И опять до утра  
Над рекой трассера  
Как сгоревшие звезды мелькают.  
Файзабад, Файзабад!  
Мой товарищ и брат,  
Мы не зря тебе год подарили.  
Файзабад, Файзабад!  
Ты и рай был, и ад,  
Но таким мы тебя и любили.



Мне поет про горы грусть магнитофонная,  
А вокруг толпятся горы наяву.  
И живу я здесь засадами, колоннами  
Да еще твоими письмами живу.

Где записано, в Уставе ли, в Коране ли,  
Для чего живет на свете человек.  
Здесь сошлись два века в противостоянии —  
Век двадцатый и четырнадцатый век.

И не верю ни в аллаха, ни в Исуса я,  
Десять заповедей душу не томят.  
Вся религия моя — головки русые  
Сыновей, что с фотографии глядят.

Не в чести у нас новейшие традиции,  
Все указы здесь не стоят ни черта —  
Пью я водку с подполковником милиции,  
Он милиции московской не чета.

Пью за дружбу фронтовую, настоящую,  
Пью за то, что он не смотрит свысока,  
Что меня из боя, неходячего,  
Семь часов тащил по скалам до полка.

Может быть, мои сумбурные каракули  
Разбирать ты будешь, слезы не тая,  
Только сделай так, родная, чтоб не плакали,  
Письма папины читая, сыновья.

Только верь — и по законам человечности  
Будет солнце, будет встреча и весна.  
Ты — маяк мне, затерявшемуся в вечности,—  
По призыванию офицерская жена.

\* \* \*

Когда мы на землю опустимся с гор,  
Когда замолчат автоматы,  
Когда отпылает последний костер,—  
Какими мы станем, ребята?

Когда раскаленный остынет гранит,  
Когда отгремят камнепады,  
Когда наши души любовь исцелит —  
Какими мы станем, ребята?

Когда мы вернемся в раздолье берез.  
Где нервы треножить не надо,  
Где высохнет соль от пролитых слез,—  
Какими мы станем, ребята?

Когда к непогоде занает плечо,  
Пробитое возле Герата,  
И память толкнется в висок горячо,  
Какими мы будем, ребята?





## ДЕКАБРЬ 1979 ГОДА

Еще на границе и перед границей  
стоят в ожидании наши полки.  
А там, на подходе к афганской столице,  
девятая рота примкнула штыки.

Девятая рота сдала партбилеты,  
из памяти вычеркнула имена:  
ведь если затянется бой до рассвета,  
то не было роты, приснилась она.

Пускай коротка ее бронеколонна,  
последней ходившая в мирном строю,—  
девятая рота сбивает заслоны  
в неизвестном, декабрьском, первом бою.

Прости же, девятая рота, отставших:  
такая работа, такой уж приказ...  
Но завтра зачислят на должности павших  
в девятую роту кого-то из нас

## ПЕСНЯ О ПЕЧАТИ

(шуточная)

Дрожит душман в Пули-Хумри  
и около Герата:  
его крушат, черт побери,  
афганские солдаты.

И в Кандагаре, и в Газни,  
и в Балхе, и в Кабуле  
войска афганские одни  
ну так и прут под пули.

Их невозможно удержать,  
они нас защищают,  
о чем советская печать  
стыдливо сообщает.

Ведь контингент наш очень мал,  
навряд ли больше взвода,

границу перешел и стал,  
любуется природой,

дает концерты в кишлаках,  
а в паузах-антрактах  
детишек носит на руках  
и чинит местный трактор.

Пусть контингент и неплохой,  
но где ему сравниться  
с афганской армией лихой,  
которой враг боится.

Она разбила тыщу банд.  
Нет, миллион миллионов.  
Почти очистила Шинданд  
и два других района,

Сильна, отважна, велика,  
заслуженно известна...  
А мы все пляшем гопака  
и чиним трактор местный...



## ДЕВЯТЫЙ

В палатке дощатые нары  
и восемь хороших парней.  
В палатке играет гитара —  
девятый играет на ней.

Разведке осталось на сборы  
десяток последних минут,  
разведка вернется не скоро,  
без боя ее не вернут.

О чем же ты думал, девятый,  
когда о любви ты запел?

В разведку уходят ребята,  
в такую, что как на расстрел.

Все восемь уйдут с темнотою,  
все восемь погибнут к утру.  
А ты им про чувство святое  
к соседке своей по двору.

Но слушают песенку все же  
и даже грустят в тишине...  
Неужто соседки похожи  
на этой безмолвной войне?..

## САДЫ ДЖЕЛАЛАБАДА

Далеко от России до этой земли,  
где зимы не бывает, где воздух, как пламя,  
где сквозь жаркую пыль еле виден вдали  
апельсиновый сад с золотыми плодами.

Сады Джелалабада  
запоминать не надо —  
отныне и навеки, во снах и наяву  
среди зеленых веток, среди свинцовых меток  
в садах Джелалабада  
хожу, дышу, живу.

Увядает листва на деревьях в саду,  
пересохшие корни цепляют за ноги.  
Я воды принесу, но сначала найду,  
кто стреляет отсюда по нашей дороге.

Шевельнулась и вскинулась ветка вдали.  
Успеваю залечь, за корнями укрыться.  
Далеко до России от этой земли;  
если сад перейду — вдвое путь сократится.

Снова шорох в листве... Ты прости меня, сад.  
за ответную очередь из автомата.  
Но открыта дорога на Джелалабад,  
и примчатся с водой городские ребята.

Сады Джелалабада  
запоминать не надо —  
отныне и навеки, во снах и наяву  
среди зеленых веток,  
среди свинцовых меток  
в садах Джелалабада  
хожу, дышу, живу.



\* \* \*

Вспомнятся холод брони на рассвете,  
жаркие схватки в ущельях сырых,  
вспомнятся дети, афганские дети.  
Дети — во-первых, бои — во-вторых.

Ходят босые по камушкам острым  
да попрошайничают: голодны  
мальчики, девочки, братья и сестры,  
младшие жертвы душманской войны.

Ради детей на бандитские пули  
ты поднимался, себя не берег,  
ради детей, подлечившись в Кабуле,  
в полк сэкономленный вез сухпак...

\* \* \*

Нас в горах не найдет  
почтовой самолет,  
и письмо от тебя  
до меня не дойдет.

Посветлеют снега,  
встанут стены огня.  
Будет бить ДШК  
из ущелья в меня.

Будет бить ДШК,  
будет жизнь коротка —  
может быть, у меня,  
может быть, у стрелка.

Нас в горах не найдет  
даже радиосвязь,  
с безымянных высот  
лупят в нас, не таясь.

Поднимаемся в рост,  
отвечаем огнем,  
между огненных звезд  
по вселенной идем.

И краснеют снега,  
и дробится скала.  
Смерть в горах дорога —  
жизнь такой не была.

Нас в горах не найдет  
запоздавший приказ,  
и никто не придет  
и не выручит нас.

Погибает десант,  
погибает навек.  
...Погодите, я сам:  
это мой человек,

это мой ДШК,  
это мой разговор.  
Я дойду до стрелка —  
он не спустится с гор.

Нас засыплет метель,  
нас завалит скала.  
Смерть мягка, как постель,  
жизнь такой не была.

Мы в объятьях сплелись,  
мы навеки родня.  
Пусть продолжится жизнь  
без него и меня.

Нас в горах не найдет  
почтовой самолет,  
и письмо от тебя  
до меня не дойдет...

## ВРАЧ

Переезжаем Саланг,  
смотрим и влево и вправо:  
то на обочине танк,  
то под горою застава.

Ветер порывами бьет.  
Мы не торопимся, чтобы  
не проморгать гололед  
и не заехать в сугробы.

К этому часу уже  
заночевали колонны,  
сгрудились, как в гараже,  
дула направив на склоны.

Все изменилось внизу —  
трасса, природа, погода.  
Мчим из метели в грозу,  
рухнувшую с небосвода.

Молнии блещут из туч,  
гром сотрясает равнину,  
даже прожекторный луч  
сузился наполовину.

Воздух пропитан насквозь  
предощущеньем тревоги  
гнется растущее вкось  
дерево возле дороги.

Но разгорается вдруг  
заревое встречного света...  
Что тебя бросило, друг,  
в гонку опасную эту?

Мы бронегруппа почти —  
два боевых «бэтээра».



Здесь в одиночку идти —  
самая крайняя мера.

Вправо, товарищ, смотри!  
Справа за вспышкой вспышка!  
Ну подожди, не гори,  
мы уже близко, мы близко.

Ты поработай в ответ,  
«духи» не любят работы.  
Выключи, родненький, свет.  
Что же ты медлишь, ну что ты!

Вырвался из-под огня  
броневичок с капитаном.  
«Похоронили меня?  
Рано, товарищи, рано!»

Встал во весь рост на броне,  
вытянул руку с часами:  
«Я бы их сбил, только мне —  
к раненому. Вы уж сами...

Я, как вы поняли, врач,  
вот и лечу, не стреляю.  
Ладно, ребята, удач.  
Всыпьте им, я умоляю!

«Скорая помощь», гони!»  
Взвыли движки «бэтээра»,  
и кормовые огни  
дымом задернуло серым.

Та же гроза в небесах,  
та же засада пред нами.  
Были б врачи на часах —  
все остальное мы сами.

## ПОМНИ ОБО МНЕ

События разделены  
на те, что вдруг судьбу меняют,  
и те, что, взгляду не видны,  
ее хранят и осеняют.

Просила: «Помни обо мне».  
И этой просьбой сквозь слезы  
спасла на будущей войне  
и в госпитале под наркозом.

Да не шепчитесь вы с врачом!  
Я продержусь, мне хватит силы.  
Ведь вы не знаете, о чем  
меня та женщина просила.

## ЭКСКУРСИЯ В БАМИАН

*Светлой памяти капитана  
3-го ранга  
Федора Борисовича Гладкова*

Он был очень красив,  
я его не забуду...

Бамиан. Древний город  
трех тысяч пещер.  
В скальных нишах —  
две статуи,  
два исполина,  
два будды:  
символ вечности вер  
и забвения вер.  
В Бамианской долине  
цветут абрикосы,  
виноградной лозою  
обвиты стволы.  
Там журчат ручейки,  
там режут водосбросы,  
там дома — как чайники  
на дне пиалы.

Даже солнце весь день  
не горит, а сияет,  
даже ветер всю ночь  
только дышит слегка.  
И дорогой царей  
на Кабул проплывает  
ожерелье долины —  
ее облака.

Буддам все не впервой,  
им пятнадцать столетий.  
Время не пощадило  
их каменных лиц.  
И надменным покоем  
на путника светит  
пустота их изъеденных ветром  
глазниц.

Будды были одеты  
и в глину, и в золото.  
Злато сняли монголы,  
а глину — ветра.  
Будды были бедны,  
будды были богаты,  
будды были богами,  
их память пестра.

Величавы, горды,  
неподступны,  
всевластны —  
хороши истуканы!  
Но выхватил взгляд  
человека внизу:  
был живым и прекрасным  
запрокинувший голову  
русский солдат  
в Бамианской долине.





\* \* \*

Мы принесли с собой войну  
В свои родные переулки,  
И наши мирные прогулки  
То настороженно, то гулко  
Тревожат эхом тишину.

Мы возвратились в старый свет  
Еще в расцвете лучших лет.  
В горах остались «бэтээры»,  
Но наша огненная вера  
Заменит нам бронежилет.

### ТАК ПОБЕДИМ!

Вот и все. Мучусь, корчусь от боли,  
Весь в бинтах на постели сырой.  
Я... наехал на минное поле  
И погиб... Может быть, как герой...  
Вот и все. Как нелепо все вышло...  
Где-то в воздухе кружится гриф.  
Только стоп. Быть не может!

Я мыслю —

Это значит, что я еще жив!  
Жизнь... Опять начинать все сначала,  
Даже если семь пядей во лбу,  
Это трудно. Но сердце воззвало —  
Я настрою себя на борьбу!  
Я лежу перед желтой стеною,  
Боль отведав, хлебнув и вкусив.  
Жизнь натянутой туго струною  
Проверяет сердца на разрыв.  
Пусть я слаб, но в свирепейшей драке  
Я готов постоять за себя.  
Я бессилье гоню, как собаку,  
Дуя в ус и зубами скрипя.  
Не бросай меня, жизнь! Я не струшу.  
Часто все отнимает беда.  
Только душу, бессмертную душу  
Не разрушит... никто... никогда...

\* \* \*

Инфантильные баловни века,  
На родительском теплом крыле,  
Под привольной домашней опекой —  
Много ль видели мы на земле?

Но, солдаты переднего края,  
Здесь, в щетинистых, диких горах,  
Километры раздумий верстая,  
Мы растем у себя на глазах.

И созреют для подвигов силы,  
Возмужанья наступит пора —  
Мы вернемся на землю России  
Не такими, как были вчера.

И, пробитое пулями знамя  
Передав новобранцам полка,  
Вспомним тех, кого нет уже с нами.  
Это будет. Потом. А пока,

Озабоченный властной тревогой,  
Под пронзительным взглядом вершин,  
Я иду кандагарской дорогой,  
Начиненной ловушками мин.

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Тише, тише,  
Небо звездное — ветхая крыша.  
Тихо трассеры прошуршат —  
Выше, выше,  
В твердокаменной нише  
Я не слышу, о чем говорят  
С ветром души...  
Шепот глуше,  
Барабан за моей спиной,  
Грому снятся военные марши —  
Станет мир на мгновение старше,  
Темной ночью простившись со мной.



\* \* \*

Я к фляге жадно припадал,  
Я грыз кирпич ржаного хлеба,  
А ветер штопал и метал  
Разорванное в клочья небо.

И стаи мыслей  
                                косяком  
Меня сносили вниз,  
                                к дороге.

Там человек  
                                лежал ничком  
И холодел  
                                на солнцепеке.

И, странно погруженный  
                                в слух,  
Среди песчаной  
                                круговерти  
Я различал  
                                дыханье мух —  
Жужжащий запах  
                                близкой смерти.

\* \* \*

Помнишь ночь под Гератом, мой друг?  
Плыли звезды чужие вокруг,  
И слова долетали сквозь ветер:  
«Умирать нам совсем недосуг...  
Ждут нас руки далеких подруг  
И еще не рожденные дети».

Пыль ползла по морщинам лица,  
По тяжелым доспехам бойца,  
Мир казался огромным и тленным.  
Каждый шел по пути до конца,  
И, приняв свою долю свинца,  
Разошлись мы по разным вселенным.

И осталось нам только страдать,  
Но не следует стулья ломать,  
И пусть наши ряды поредели,  
Мы смогли, мы успели понять,  
Что страшнее, чем вдруг умирать —  
Жить  
                                на самом последнем пределе.

Мы запомним на все времена.  
Все, что в нас проложила война,  
И не выплатят дань ордена,  
И не хватит всем звезд  
                                на могилы,  
И конечно, не наша вина,  
Что нам хочется снова сполна  
Зачерпнуть эту чашу до дна,  
Пробудив ее горькие силы.

## ПЕРЕЛЕТНЫЕ ЛИСТЬЯ

Целый год я у мамы не был —  
Только письма под сердцем храню.  
Листья звонко падают с неба  
И ложатся плашмя на броню.

Вновь афганец ворчит и злится,  
Маскирует загар лица.  
И откуда тут взяться листьям —  
За версту не сыскать деревца...

Листья трутся доверчиво оземь,  
И теряюсь в догадках я.  
А в Черкассах давно уже осень.  
Не оттуда ли вы, друзья?

Вот и солнце зашло за Кабулом.  
Может, маму увижу во сне...  
И откуда тут взяться пулям —  
В этой чуткой, как нерв, тишине?

\* \* \*

В Ташкенте товарищу отняли ногу —  
Полгода прошло после той операции,  
И вдруг говорит он: «Сегодня, ей-богу,  
Я чувствовал ногу,  
                                я чувствовал пальцы».

Мы смотрим вперед,  
                                спасаемся в вере —  
И в прожитых днях убывают потери.  
Но горечь утраты  
                                вдруг хлынет наружу...  
Вот так  
                                иногда  
                                ощущаем мы  
                                душу.

\* \* \*

Мы хороним любимых. Но сколь бы  
Ни безмерна утрата была —  
Нам дано отвлекаться от скорби  
На веселые наши дела.

Возвращаются радость и гордость,  
Осыпается траур с лица.  
Лишь афганская тихая горечь  
Не спеша покидает сердца.

Нам в ушедших нельзя воплотиться,  
Возвратить им угаснувший свет —  
И минута молчания длится  
В тех, кто вынул счастливый билет.



Высока за познание плата,  
И на жребий нам трудно пенять...  
Мне сегодня непросто, ребята.  
Мне еще предстоит умирать.

\* \* \*

Так случилось со мною — был отдан  
Я в бессонные руки врачей,  
И искал меня новенький орден  
Двести семьдесят дней и ночей.

Мы идем грозowymi путями,  
Ополчась на невзгоды и смерть,—  
И наградам, летящим за нами,  
Так непросто за нами успеть...

Вот опять предо мной то мгновенье,  
В тишине раскатившийся взрыв...  
Может быть, награжден уже тем я,  
Что остался в аду этом жив?!

Ты идешь по Нескучному саду,  
Обещанием счастья маня...  
Что же ты, дорогая награда,  
Догоняешь так долго меня?..

\* \* \*

Хорошо быть мужчиной  
И в беде роковой

Вознестись над кручиной,  
Подшутив над бедой.

И зажечься лучиной,  
И кручину забыть.  
Хорошо быть мужчиной.  
Только надо им быть.

## АФГАНИСТАН

Какая странная страна!  
Приют ревущей в муках нови,  
Где чья-то старая вина  
Искала выход к морю крови.

Какая странная страна  
На перекрестках мироздания,  
Где начинается страда  
И не кончается страданье...

И в этой странной стороне  
Предвестник озарений ранних,  
На красно-огненном коне  
Появится творящий странник,—

И тени страждущих веков  
Свои мечи опустят мудро,  
И стаи мирных облаков  
На флейтах звезд сыграют утро.



\* \* \*

Идут в атаку молча, стиснув зубы,  
Призыва нет: «За Родину, вперед!»  
Лишь матернут запекшиеся губы  
С горы в упор хлестнувший пулемет.  
Здесь все другое. Не Москва за нами,  
Но топчет враг родимые поля.  
Пылит земля чужая под ногами,  
И все же дорогая, как своя.



\* \* \*

*Памяти рядового  
Сергея Болотникова*

В краткой меж боями передышке  
Достает помятую тетрадь  
Опаленный порохом мальчишка.  
Сердцем хочет песню написать.  
Написать об огненных атаках,  
О заветной радостной мечте,  
О друзьях-товарищах солдатах  
И о с боем взятой высоте.  
Просвистела пуля, он не слышал,  
И пробито сердце напролет,  
Песня до конца его не вышла,  
Строчки в ней одной недостает.  
Песни пусть его чуть-чуть корявы,  
Рифмы, ритмы малость не сошлись,  
Но в стихах о Родине, о славе  
Кровью сердца строчки запеклись.  
Пусть пробьется сквозь любой заслон,  
Зазвучит сегодня иль когда-то,  
Пронесет сквозь годы боль и стон  
Песня, сочиненная солдатом.

\* \* \*

Убаюканный солнцем Асмар  
От жары всех укрыл за дувалы.  
Ни движенья, лишь только Кунар  
Все течет, как ни в чем не бывало.  
Будто не на его берегах  
Еще тлеет земля после боя,  
Будто нет на горящих камнях  
Нашей крови, не смытой водою.  
И людей, и машины живьем  
Не глотал, унося перекатом.  
И не падал, объятый огнем,  
Вертолет с обреченным десантом.  
Не расскажет Кунар никогда,  
Как горячая сталь в нем шипела,  
Равнодушно ласкает вода  
Вертолета торчащее тело.  
Отдыхает Асмар в тишине.  
Ненадолго враги присмирели.  
Кверху брюхом плывут по воде  
Косяки оглушенной форели.

## ОКОП

Искрит лопата, гнется нож —  
Ничем тут землю не возьмешь!  
Как воздух нужен мне окоп,  
Грызу скалу, жду пулю в лоб.  
Работаю, тону в поту,  
Язык — наждачный лист во рту.

Есть! Жахнул дымовой снаряд.  
Держись! «Гостинцы» прилетят!  
Изнемогаю — руки в кровь,  
Но в иступление рою вновь.  
И поддалась моя скала —  
Чуть расступилась, приняла.

## МУШАВЕРЫ

На высокой горе, на Нарае,  
Перевал на пути в Чемкани.  
Там, в обжитом душманами крае,  
Зажигаются ночью огни.  
Среди них огонек на вершине  
Из окошка мерцает во мгле,  
Там горит фитилек в керосине,  
Тень от гильзы дрожит на столе.  
А вдоль стен в полумраке тревожном  
В униформе афганских солдат  
Спят советники сном осторожным,  
Обнимая во сне автомат.  
Их лишь пятеро. Пять офицеров,  
Пять советских парней в том краю,  
Их афганцы зовут мушаверы,  
Никого нет надежней в бою.  
День и ночь, день и ночь,

так два года

По патронам ведется отсчет.  
По земле без боев к ним нет хода,  
А по воздуху — как повезет.  
На высокой горе, на Нарае,  
До рассвета окошки красны,  
Бродят в тесном и душном сарае  
Мушаверов тревожные сны.

\* \* \*

*Памяти сапера старшего  
лейтенанта В. Светлова*

Он ошибся, и земля взорвалась.  
Он, сапер, ошибся в первый раз.  
Весть о гибели на Родину умчалась,  
В страшном крике в горе обратясь.  
Неразлучен он бывал с гитарой,  
И всего лишь час тому назад  
Он в тени под старою чинарой  
Перед боем веселил отряд.  
Кому жить, те возвратились вскоре,  
Ко вдове зашли отдать поклон  
И гитару привезли с собою —  
Ей вложил души частицу он.  
Расписались все друзья на деке,  
Взвод гвардейский не забудет вас.  
В память о родном нам человеке  
Пусть гитаре будет верный глаз.  
В стену гвоздь забит на видном месте,  
И гитара заняла свой пост



Памятью живой, неспетой песней  
Горькой и святой, как третий тост.  
Как известно, время лечит раны,  
Дай вам бог и счастья и тепла.  
Навсегда тропа Афганистана  
Первую любовь пересекла.  
И гитару тронете случайно  
Или пыль протрете не спеша.  
Струны вздрогнут тихо и печально,  
И в ответ вздохнет его душа.

### ПЕСНЯ О ХОСТЕ

Есть город в приграничье с Пакистаном,  
Матун его назвали до Корана,  
А нынче это Хост,  
и путь к нему непрост,  
С Кабулом связь одна —  
воздушный мост.  
О Хост, на сотни верст  
Вокруг тебя душманская блокада,  
Что ни гора, то пост,  
Траншей в полный рост,  
Гранаты рвутся тут, и там, и рядом.  
У Хоста есть особая примета,  
Зимы там нет — одно сплошное лето.  
Коляски расписные, в них —  
мухи земляные,

Кусаются, ну словно черти злые.  
Советники живут в шикарной вилле,  
В окопах эту виллу позабыли,  
А жены их в печали  
С кофейными плечами  
С гранатами в обнимку спят ночами.  
Садятся и взлетают самолеты,  
Летят туда с опаскою пилоты.  
По полосе — удар. Прикрыл аллаха дар  
Горой высокой Торигаригар.  
Высоты переходят из рук в руки,  
Сегодня на них наши, завтра «духи».  
И снова где-то бой, и стервенеет вой.  
И не понять, где свой, а где чужой.  
Плели интриги в Хосте англичане,  
Запутали вождей в Пуштунистане,  
Но, как велел аллах,  
Разбиты были впрах,  
Их кости, как урок, блестят в горах.  
А мы таких уроков не учили.  
Подумаешь, джентльмена там убили,  
А нынче это мы, решимости полны,  
Закончить это дело до зимы...

(А зимы там нет...)

О, Хост, за сотни верст  
Вокруг тебя душманская блокада,  
Что ни гора, то пост,  
Траншей в полный рост  
Снаряды рвутся тут, и там, и рядом.

## СЕРГЕЙ БОЛОТНИКОВ

\* \* \*

Здесь, в далекой стране,  
Где высокие горы,  
Вспоминаются мне  
Казахстана просторы.  
Здесь, в далекой стране,  
Здесь, где зной и жара,  
Вспоминаются мне  
Голубые снега.

Вспомню отчий я дом,  
И озер синеву,  
И цветы под окном,

И улыбку твою.  
Вспомню нежный твой взгляд,  
Тихий голос в ночи:  
— Отслужи, мой солдат,  
И скорее приди.

Будут зори вставать,  
Будут таять снега,  
Но тебя позабыть  
Не смогу никогда.  
Береги лишь себя,  
Знай, что мы тебя ждем,  
Не печалься ты зря,  
Мы друг друга найдем.



Очерки

# ИЗ АФГАНСКОГО БЛОКЮТА





## В ПОИСКАХ ГЕРОЯ

Не могу сказать, что безусловно убеждают дискуссии в литературных газетах по поводу поисков героя нашего времени в советской прозе. Даже сейчас, в период перестройки, когда вскрываются все — позитивные и негативные — грани нашей жизни, этот самый «герой» обосновался и в литературе, и в театре, и на телевидении, пребывая в социальной эйфории, строя судьбу свою согласно самым оптимистическим передовицам. Помнятся нам бесконечные романы и постановки, появлявшиеся в достопамятные «застойные» времена, не поражают глубиной и новые «перестроечные» изделия «именитых» писателей, драматургов.

Помнится, еще не так давно критики спорили о Чешкове — герой или карьерист? Потом — брать или не брать премию? И далее, кто прав: секретарь райкома партии, не по чину безответственный, или опять же секретарь, но уже обкома, вернувшийся на родину для укрепления областного аппарата? В настоящее время все авторы вдруг поняли: прав тот, кто перестроился. Каждый понимает перестройку по-своему, по-своему видит героя, также по-своему мыслящего, но ведь герой-то уже перестроился! И это главное достоинство некоторых произведений. А если герою перестраиваться незачем? Если в начале восьмидесятых и в конце он был и остается собой? Воюет, побеждает, лежит раненый в госпитале и возвращается в строй, подрывает себя грана-

той? Если он солдат? Ведь давайте согласимся: настоящих героев в «застойные времена» дала армия, а все мы, пусть и по чьей-то воле (да это ведь еще хуже! Могли бы и помолчать), хоть раз, хоть не причиняя никому вреда, но покривили душой. Ой, как покривили! Не стоит и оправдываться.

А армия несла свою службу. Посылала солдат, наших братьев, племянников, сыновей на войну. Требовала от них выполнения долга, и они его выполняли. Но почему же нет о них «публицистических» романов, почему критики до сих пор ищут героя нашего времени, почему Лермонтов нашел его сразу — офицера, участника войны на Кавказе? А мы не можем?

Этими вопросами неоднократно задавались авторы и работники редакции военной и спортивной литературы издательства «Молодая гвардия». Хотелось при том небрежном отношении к армейской теме, которое вдруг прорвалось на страницы различных изданий, найти альтернативу этому явлению. Были встречи с руководством Главного политического управления СА и ВМФ, были споры в редакции, обсуждения, и в результате родилась программа сотрудничества издательства и армии: «Молодежь — книга — армия». Программа предусматривает проведение совещаний с участием молодых писателей, работающих в военной теме, организацию выступлений работников издательства в частях и подразделениях с



целью пропаганды молодогвардейской книги, а также и подготовки новых изданий.

В рамках программы в апреле — мае 1988 года состоялась поездка агитбригады издательства в Республику Афганистан. В бригаду вошли: писатель Юрий Лощиц; заведующий редакцией ЖЗЛ, писатель Сергей Лыкошин и автор публикуемых записок.

Что же мы, писатели и издатели, хотели от поездки в Афганистан? Наверное, и Сергей Лыкошин и я без сомнений могли бы согласиться со словами Юрия Лощица, автора нескольких книг, вышедших в серии ЖЗЛ, сказанными в Кабуле политработнику штаба ограниченного контингента: «Стыдно как-то сидеть в Москве, когда знаешь, что где-то воюют и погибают твои соотечественники». Кроме того, конечно, был у каждого и свой интерес. И, в частности, мне хотелось уяснить для себя, кто же он, солдат — герой нашего времени, понять его, определить его жизненное кредо. В конце концов даже во времена застоя, когда дремала социальная мысль, когда любое проявление собственного, отличного от общепринятого мнения расценивалось как чуть ли не подрыв социализма, армия оставалась на своем боевом дежурстве, именно армия показала образцы героизма и самопожертвования во имя величайшей идеи — справедливого устройства мира на благо людей. Сейчас можно рассуждать, был ли ввод в Афганистан наших войск ошибочным или не был. Спорить, кем в принятии решения не были учтены все социально-политические аспекты обстановки в стране, живущей средневековым укладом, особенностями ислама и историческое прошлое Афганистана. Можно иметь и высказывать различные точки зрения на проблему, но нельзя не признать, что наши войска уходят из Афганистана, выполнив воинский долг, как и положено, с достоинством и честью. Это первое. И второе: если и суждено было свершиться исторической ошибке и имела место непродуманность в принятии решения, то армия к этому не причастна. Был приказ, а приказы согласно присяге выполняются беспрекословно.

Исторически сложилось — нет выше

доблести солдатской, нежели выполнить свой долг, даже ценою жизни. Со времен обороны Доростола *воями* Святослава и до взятия Берлина в 1945 году наш солдат исповедовал принципы: стремительность в наступлении, стойкость в обороне. И во все времена в первую очередь это не нравилось врагу. Цимисхий вряд ли приветствовал бы слова, сказанные Святославом перед Доростольской битвой: «Да не посраим земле Русские, но ляжем костьми, мертвыи срама не имам», ни, видимо, Гитлер — исторический приказ «Ни шагу назад». Александр Демаков в Афганистане подорвал себя гранатой, но не сдался врагу. «А стоило ли?» — спрашивает обыватель. Страшный вопрос, ибо ставит под сомнение подвиг. Пока существует опасность Родине извне, пока государству будет нужна армия она была и будет сильна Демаковыми, Чепиками, Аушевыми, но не теми, кто пытается рассуждать о правомочности приказа, подменять понятие воинского долга панегириками раскрепощенному шалопайству, пацифизму в примитивном понимании этого явления, я бы сказал, в извращенческом его понимании, да, именно в извращенческом. Но бог с ними.

И еще из этой поездки хотелось (тайное желание) привезти материал, который позволил бы по мере сил создать образ, подобный Хаджи-Мурату и Амалат-беку нашей классической литературы. Сразу скажу, что эту часть своего самозадания не выполнил. Может быть, и есть, точнее, были Хаджи-Мураты где-то рядом, да не пришлось о них даже услышать. С уважением говорят в Баграме наши солдаты об Ахмад-шахе, засевшем в долине Панджшера, но и он оказался не без грешка: когда ему было предложено занять пост министра обороны в правительстве народного единства — отказался, говорят, рассчитывает на большее. А расчет, личная выгода в таких делах, как единство народа, не самое положительное в характере героя. Этим отказом Ахмад-шах поставил себя в ряд с пешаварской семеркой. Не хочется ни творить из него романтического героя, ни унижать, пусть то или другое сделает его народ после нашего ухода. Все-таки народ во все времена был мудрее любых политиков. В этом нас убеждает история.



Самолет Ил-76, подлетая к Кабулу, вошел в вираж и стал резко снижаться. В салоне все дремали, то ли от усталости, вызванной предвылетной суетой в аэропорту, то ли от нервного напряжения — все-таки летели над горами, с которых бьют «стингерами» и «блоупайтами». Впрочем, скорее всего от усталости и убаюкивающего завывания самолетных двигателей. В тесноте, сидя на своих сумках, мы пытались вытянуть затекшие ноги, всматривались в лица офицеров и солдат и не находили в них ничего, что могло бы сказать о их героизме или просто необыкновенности. Офицеры как офицеры, солдаты как солдаты. Обычные люди. Устали, спят.

Внизу под полом салона неожиданно что-то хлопнуло раз, два и пошло хлопнуть сериями. Мы с тревогой переглянулись. И, словно почувствовав эту нашу тревогу или догадываясь, что мы здесь новички, покрутился, поежился, отходя от дремы, рядом сидящий солдат и с хрипотцой в голосе пояснил:

— Ракеты отстреливают, тепловые ловушки для «стингеров».

Сразу стало неуютно. Вот она — война, точнее, пока лишь предупредительные хлопки ее фейерверков.

Впрочем, Кабул впечатления фронтовой столицы не производил. Скорее это был город, в который ввели войска для поддержания порядка. То тут, то там появлялись вооруженные солдаты афганской армии, как мне показалось, несколько уставшие от жары и однообразной придорожной службы.

Разместились мы в пригостиничных «бочках» штаба ОК\*. Эти «бочки» — жилище для полярников и вахтовиков северных районов нашей страны — дали нам много поводов для шуток. Где бы мы в дальнейшем ни были, нам показывали руины «крепостей Македонского» (известно, что два тысячелетия назад великий полководец завоевал древнюю Бактрию), причем мы так и не поняли, чем же эти «крепости», разваленные временем и людьми, отличаются от обычных в этих краях караван-сараяв. Но уж коль скоро сам Македонский... То почему бы и нам было не заметить,

\* ОК — ограниченного контингента советских войск в РА, далее и везде эта аббревиатура.

что мы поселились в выпускающихся (эпоха НТР) серийным способом диогеновых бочках.

Был конец апреля, наши части готовились к выводу...

Немного удалось увидеть в эти первые дни пребывания на «горячей земле». Упросили хозяев отвезти нас в мотострелковый полк, расположенный на окраине Кабула. Хотелось встретиться с ребятами, уходившими «на боевые»\* под Алихель.

...Батальон готовился к выходу. БТР стояли навьюченные рюкзаками и ящиками с боезапасом, словно караванные верблюды. На броне жарились на солнцепеке солдаты в бронежилетах и касках, уже пропыленные всегда неожиданным и бешеным ветром афганцем, осоловевшие от жары и суеты. Ревели моторы, машины выстраивались в походную колонну, и, честно сказать, появилось вдруг чувство, что мы здесь лишние. Как бывают лишними ротозеи в любой деловой обстановке. Но нам показалось. Первое впечатление всегда обманчиво. Любой, с кем бы мы ни заговаривали, вдруг словно бы выпадал из защитного цвета массы бойцов, становился близким человеком, немного загадочным — один из героев! — и притягательным своим пониманием происходящего и здесь, и во всей стране.

— Так вы из Москвы? Что там, в Москве?

— Нормально. У вас здесь как? Что вы думаете о выводе? Как настроение солдат? И что это за Алихель?

И ответы, ответы. Как и наши вопросы — вразнобой, но с желанием разъяснить приедем обстановку, сказать свое слово о событиях в Афганистане, дать им свою оценку.

Под Алихелем, в ущелье, душманы зажали батальон афганских мотострелков. Им на выручку была послана наша рота. Но и она попала в окружение. Батальону поручено снять блокаду ущелья и вывести окруженные подразделения.

Они уходили на войну. Для нас непонятно-радостные то ли тем, что сменят наконец казарменную скуку на достойное дело, то ли от возбуждения, наступающего в предчувствии опас-

\* «На боевые» — местное сокращение термина «боевые действия»



ности. И мы, захваченные их настроением, чему-то радовались и с ними негодовали: надо, надо назвать тех, кто принял когда-то решение о вводе; разобратся сразу, а не через сорок лет, по чьей политической неспособности решить проблему мирным путем наши ребята должны были защищать будущее Афганистана под душманскими обстрелами. Более того, кто предал армию: всячески лакировал газетные сообщения о ее действиях, потом обвинял солдат — от рядовых до генералов — в недостаточной политической зрелости, а сейчас пытается найти объяснение своим ошибкам, не желает признать, что волюнтаризм решения принадлежит не только некоему Б. или С., но и тем, кто советовал, кто давал оценку ситуации в тогда еще «демократической» Республике Афганистан. Благодаря кому выросло поколение молодых афганцев, знающее лишь войну и умеющее лишь воевать. Кто же будет отстраивать эту страну глиняных развалин?

Позднее часто приходила в голову мысль: «мятежники», как их здесь называют, будут еще жалеть, что наши войска ушли: для них война. деньги; красивая, по их понятиям, жизнь в Пешаваре, обеспеченное будущее, а погиб, считай, с ходу — в рай.

Батальон выходил под Алихель, когда уже было принято решение о выводе. И что мог я сказать рядовому Жене Рассказову с Седьмой линии проспекта Гагарина из города Златоуста, уходившему на свои последние «боевые», ведь в мае — июне ему домой, на Родину... Второй раз под Алихель. Наверное, единственный в батальоне он шел туда вторично, а первый — в мае 1987 года. Единственный, он знал, каким будет путь, так как в прошлый выход видел, как ставили саперы мины в этом ущелье, заминированном еще и душманами. Но не единственный понимал, что эти мины «разминировать наши солдаты будут своими ногами». Женя уходил в приподнятом настроении: последний выход — и на Родину, на Урал. За службу «соскучился по лесу, надоели эти голые камни». Мне осталось только пожелать ему всего-всего... А когда мы шли к «уазику», пора было возвращаться в свои «бочки», он догнал меня:

— Земляк. возьми на память. Бак-

шиш\*... — и протянул свою в полинялом хлопчатобумажном чехле алюминиевую фляжку. Я храню и буду всю жизнь хранить эту солдатскую фляжку с надписью на чехле «Алихель».

## II

Порою завидую драматургам эпохи классицизма, стремившимся в своих пьесах соединить время, действие, место. То есть воссоздать действительность реальной в большей степени, нежели мы сейчас, во многом полагающиеся на условность. Вот и приступая к расшифровке своих блокнотных записей, не мог не вспомнить о литературных предках, таких докучливо подробных, драматизирующих самое что ни на есть обыденное: любовь, извечное стремление человека найти свое место в мире. Об этом же, помнится, подумал в Кандагаре, когда самолет, выписывавший над гарнизоном фигуры высшего пилотажа, неожиданно свалился на крыло и врезался в землю. Вначале было удивление: что это? Сбит или авария? А уж потом стало стыдно за себя: не все ли равно, авария или сбит — человек погиб! Наш, советский.

А может, жив?

В штабе начальник политотдела, не обратив никакого внимания на нас, кричал в телефонную трубку:

— А мне наплевать, есть у тебя люди или нет! Бери из столовой всех, кто там околачивается, из клуба, со складов! Летчика надо вынимать, понял? Ты понял?! Давай.

Он положил трубку и, словно оправдываясь за свою несдержанность, пояснил, кивнул в сторону телефона:

— Вот, понимаете, самолет упал в

---

\* Бакшиш, как известно, принятый на Востоке подарок покупателю, принесшему продавцу выгоду. Но среди наших военнослужащих в Афганистане это прямо-таки какой-то ритуальный подарок ставшему близким человеку. На память. И не просто подарок, но нечто вещественное, то, что останется в природе даже после смерти дарителя. Это заклинание памяти. Знак памяти. Зов памяти, который должен возвращать в прошлое — к неожиданной встрече, беседе, человеку.



районе банды, надо летчика спасать, а этот...

— Так пилот жив?

— Не знаю пока... — начпо пожал плечами. — Но надо идти, нельзя так оставлять.

**В** Афгане наши шли спасать своих, даже когда знали — люди погибли, потому что каждый солдат заслуживает своего возвращения на Родину, живой или мертвый. Там, под Кандагаром, мы познакомились с парнем, отказавшимся в четвертый (!!!) раз идти за своими по обстреливаемой «духами» площади. Отказался. В четвертый раз! Под пули, на смерть, рискуя жизнью ради погибших, их покойного полета на Родину в «черном тюльпане». Три раза ходил, на четвертый не выдержал, сорвался, отказался. Мы, гражданские, командированные в этот край на двадцать дней, оправдывали его, но ни один военный не согласился с нами, в лучшем случае ушли от ответа: мог или не мог, имеет право на отказ или нет? У бойцов есть свои законы, и один из них гласит: не имеет солдат права оставить погибшего друга на надругательства. И не оставляют.

Пожалуй, самое знаменитое место в Кандагаре — Черная площадь. Это на выезде из города в сторону Шинданда. Впрочем, площади как таковой нет: дорога среди «зеленки». Но особенность в том, что эта самая кандагарская «зеленка» подступает здесь к асфальту слишком близко, давая возможность «духам» расстреливать проезжающих по трассе в упор. БТР проносятся по дороге на предельной скорости. С ветерком. Но растут на Черной площади красивейшие розы. И эти розы, может быть, больше, нежели другие приметы поездки, дали мне представление о характере этой войны. Однажды, проезжая Черную площадь, мы заметили танк, который загнали в развалины дувала; рядом сидели танкисты и мирно обедали. Мы остановились, чтобы нарвать букеты. Продвигаясь от куста к кусту, складывали цветок к цветку. Мирным было небо, зелень; буднично наблюдали за нами солдаты. И ничего не говорило о том, что в кустах может таиться враг, пока один из нас в зарослях не наткнулся на кальян — произведение из бамбуковых трубочек,

предназначенное для курения чарса\*.

Офицер, сопровождавший нас, подхватив кальян, направился к бойцам:

— Кто курил?

— Что вы, товарищ старший лейтенант, мы вот пообедать остановились... Разве мы можем... — Наперебой возражали танкисты. И наш сопровождающий вдруг побледнел:

— Ну-ка, давайте кончать с розами... — Беспокойно осматриваясь, он передернул затвор автомата и повел стволом по кустам. — Все на БТР, уезжаем.

Тут и до нас дошло, что мы спугнули тех, кто поджидает обычно на Черной площади беспечных проезжающих, кто бьет из-за розовых кустов из гранатометов и автоматов по нашим машинам. Видимо, было их двое или трое, в одиночестве кальян не принято раскуривать, и, увидев нас, да еще прикрываемых танком и БТР, они сочли за лучшее заблаговременно ретироваться. А могли бы, обкуренные наркотиком, обстрелять, могли бросить гранату, да мало ли что могли... Но нам повезло. Здесь много, конечно, случайности. Но ведь повезло-то крупно. А кому-то могло бы и не повезти.

В это время мятежники Исмата, контролирующие дорогу от пакистанской границы до Кандагара (с каждой машины дань — 5000 афганей), прекратили борьбу против народной власти и соблюдали нейтралитет. И когда, проезжая по дороге рядом с бывшими бандитами, увешанными оружием, я видел их улыбки, мне вспоминались розы на Черной площади. Все-таки политика национального примирения поставила наших бойцов в неловкое положение, потому что каждый бандит смог появляться с оружием в городах и кишлаках. И применение оружия по отношению к нему возможно только при провокационных действиях с его стороны. А пока... Улыбайся в ответ и вспоминай розы Кандагара.

На Центральной главной площади города стоит памятник, посвященный борьбе за независимость в прошлом веке с англичанами. Помнится, вел с этой площади репортаж наш знаменитый телекомментатор. Как всегда, вертелись вокруг него бачата\*\*, был

\* Ч а р с — наркотик из конопли.

\*\* От «бача» — мальчик.



он как всегда спокоен, хотя говорил с придыханием, вызванным, видимо, необыкновенной радостью. Суть репортажа: видите, я стою посередине Кандагара, врут зарубежные агентства, что город взят душманами. Да, агентства врели, но ведь бои-то здесь шли нешуточные. Об этом долго будут напоминать развалины окраин. До сих пор не могу понять, зачем о серьезном говорить облегченно, упрощенно, ведь за кадром остались солдаты, перекрывшие подходы к площади, давшие речистому комментатору спокойно провести свой репортаж. Они не гордые, наши солдаты, они не спрашивают нас, журналистов и литераторов, приезжающих в Афганистан, почему так, почему полуправду? Они довольны тем, что есть. Но уж коль скоро мы говорим о них, то должны рядом с ними хоть немного стать смелее, не идти на поводу наших вышестоящих советчиков, помнить: мерило нашей работы — истина, ибо не инструкции функционеров от печати принесут солдаты в своей памяти домой, а свою правду, истинную правду, которая и станет историей этой войны. И не будут ли коллеги нашего телекомментатора сожалеть о том, что, кроме бравых его репортажей, нет у них материала для документальных фильмов? Думаю, будут, и, наверное, ему же станет стыдно, когда коллеги спросят: как же это вышло? Почему Александр Каверзнев мог, а ты — нет?

Где-то мне уже приходилось читать, что в Афганистане наши солдаты в большинстве своем несут службу на заставах и блоках. Застава — постоянное место дислокации подразделения, блоки выставляются вдоль дороги только днем, на ночь сворачиваются и уходят на те же заставы.

К сожалению, приезжающих корреспондентов из гражданских на боевые операции в Афганистане не брали, был, пожалуй, единственный случай, но мы о нем поговорим ниже, еще раз вернувшись к журналистской этике. В Кандагаре нам разрешили побывать на заставах «Мост», «ГСМ», «Гундиган» и поговорить с ребятами, стоящими на блоках.

К сожалению, на заставах «ГСМ» и «Гундиган» мне удалось побывать лишь мельком, хотя Сергей Лыкошин и Юрий Лошиц на «Гундигане» даже ночевали.

Мы разделились. Они, видимо, в свое время расскажут о впечатлениях подробнее. Что же запомнилось во время краткого там нахождения?..

«ГСМ». Цистерны бывшего здесь когда-то склада горюче-смазочных материалов, насквозь пробитые осколками и реактивными снарядами. Вид на «зеленку», оттуда стреляют постоянно, и туда идет ответная стрельба из «василька» — миномета. За заставой скала, и на ней какое-то капище, говорят, там в углублении скалы небольшой водоем, по повериям местных жителей — со святой водой. Но, несмотря на доступность, подняться к этому месту поклонения мусульман нельзя. Во-первых, вся скала минирована, а во-вторых, из «зеленки» излишне любопытного может снять снайпер. Что еще? Жилые помещения заставы, выложенные, как из кирпичей, из ящиков с землей. На одной из стен — автографы двух побывавших здесь знаменитостей. Напомнили «Киса и Ося здесь были» и почему-то Красноярские знаменитые Столбы, исписанные туристами. Впрочем, на заставе это сделано по просьбе самих бойцов: память о Родине.

«Гундиган». Из блокнота: «Напившись чаю, уезжаем с Сергеем Рыбниковым (замполит батальона, несущего службу на заставах.— Авт.) на заставу «Мост». «Гундиган» — холм, строения из камня, толстые стены, бьет «василек». Весь холм минирован еще «духами», только тропинки между помещениями и подходы к танкам и БТР отработаны саперами. Может, так и лучше. Спокойнее».

«Мост». Застава — штаб батальона, видимо, поэтому, а может, из-за удаления от основного массива «зеленки» здесь все-таки спокойнее, чем на «ГСМ» и «Гундиган», где вдоль дороги — завалы из битой техники. На «Мосту» мне посчастливилось подружиться с офицерами Иваном Гаврилюком, спокойным, трудолюбивым киевлянином, и Сергеем Рыбниковым, бесшабашным, но только с виду, любимцем батальона. Застава «Мост» — на реке, обычной в горах, — с широким руслом и протекающим посередине мелким ручейком, который разливается в пору таяния снежных шапок. В апреле это был ручеек. Поперек русла еще в семидесятые годы американцы построили канал с хитрой обводной подземной перемычкой. И эта перемычка отни-



мала много нервов у Гаврилюка: уж слишком часто находились желающие в этом месте искупаться, рискуя быть затянутыми уходящим под землю потоком.

В беседах с офицерами провел вечер и утро. И никак не мог выпытать ни одного героического эпизода их пребывания на этой земле. О доме, о семье рассказывать — пожалуйста. О себе? Гаврилюк: «Лучше вон о Рыбникове напиши, он на фугасе подлетал, а я что...» Сергей Рыбников: «Командир больше достоин, он, знаешь, какой...» И возникала заминка: неудобно человека в глаза хвалить. Так прошли и вечер, и утро. В разговорах о жизни, о Родине (забывшись, я начинал сам рассказывать о сути происходящего в стране), Сергей мастерски показывал фокусы, Иван как-то по-отечески молча наблюдал за нами. После завтрака пошли на рыбалку. Втроем посидели с удочками. И из всего нашего молчания (не спугнуть бы маринку) удалось лишь выудить немногословный рассказ Рыбникова о том, как он «подлетал». «Развертывались в атаку, я сидел на броне возле люка механика-водителя. Приказал ему выходить на колею и тут вдруг почувствовал: не то, не то делаю, только хотел остановить... Ничего не помню. Потом уже ребята откачали. Хорошо, без бронжилета был, кости бы переломал. Вот и все». И весь рассказ. У Сергея было два ордена, представлен к третьему. В Афганистане боевые награды офицерам зря не дают.

Коротенький эпизод, чей-то рассказ, в котором будет упомянут знакомый, может иногда помочь по-иному увидеть человека, понять его душу, его характер.

О Гаврилюке и Рыбникове мне пришлось в гарнизоне услышать от старшего сержанта Олега Соловьева, скромного симпатичного парня, случайно появившегося в комнате командира отряда агитации и пропаганды капитана Николая Табачкова. Николай рассказывал мне о негромкой работе своего подразделения, когда вошел с каким-то делом старший сержант.

— Соловьев! — Обрадовался Табачков. — Ты о героизме спрашивал, вот он — настоящий герой. К медали «За отвагу» представлен.

Сержант смутился и направился к двери, но тут в комнату вошел еще кто-то, и я, уловив минуту, догнал

сержанта в коридоре. Здесь мы и познакомились.

Итак, замкомвзвода старший сержант Олег Тимофеевич Соловьев, родом из поселка Азовское, что под Джанкоем, родители — рабочие. Рассказ его я записал пусть и кратко, но точно. Привожу его целиком.

«В прошлом году мы группой 16 человек с командиром капитаном Суриным выходили на три дня под Карзи-Суфла с задачей взять «языка» и по возможности добыть образцы вооружения. Выход был на трое суток с тем, чтобы сначала хорошенько осмотреться, потом приступить к выполнению задачи. Первая ночь прошла спокойно, а во время дневки мимо пустовавшего сарая, в котором мы устроились, ехали двое «духов» на велосипедах, ну мы и не утерпели — такая удача — ссадили их, только не учли, что будут искать. Вскоре душманы вышли на нашу группу. Завязался бой. Минут за пятнадцать-двадцать нас окружили. Да и куда бежать — кругом пустыня. Работаем. Закрепились, как в настоящей крепости. Рядовой Андрей Максимов передал в штаб, что окружены, и координаты. Командир принял решение — отсидеться до подхода своих, все в группе были хорошо вооружены, можно было потерпеть за стенами. «Духи» обложили нас крепко. Рядовой Караськин Василий из гранатомета уничтожил шесть «духов», Заиров Зафар — переводчик — прикрывал его из пулемета сверху. Так прошел день и вечер. А ночью мы поняли, что не продержаться, и решили вызвать огонь артиллерии на себя. Когда наши артиллеристы начали работать, у нас поднялась пыль, тут, в Афгане, вообще пыльно. Пользуясь пылью как прикрытием, командир с «языками» и большей частью группы ушли, а я, рядовые Мухин и Гусейнов остались прикрывать. «Духи» не знали, что основная часть группы ушла. И после второго артналета продолжали атаки. Мы повыкидывали в них все гранаты, минировали велосипеды и через пролом, в пыли, ушли вслед основной группе. Догнали своих, нас поставили в голову группы, и пошли на заставу афганских пехотинцев. Там готовился идти нам на выручку батальон Гаврилюка с усилением. Гаврилюк и Рыбников обня-



ли нас, расцеловали. Ну и все мы собрались и уехали к себе домой. Вот и все».

Потом уж мне сказали, что на глазах Ивана Гаврилюка были слезы. Вот в таких ситуациях и проявляется под защитным х/б человечность настоящих солдат. А к рассказу старшего сержанта Соловьева я бы добавил одно: никак не мог понять во все пребывание в Афганистане, по какой системе ребят представляют к наградам? Говорят, на местах виднее. Что ж, с точки зрения тех, кто награды не зарабатывает, но получает, кто не ждет их, а лишь кому-то выписывает, это правило, возможно, и справедливо, но мне ясно лишь одно, что сообщили кандагарцы: лучше парня к «Отваге» представить, да получит, чем послать документы на Красное Знамя или Красную Звезду, да кто-то там, в верхах, вычеркнет его из списков. Вообще проблема наград так и не была решена за все девять лет пребывания контингента в Афганистане. Не слишком ли это большой срок, чтобы, скажем, в Баграме летчики, имеющие по триста боевых вылетов на штурмовку, и через восемь месяцев после представления не могли получить и медали, (во время Великой Отечественной 120 вылетов — Герой)? С кого солдаты, прошедшие не бумажную войну волокиты, спросят, каким образом случилось так, что, воюя, награды они получали по инструкциям мирного времени? Да о чем это я? Полноте, полноте... Ведь среди нашей пишущей братии были такие, кто в свои краткие набегі в ограниченный контингент сумел «сделать» по паре-тройке наград.

Но еще раз вернемся ненадолго на заставу «Мост». Иван Гаврилюк готовил себе «салон». В кузове машины построили будку из досок и жести с кондиционером и холодильником. Это на вывод из Кандагара, чтобы, значит, комбат ехал с комфортом. Хорош комфорт, если уже тогда все в Кандагаре знали: до Кишкинахуда предполагается идти с боями.

— Иван, и ты поедешь в этом своем «салоне»? — спрашиваю.

— Не-ет... Там жить можно, но только в Союзе. Строю так — для важности. Сказали: строй. Строю\*.

---

\* Не пришлось Ивану Гаврилюку прокатиться в своем «салоне». Он обгорел, спасая водителя подбитого «духами» «наливника», попал в госпиталь.

А ведь в это же время пришел приказ готовить к эвакуации даже железные солдатские кровати. Кому-то в тылу, видимо, не хотелось решать вопрос с их завозом на места будущей дислокации частей. Скажи кому, что, рискуя жизнью, повезет железные кровати...

Впрочем, успокаивает в настоящее время то, что настанет время, и ждать его не так уж долго, верю в это, когда мы без обиняков дадим оценку действиям всех, кто был так или иначе связан с афганской войной.

Выше я уже говорил о капитане Табачкове Николае, командире Кандагарского отряда агитации и пропаганды, хотелось бы рассказать о нем и его отряде поподробнее, тем более что такие подразделения были в любом месте дислокации войск ограниченного контингента.

В чем же задачи отряда?

В идеологическом и политическом обеспечении военных мероприятий по стабилизации обстановки и оказанию материальной помощи местному населению, по закреплению народных органов власти и налаживанию хозяйственной жизни в кишлачной зоне. Это основное. А есть еще и спецработа на бандформирования с целью распропагандирования, практическая помощь в этом народной власти. И, думается, часть задачи не проще, нежели раздача матпомощи населению. А помощь немалая, отряд и командира его нечасто можно застать в гарнизоне прославленной Кандагарской бригады. Некоторые цифры. За март 1988 года местному населению было выдано:

300 тонн зерна  
ткани — 225 тысяч метров  
одеяла — 1821 штука  
сахар — 15 тонн  
чай — 330 килограммов  
обувь — 28 тысяч пар  
тетради — 75 тысяч штук и т. д.

Сетовал командир, что не все в этой помощи так, как хотелось бы. Обувь модельная, не пользующаяся спросом у местного населения. Не носят афганские женщины туфли на шпильках. Трикотаж, изделий из которого было роздано свыше 10 тысяч штук, тоже в Кандагаре, где уже в апреле было за сорок градусов в тени, не особо популярен. Тем, кто помощь готовил, и



их советникам, неплохо было бы об этом задуматься, прежде чем посылать. Лопаты ломались еще до того, как отряд заканчивал свою работу в каком-либо кишлаке, вилы... Вилами афганцы вообще не пользуются.

В последнее время отряд пропаганды и агитации работал в режимной зоне от Ареаны до подступов к Кандагарскому аэродрому с племенными батальонами.

Калантар-Калай — 300 солдат под командованием Абдулхакима. Все после встречи Наджибуллы и М. С. Горбачева в Ташкенте ушли из Пакистана и приняли правду правительства народного единства. В племенном батальоне всего двадцать человек грамотных, один в свое время учился в СССР, он-то, видимо, и сыграл немалую роль в принятии Абдулхакимом своего решения. Батальон входит в состав 2-го армейского корпуса афганской армии. Другой племенной батальон стоит возле заставы «Мост», командир — Ахмад Рашид. Мне вспомнилась какая-то беспорядочная пальба, когда мы были на рыбалке. Так и не поняли, по нас ли стреляют из виноградника, или просто балуются.

В племенных батальонах, подытоживает Николай, не хватает медицинских препаратов, да и врачей, ограничены боеприпасы. Командование армейского корпуса не может им доверять полностью.

Зная об июньских боях под Кандагаром, думаю сейчас: с кем они были, эти вольные стрелки племенных формирований?

Вообще местное население к появлению отряда относится бережно, если можно так сказать. Не было случая, чтобы отряд обстреляли. Обычно, как это было в кишлаке Малакучае, старики выходят навстречу отряду и предупреждают: к нам не ходите, помощи не хотим. Не говорят прямо — банда в кишлаке, но ведь предупреждают же! Значит, и для них работа отряда не без пользы, берегут!.. Бывало и по-другому: отряд работу закончит, уйдет, в кишлаке появляются бандиты и все забирают у дехкан. Так было в Мирбазаре, там «духи» избили старосту, запугали людей, отобрали продовольствие.

В то время, когда мы приехали в Кандагар, отряд вернулся из уезда Майванд. Работали в городе Кишкина-

худе. Оперативная группа отряда выезжала туда в количестве одиннадцати человек. Два офицера, два врача и звуковещательная группа. Оказывали матпомощь племенному полку Джабара. Заодно делали один-два выезда в день по кишлакам, контролируемым «духами». Нападений на отряд, как и прежде, не было, но бандиты постоянно шли за отрядом. Подходила, наблюдали за работой врачей, раздачей вещей и зерна. Может быть, увидев своими глазами, с чем пришли шурави, хоть что-то поймут. Николай Табачков на это сильно надеялся. Оправдываются ли его надежды после ухода из Афганистана нашего контингента? Мне он признался, когда из разведроты пришел в отряд, видеть не мог вооруженных людей в чалмах, но постепенно привык, а потом и понял: обычные люди, есть среди них разные — фанатики, любители разбоя, заблудшие, обиженные, есть и сторонники народной власти, но это — глубоко в душе, законы племенные здесь превыше всего. А если уж племя решит... То может сложиться такой отряд, как у Джабара.

Джабар — один из девяти Героев Афганистана (в живых их осталось двое). Ему двадцать шесть лет, жена и ребенок командира погибли от рук бандитов. Джабар мало доверяет своим заместителям, считает, что в армии должно быть единоначалие. Несколько лет назад в пустыне полк перехватил караван из Пакистана, было захвачено оружие и деньги, много денег — 3 миллиарда афганей. Это позволяет Джабару платить своим солдатам в два раза больше, чем платят по всей народной армии (14000 афганей против 7000). Деньги дали возможность постоянно иметь шестьсот стволов, боевых, верных, среди которых и «кровники», особо преданные народной власти. Племенной полк контролирует город Кишкинахуд, там можно ходить без оружия, хотя бывают обстрелы «эрэсами», но редко.

Джабар, впрочем, не очень уверен, что удержит город после ухода из провинции наших частей. Говорит, уйдет в «зеленку». Как-то сложится судьба Джабара? Николай Табачков надеется на лучшее, но признался: иногда бывает чувство, будто предаешь друга. Думаю, это по-максималистски: свой долг на земле Афганистана он выпол-



нил с честью. О работе его отряда долго еще будут здесь вспоминать добром, ведь отряд одел и накормил сотни, тысячи людей и... не сделал ни одного выстрела. Для боевой, воюющей части это не заслуга, а для отряда пропаганды — честь и слава!

Мы покидали Кандагар, думая о всех тех, кто там оставался. О всех, с кем повстречались и подружились. И о тех, кто останется, — бойцах народной армии и верных центральной власти племенных соединений. О тех афганских летчиках, что при нас уже получали письма от бандитов с угрозами расправы после ухода шурави, о Джабаре, потерявшем в борьбе жену и детей и полюбившем революцию.

До Баграма из Кабула, после недолгого отдыха в ставших родными «бочках», добирались на БТР от знакомого уже мотострелкового полка на окраине столицы.

Думаю, непростительно было бы не сказать несколько слов о БТР-80, на которых пришлось преодолеть не одну сотню километров. Удачной была замена на БТР двух двигателей внутреннего сгорания на один мощный — дизельный. Машина быстро набирает скорость, имеет мягкий ход, даже на пересеченной местности. Просторная внутри, правда, ни разу мы не ездили в «салоне» машины, виной тому — минная обстановка на дорогах. Как говорят наши солдаты, «подлетать» лучше с брони, нежели быть убитым осколками обшивки БТР внутри машины. А потому в машине обычно находятся лишь механик-водитель и стрелок, все пассажиры или десант располагаются на броне. Причем безопаснее всего сидеть на запасном колесе, «запаске». Местные правила хорошего тона закрепляют это место за самыми почетными гостями. Поскольку у меня был с собой фотоаппарат, я облюбовал место на «ресничке» — откидной броневой заслонке передних окошек. А научил этому тот же Сергей Рыбников, «подлетавший» на фугасе, в его опыт верилось без возражения. Ему же я однажды задал вопрос, зачем вообще нужна верхняя броня БТР, если уж «лететь», то всем — и механику-водителю, и стрелку, может, имеет смысл оставить только боковую, защищающую от автоматных очередей? Сер-

гей лишь пожал плечами. Оказывается, он уже думал об этом и даже набросал схему расположения кресла водителя и его защиты при подрыве, но эта схема никого не заинтересовала: война кончается, сказали изобретателю, чего тут думать. Резонно было бы спросить этих равнодушных людей: война кончается, да, согласен, но для чего тогда вообще строить боевые машины? Или на предполагаемых театрах военных действий мин не будет?

Итак, мы выехали с окраины Кабула и по отличной асфальтированной трассе поехали в сторону Родины. На север. Эта трасса идет по Чарикарской долине, оставляя в стороне Баграм, минует город Чарикар и далее, через Саланг, пятикилометровый тоннель (в преддверии вывода о тоннеле говорили: игольное ушко, через которое должна пройти стотысячная армия) — к мосту Дружбы и границе СССР. Но нас интересовал пока лишь Баграм, аэродром, летчики которого в свое время первыми поддержали Саурскую революцию и, по возможности, перевал Саланг.

Не могу не вспомнить, как остановились по пути на заставе, которой командовал старший лейтенант Ожгибесов. Нас пригласили пообедать. В столовой, украшенной самодельными изразцами, было тесновато, и, чтобы не стеснять офицеров, ждущих очереди у стола, быстро управившись с яствами, предложенными гостеприимными хозяевами, я вышел на воздух. Присел на скамейку, закурил. Подошли солдаты, мы разговорились. «В Афгане» первый вопрос любого нового знакомого: вы откуда? Ищут здесь земляков. Узнать, что нового дома? Просто поговорить о приятном, а что может быть лучше слов о родном? Неожиданно взгляд привлекла стенная газета, называвшаяся уж не помню как, да и содержания обычного для таких маленьких застав: как прошло дежурство на минувшей неделе, кто отличился, кто нарушил устав как в части его, касающейся распорядка, так и дисциплины вообще. Поразило вот что: под названием был подзаголовок: «Орган печати старшего лейтенанта Ожгибесова». Подумалось, что хотя бы здесь — с юмором и честно. В конце концов любой наш популярный журнал сейчас во многом зависит от взглядов главного редактора на события в стране,



литературу, проблемы дня, но, поскольку эти издания — органы печати ЦК КПСС, создается парадоксальная ситуация, о которой уже говорилось на XIX партийной конференции: в печати процветает групповщина. Между тем как целью работы главного редактора должно быть одно: польза государства, созидательность, а мерилom оценок — его партийная совесть. И еще, это уже к вопросу о том, что нам пытаются внедрить в сознание некоторые «информационные агентства» и их адепты в стране: мы якобы бежим (???) из Афганистана. Солдат, который и на войне умеет шутить, «бегать» вряд ли научится. Не умел раньше, и сейчас не научился.

И опять дорога. Недолгая в общем-то, но, только проехав по ней, задумаешься и о заброшенных полях — минированы, и о том, как достается здесь хлеб, достаточно увидеть маленькие, похожие на заплаты чеки и ковыряющихся в них дехкан с лопатами.

Поворот на Баграм, и пыль, пыль... Грунтовка. На этой грунтовке время от времени появляются мины, потому наши саперы с утра проходят дорогу от гарнизона до асфальтированной трассы, на всякий случай.

Вся долины реки Чарикар разделена тремя бандами на сферы влияния. Бандиты берут дань с дехкан и шоферов — владельцев грузовых машин, проезжающих по трассе, бывает, что и безжалостно грабят. Это для них проще. Потому-то появились в долине отряды самообороны. Проезжая мимо кишлаков, видишь сидящих на обочине дороги вооруженных людей. Они могут, приветствуя, помахать рукой, улыбнуться.ловишь себя на мысли: свои. Обстановка накаляется, когда появляется в долине «бесхозная» банда, иначе не назовешь. Горят «наливники» на трассе, фугасами минируются обочины дороги (на асфальте минирование слишком заметно), часты нападения на боевые машины, как случилось после нашего отъезда, когда была обстреляна группа работников газеты «Известия».

«Свои, чарикарские, банды ведут себя, в общем, тихо, знают: ответ на их действия последует незамедлительно. Есть в долине Красный дуكان. Дуكانщик связан с душманами. Найдена ли мина на грунтовке, обстреляна ли наша застава, через дуكانщика выяс-

няется, кто ответствен: «свои» или пришлые? Душманы предупреждаются о том, что любому терпению приходит конец (вспомним «Иду на вы»), и случается, местные «духи», дабы их не тронули, выясняют отношения с залетными. Что и говорить, обстановка сложная. А между тем внешне Чарикарская долина — рай для земледельца. Подземные средневековые водоводы — кяризы, река и канал — это уже много для Афганистана. Ухоженные поля, сад... — долина, которую грабят банды, в которой нескончаемы междоусобицы, могла быть и, наверняка, еще будет украшением афганской земли, такой скупой на жизнь.

В первые дни нашего пребывания в Баграме мы вновь разделились. Мои спутники остановились на пятой заставе (видимо, из-за отсутствия ярких примет в долине, заставы вдоль дороги здесь идут под номерами), я же с замполитом полка попытался добраться до «игольного ушка» перевала Саланг — тоннеля. К сожалению, это не удалось. Буквально несколько километров мы не дотянули до него. Но поездка, несмотря на неудачу, подарила встречу с интереснейшим человеком, комбатом, подполковником Абрамовым Александром Ивановичем, на заставу которого в кишлаке Баги-Майдан заехали на обратном пути. Пишу о нем, а в памяти — Максим Максимыч из лермонтовского «Героя нашего времени». Только вот Печорина рядом с Александром Ивановичем не было. Сам он с виду рачительный крестьянин, но, отнюдь не военный человек, напоив нас, продрогших в ущелье, чаем, повел по территории своего хозяйства. Конечно, мы мало поездили по частям, может, где-то и лучше, но то, что есть у Абрамова, редко можно увидеть. У него минометные гнезда соединялись подземными ходами сообщений. Освещенными внутри!

— А что, — смущался хозяин наших восторгов. — У «духов» кяризы, а мы хуже? Построили вот.

«А ведь он очень любит своих солдат, — подумалось. — Не любил — не строил бы...» Действительно о своих бойцах комбат говорил с восхищением.

— Мы тут на «бээрдээмке» «василек» установили, получилась такая передвижная минометная точка. А на днях был обстрел. Сидим в подземелье,



слышу: наш миномет отвечает, а ведь приказал: никому не высываться. Бегу к «бээрдээмке», а они, бойцы-то мои, привязали к спусковой ручке веревку, сами внутри машины, за броней, и за веревку дергают. У «василька» кассета с шестью снарядами. Шесть раз стрельнут, только затишье — кассету заменят, и опять дергают. Вот же ж, молодцы!

— Но ведь пока меняют, тоже опасно.

— Конечно опасно, только здесь не прогулка по Арбату — война. У нас во время того обстрела Наташке палец на левой ноге оторвало. — И вдруг забеспокоился. — А где у нас Наташка, ну-ка несите ее сюда! Халиков, Халиков! Где Наташка?

Прибежал запыхавшийся прапорщик с курицей в руках.

— Да вот она, гуляет, товарищ подполковник.

— Ага, — Абрамов бережно принял курицу из рук прапорщика.

— Вот видите, оторвало во время минометного обстрела. А курица... Цены ей нет. Без петуха несется. Нам на Новый год десять яиц подарила, торт сделали на всю заставу... — Он зашел в курилку и опустил курицу в стоящий в углу ящик. — Здесь вот она и живет. Смелая, во время обстрелов разгуливает по территории как ни в чем не бывало. Я уж думал, глухая, нет, слышит, только крикни: цып-цып-цып!

В курилку, укрытую маскировочной сетью, зашли две собаки.

— А! — обрадовался наш гостеприимный хозяин. — Вот они, хулиганки, повадились, понимаете, яйца у Наташки таскать. Только снесет — они тут как тут. Боремся с ними всем личным составом. И коза у нас есть — Изольда. Молоко-то козье солдату полезное. Да, а еще обезьян был, серый макак, Яшкой звали. Куряка заядлый. Утром вся застава на физзарядку, а он — в курилку. К женщинам имел особое чувство. Военторг приедет, он вокруг продавщиц вертится: заигрывает. Настоящий мужик. Погиб. Во время обстрела запутался в проволоке. Солдаты его любили.

Абрамов загрустил...

— А как к вам кишлачные относятся? — спросил я, чтобы сменить невеселую тему.

— Да, — он махнул рукой. — Вон у них наблюдательные пункты. Располо-

жились по обе стороны заставы, думают, не вижу. А там, — он показал на прилепившееся к камням, словно ласточкино гнездо, строение на противоположной стороне ущелья, — там у них крупнокалиберный пулемет.

— Но ведь, — удивился я, — они вас...

— Ничего... Мы их при первом же выстреле с этой скалы снесем. А так — пусть сидят, может, им так спокойнее.

Провожая нас к БРДМ, комбат остановился возле недостроенной эстакады для загрузки машин и как-то грустно заметил:

— Да, почти отстроились... Еще бы год мне, я б тут такое...

— Так, Александр Иванович, может, действительно стоило обойтись без вывода, остаться еще лет на пять-десять?

— Нет уж, — Абрамов снял кепи. — Пора домой.

Эта встреча хоть как-то компенсировала неудачу поездки. К сожалению, сопровождал меня в ней человек наверняка добрый, отзывчивый, но слишком уж он старался помочь. Если приходилось заговорить с солдатом или офицером, предвосхищал ответ. Два месяца прослужив на афганской земле, он все уже знал, обо всем имел мнение.

Мне вспомнился его коллега из Кандагара. Целый день мы слушали его оценки событий в Афганистане, прогнозы на вывод и тому подобное. И только поговорив с ребятами на заставах, в боевых батальонах, поняли всю никчемность слов нашего лектора. Какими будут эти добровольные помощники и лекторы на Родине и что они скажут родным и близким, народу о войне? Или все-таки успеют познать то, что боевой офицер постигает в первые же дни своего пребывания в воюющей части?

Выше я уже говорил о системе награждения летчиков, об этом у нас зашел разговор в домике боевого дежурства полка «грачей» с двумя дежурными пилотами. Молодые ребята, может быть, они излишне погорячились в оценке действий тех, кто несет ответственность за волокиту с наградами. Но не за себя ратовали. Говорили о своих боевых товарищах, у которых по триста



боевых вылетов на штурмовку и ни одной награды.

В апреле 1988 года в полку «грачей» за каждые сто вылетов пилот получал сделанный руками заместителя командира полка вымпел (!) и тельняшку (!!!), потому что тельняшки были острейшим дефицитом. Как гражданский человек, может быть, и я что-то не понимаю, тогда извините. Но согласитесь, дорогие товарищи, если пилот героически выполняет свою работу, пахарь обрабатывает свое поле, сталевар льет высококачественную сталь, они должны быть отмечены? Должны?

«Грачи» — полк штурмовиков, имеющих потолок полета 8 тысяч метров, но поскольку душманы вооружены самыми современными комплексами ПЗРК «стингер» и «блоупайт», летчикам приходится практически достигать потолка 12 тысяч метров (!!!). А ведь в комплект самолета не входит высотно-компенсирующий костюм. Летают как на заре реактивной авиации — ЗШ, ВК, кислородная маска. «Как же вы работаете на высоте?» — спросил офицера Зайцева. «Так и работаем, — ответил летчик. — Поначалу трудно было, все тело будто бы вспухало, а потом привыкли». Сколько же еще будут летчики «привыкать»?

Для иллюстрации условий их работы приведу один рапорт, переписал его почти дословно, упуская некоторые технические подробности:

#### РАПОРТ

Докладываю, что при выполнении боевого вылета по разведывательно-ударным действиям получил боевое повреждение хвостовой части самолета.

Обстоятельства: цель была дана в воздухе при подходе к району боевых действий. После обнаружения произвел атаку цели парой с БК-200<sup>0</sup>, от своих войск. После вывода самолета из пикирования на высоте 5500 м выполнил противоракетный маневр влево. При пересечении эшелона 6700 м почувствовал удар в хвостовую часть самолета. Посмотрел в перископ и увидел белый шлейф дыма. На ручке управления появилось незначительное усилие в продольном управлении, отказал триммер руля высоты. Запросил у ведомого о повреждении самолета. После подтверждения поражения хвостовой части доложил о повреждении и о следовании на свой аэродром. Выполнил выход на

аэродром, снижение, выпуск шасси, заход и посадку. Посадку произвел без выпуска механизации и тормозных щитков, т. к. давление в гидросистеме было «ноль», без выпуска тормозного парашюта, т. к. его уже не было (по докладу ведомого). При выкатывании с полосы выключил двигатели и направил самолет в центр АТУ. Самолет остановился в районе дороги за минным полем.

Командир звена к-н Емельянов.

За скупыми строками рапорта остались тревога за жизнь самолета, холодный расчет летчика, не поддавшегося панике, и умелые действия его ведомого ст. лейтенанта Калиниченко, прикрывавшего командира все время возвращения на базу, рискуя получить такую же ракету в свой штурмовик.

В апреле шел восьмой месяц, как были отправлены первые наградные документы. Сейчас мне могут возразить: сыр-бор разводить нечего, все свое получили. Да ведь дело-то даже и не в наградах, а в невнимании, за которое и нам, казалось бы, посторонним людям, было стыдно. Из-за такой волокиты можно почувствовать себя в чужой стране, в боевой обстановке брошенным всеми теми, кто остался там, за спиной, на севере, на РОДИНЕ.

Три дня нашего пребывания в Баграме истекли. Чтобы не выбиться из графика, нужно было возвращаться в Кабул. И вылетать в Джелалабад. И, как всегда, в последний день перед самой отправкой, когда ждали уже БТР, случилось непредвиденное: очередная «залетная» банда обстреляла на дороге колонну, сгорели два «наливника». Командование гарнизоном ни в какую не соглашалось на наш отъезд, так сказать, сухопутным способом, нужно было ждать ночи и рассчитывать, что будет самолет на Кабул.

Думаю, в Афганистане время, которым по той или иной причине одаривает судьба, все без исключения — полезное время. Ожидая самолет, мы побывали в полку Героя Советского Союза подполковника Востротина Валерия Александровича. Задали ему несколько вопросов о проблемах, которые встают перед командованием полка и личным составом в связи с выводом, побывали в полковом музее, который десантники уже начали готовить к эвакуации. И,



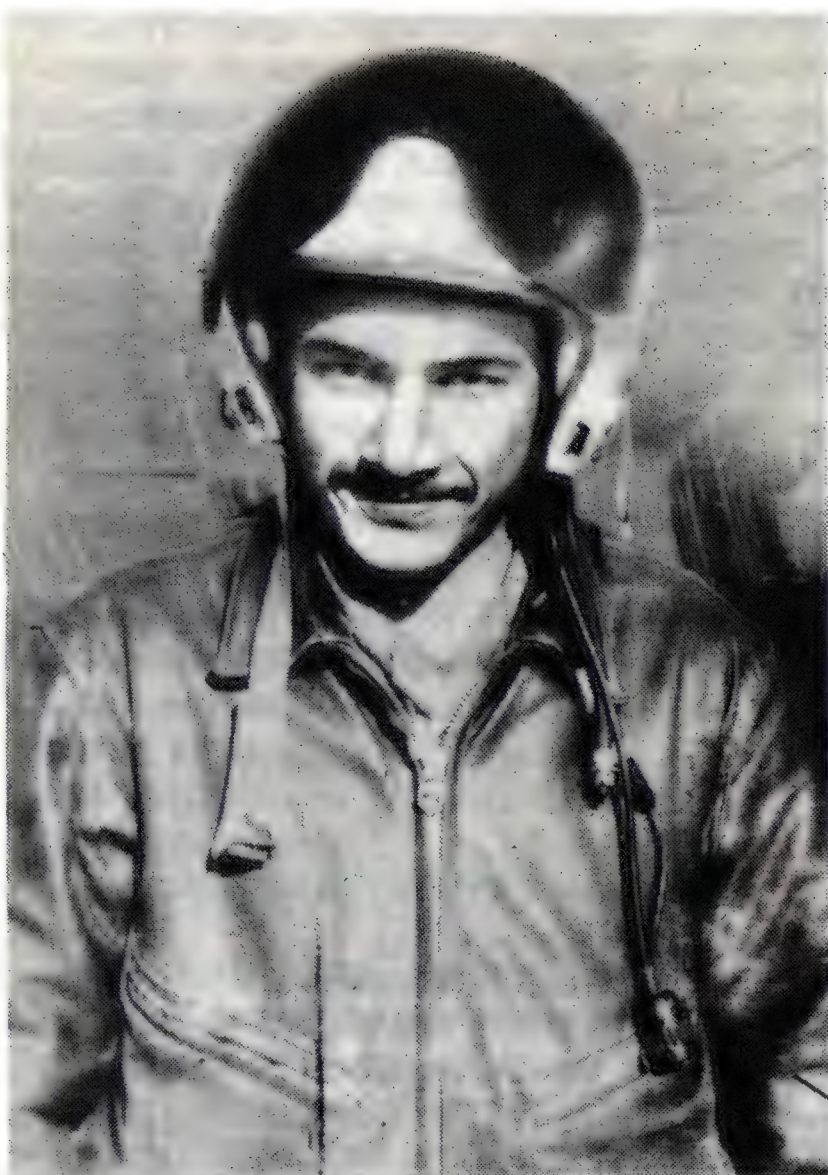
вернувшись в штаб полка «грачей», столкнулись и успели как-то неожиданно быстро подружиться с начальником политотдела подполковником Провоторовым Петром Матвеевичем. С ним и встретили вечер. Памятный вечер 26 апреля, дня Саурской революции. Памятен нам этот вечер еще и потому, что из-за неожиданной стрельбы ракетницами и трассирующими пулями с застав афганской революционной армии мы задержались с вылетом часа на три. Это был салют в честь революции, переживающей решающие судьбу дни — быть или не быть. Думаю, увидев такой салют, враги революции могли бы усомниться в своих самоуверенных прогнозах. Кстати, в тот же вечер мы говорили с Петром Матвеевичем о боеспособности афганских войск, о том, сложилось ли боевое братство двух армий за прошедшие годы. Как иллюстрацию своего ответа Петр Матвеевич подарил мне «молнию», выпущенную в полку 12 апреля 1988 года, за две недели до нашего приезда.

### МОЛНИЯ

8 апреля 1988 года после завершения боевого вылета самолет, пилотируемый афганским военным летчиком старшим лейтенантом Ахмет Шах Сапэй, получил повреждения от огневого воздействия мятежников. Самолет, заходящий на посадку, загорелся. Летчик получил команду катапультироваться, но, видя, что истребитель может упасть на стоянку 2-й авиационной эскадрильи, где готовилась к боевому вылету авиационная техника и где были братья по оружию — советские авиаторы, верный воинскому и интернациональному долгу, ст. л-т Ахмет Шах Сапэй, преодолев страх перед, смертью, отвернул истребитель в сторону, ценою своей жизни спас советских воинов от верной гибели, совершив бессмертный подвиг, олицетворяющий преданность афганских летчиков советско-афганской дружбе, боевому содружеству в борьбе за светлое будущее своей родины — Республики Афганистан.

Воины-авиаторы! Возьмите в пример подвиг афганского военного летчика, ст. лейтенанта Ахмет Шах Сапэя, достойного сына своей родины!

Ратным трудом крепите боевое содружество с авиаторами Республики Афганистан!



---

Справка: старший лейтенант Ахмет Шах Сапэй, 1965 года рождения, закончил летное военное училище в Советском Союзе, выполнил 245 боевых вылетов, имел налет 345 часов. Награжден медалью «За охрану воздушных рубежей Республики Афганистан».

---

Более десяти лет назад военные летчики Баграмского афганского полка первыми поддержали Саурскую революцию. И до конца остаются ей верны.

Кончился стихийный салют в честь революции, мы пошли на посадку. Разогретые солнцем, бетонные плиты дышали жаром. Медово пахло цветущей акацией и контрастно — керосином. Я представил, как через несколько минут, вкручиваясь в звездную высь, транспортник унесет нас от ставших близкими людей, и стало грустно. И только, словно жилка у виска, билось: а небо у нас общее, общее небо...

Самолет пробежал по бетонке и, резко задрав нос, пошел на взлет. В салоне было темно, в Афганистане летают ночью без бортовых аэронавигационных огней и света, чтобы не демаскировать



самолет. Внизу оставалась древняя плодородная Чарикарская долина, выкормившая поколения людей, аэродром Баграм и люди, люди, — тысячи людей, обрабатывающих поля, воюющих друг с другом — врагов и друзей. И среди них на заставе, что расположена в труднодоступном районе на горе Сиахкох (отметка по карте: высота 1762 м), тот, с кем я хотел и не смог встретиться, лишь сумел сказать несколько ничего не значащих слов по связи — рядовой Юрий Югов. Мой племянник — родная кровь среди безрадостной горной пустыни. Нас разделяла дорога, горы, мины и душманы. Но небо у нас оставалось общее.

### III

За полями наших писаний порою пропадают многие подробности жизни, быта наших солдат и офицеров, остаются бои, смертельные и упорные, раны, кровь, мины и все те атрибуты войны, которые обрамляют портреты героев очерков и репортажей. Но ведь есть и гарнизонная скука, когда жара превышает сорок градусов в тени, когда пыль, словно вода, и ноги утопают в ней по щиколотку, а если еще и задувает афганец...

Есть радостное, домашнее чувство покоя, когда после побуревших, обугленных солнцем и взрывами скал солдаты, вернувшиеся с боевой операции, отдыхают на травке, тихо переговариваясь. Вспоминают Родину, отца, мать, друзей и любимых. И есть баня. Куда бы мы ни приезжали, везде в первую очередь нам показывали и предлагали баню. Несмотря на изматывающую жару, баня в частях остается, по словам Сергея Рыбникова, «единственной радостью в этом аду». И строят бани на удивление... И уж без ложного стеснения, нам эти бани пришлись по вкусу. Первой была баня в кандагарском отряде агитации и пропаганды, которым командовал Николай Табачков. Его старшина — Левенцов Михаил Никифорович — выстроил русскую парную с душевым отделением, комнатой отдыха и бассейном, небольшим, но достаточным, чтобы там могли поплавать все парящиеся.

— Никифорыч, а как вы воду в бассейне меняете? — спросили старшину.

— Да очень просто. Дно-то бетонное, сами раствор заливали. Брошу грана-

ту — в дне трещина. Вода уходит в землю, опять трещину растворчиком залью, он у нас быстро схватывается, и запускаю чистую воду. Вся механика.

Хозяйственный человек Никифорович. У него при отряде в ПХЗ есть куры, кролики, огородик небольшой. Запрещено у афганцев овощи покупать, есть опасность инфекционных болезней, так он на огорожке выращивает и лук, и чеснок, и помидоры даже.

А после бани у Никифоровича — квас, холодный, как старшина пояснил: «Прямо из-под кондиционера».

С этой первой баней, которую мы узнали в Афганистане, мы потом и сравнивали все остальные. Были в нашей коллекции и выложенная кафелем в кабульском полку, и закопченные, «по-черному», на маленьких заставах, но не забыть баню управления на джелалабадском аэродроме, которую по имени основателя называли «бачила».

Джелалабад — зона дачная. Субтропики. Пальмы, кактусы, эвкалипты. Самое примечательное в джелалабадской бане — эвкалиптовые веники, от которых в парной стоит кружащий голову сладкий дух. Парят они, словно поглаживают кожу благоуханным жарким пламенем. Длинными языками пламени — листья-то у эвкалипта продолговатые. Не обжигающего, а ласкающего пламени. А потом — в пруд, выкопанный под открытым небом и наполняющийся подземными водами. Чистейшими, теми, из которых берут исток все родники земли. Подкрашенная купоросом, вода в пруду, окруженном тропическими деревьями, словно голубой кристалл в изумрудной оправе. И, распаренный, падаешь с мостков в воду, вспоминая казавшиеся преувеличенными описания восточного сада удовольствий.

Ну и самое впечатляющее и в этой, и других джелалабадских банях то, что они и для высокопоставленных деятелей Саурской революции, для генералов и офицеров нашей армии, для почетных гостей всех рангов — от журналиста до работника аппарата ЦК, и для простых солдат, тех, кто несет основную тяжесть войны. Наверное, так и должно быть, потому что война по своей сути



кроваво демократична: перед лицом опасности, смерти равны все. Только на войне может существовать настоящее равенство и братство, спаянное общей долей. Хотя, конечно, есть и другая сторона медали, на которой выбито: для кого война, а для кого — мать родная. Были такие типы во всю историю войн, и в Великую Отечественную, видимо, их клан вечен, как вечно разделение — одни воюют, другие отсиживаются. Одни работают во благо Отечества, другие на заседаниях решают, как этим трудящимся работать.

\* \* \*

В конце апреля — начале мая из Асадабада был выведен в Желалабад батальон, и нам, естественно, захотелось поговорить с ребятами, которые первыми прочувствовали, что такое уходить с обжитых застав, оставляя за спиной многолетнюю душманскую злобу, их угрозы, подкрепленные современным вооружением.

Вышли без потерь.

На окраине гарнизона Желалабадской мотострелковой бригады стояли рядами танки и БМП. Экипажи, устроив навесы из одеял, промывали, чистили каждую деталь двигателей, которые должны были надежно, безаварийно отработать все километры до Кабула, а затем и до границы Родины. Желалабад выходил из Афганистана первым.

Когда идет напряженная работа уставших после труднейшего перехода людей да еще на горячей земле под горячим солнцем, здесь не до ответов на вопросы любопытных корреспондентов. Что же такое Асадабад и его защитники? Небольшой городок рядом с пакистанской границей. Заставы на горах, батальон, расположившийся возле города; батальон, закопавшийся в землю, надежно, надолго. О надежности говорит хотя бы такой факт: 17 января 1988 года по территории батальона душманами было выпущено 1900 реактивных снарядов. Среди личного состава не было даже раненых. Ребята обстрелянные, опытные бойцы. В районе Мангваль бандиты применили «Милан» (ПТУРЫ нового поколения), но и там не было потерь ни в технике, ни среди солдат.

Как нам сообщил прапорщик Нико-

лай Петрович Татъянин, среди рядового состава есть те, кому пора уезжать домой, свое отслужили, но они подали рапорты, чтобы их оставили на вывод, поскольку вновь прибывшие механики-водители боевой техники неопытны. Остаются Геннадий Виноградов, Нуринбай Баймагомбетов и другие.

У Виноградова, парня немногословного, явно знающего себе цену, спрашиваю, что бы он пожелал себе и своим товарищам.

Николай отложил в сторону какую-то деталь, до блеска отполированную ветошью, искоса с усталой усмешкой посмотрел на меня, как на человека, который в жизни чего-то важного еще не понял, и ответил:

— Чтобы все ребята были живы-здоровы.

Много потом мне приходилось слышать и читать бодрых и неискренних ответов на подобные моему вопросы, но такого взвешенного, мудрого я нигде не услышал.

Николай же (ох уж это наше стремление испытать человека на «клюкве») в ответ на вопрос, что он думает о «дедовщине» в армии вообще и здесь, в Афганистане, в частности, рассказал историю из своего начального военного опыта.

— Там, в Асадабаде, в один из первых моих выходов в горы, когда несешь на себе килограммов пятьдесят-шестьдесят боезапаса и прочей амуниции, на подъеме, еще не привыкший к разреженному воздуху, да и не такой уж богатырь, я, что называется, «сдох». Один из «стариков» взвалил на себя мой рюкзачок, полный железа, и... В общем, он нес на себе сотню килограммов или даже больше, а меня подталкивали в спину друзья, чтобы не отставал. Вот так. Как вы думаете, что сказал и как по-отцовски учил меня этот «старик» потом, после выхода? Может быть, он превысил свои полномочия, но я ему простил. Горы отставших не любят, отстал от своих, считай — труп. Так что...

Желалабадцы вышли на Родину самыми первыми — в мае. Уже дома я смотрел по телевизору, как шли через мост Дружбы боевые колонны, как с цветами встречали их жители Термеза. И среди прибывших на родную землю увидел вдруг знакомое лицо — майор Владимир Федорович Воробьев, комбат,



десантник, кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды.

Мы встретились у десантников. Нас познакомил замполит батальона майор Владимир Иванович Клоков. И поначалу меня не покидало чувство: мы мешаем Воробьеву. Нагрянули, пытаем вопросами, на которые следовали немногословные ответы.

— Мы свой долг выполнили на сто процентов. С честью.

...Среди решавшихся задач — глубинная разведка и диверсии в тылах душманов, чтобы не допустить провоза боеприпасов по караванным тропам в глубь страны.

...Были и потери. Но если даже и героически погиб боец, то все равно надо искать чью-то ошибку. Если операция подготовлена на должном профессиональном уровне, все будут живы и здоровы. Но не всегда так бывает. Командиры тоже люди.

Поражала прямота его суждений, их категоричность, так не укладывающаяся в наши представления о подвиге. Как же совместить подвиг и чью-то ошибку, самопожертвование и чью-то почти преступную самоуверенность?

— Война вся состоит из уроков правды. Правды, которая будет всегда в памяти нашей и совести.— Он достал из папки письма.— Вот пишут матери погибших ребят — старшего лейтенанта Саши Педько, сержанта Сергея Янковского, рядового Алексея Лобанова — желают нам счастья, здоровья, удачного и скорого возвращения на Родину. Но ведь я понимаю: пожелания эти омыты их слезами. Как же может командир спать спокойно. Проигрываешь в уме прошедшую операцию и думаешь: вот здесь надо было бы так, и тут могло быть иначе...

— Но ведь человеку свойственно ошибаться? Вы же говорите: командиры тоже люди...

— Да, люди, но другим прощу, себе — нет, никогда, иначе с меня погоня надо снимать, сам сниму.

Наверное, многие офицеры, вернувшиеся оттуда, думают так же, иначе не ценили бы их в армии за справедливую требовательность, ибо эта порою жесткая (не жестокая) требовательность основывается прежде всего на заботе о солдате. От выучки бойца, физической и моральной подготовки зависит жизнь его, эта аксиома порою непонятна некоторым родителям, получающим полные

жалоб на офицеров письма своих рафинированных чад из внутренних мирных гарнизонов и тут же начинающим порочить армию. Никто из горе-родителей не задумается: а если бы сын попал в Афганистан, на настоящую войну, которая не прощает ни командирской неспособности командовать, ни неподготовленности солдата? Впрочем, это вопрос особый, с Воробьевым мы его не обсуждали.

Слушали комбата, несколько стесненные своей навязчивостью, скованностью командира, которая как бы напоминала нам о делах, о его занятости.

— Может, воды? — спросил замполит, видимо, заметив, что мы, вымотанные жарой и духотой, сглатываем тягучую тропическую слюну.

И комбат вдруг подхватился, сам, не вызвал кого-нибудь, не послал принести, а, словно увидев повод выйти, ушел и вернулся с целым ящиком минеральной воды. И вдруг подумалось: а ведь он просто-напросто стесняется нас! Он — герой, за которым солдаты пойдут в огонь и воду, ибо авторитет его, как мы уже заметили, среди десантников непререкаем.

Ученые, которым до всего есть дело, установили, что беседа всегда осмысленнее, когда человек глотает. Удивительно, но вперемежку с минералкой и наш разговор стал оживленнее и откровеннее.

Мы узнали, что десантники батальона Воробьева «работают» в основном на внутренних караванных тропках в районе Шахедана. На места перехвата караванов их доставляют вертолеты. Устраивается засада. Ждать приходится иногда долго — несколько суток. Но приходит караван — цель ожидания, зерно боевой задачи. Бой обычно бывает скоротечным, на уничтожение. Затем вызываются «вертушки», в них загружаются трофеи (для передачи органам безопасности республики), и десантники покидают район боя. Об этом рассказал подробно Артем Боровик в «Огоньке».

Добавлю только одну фразу комбата:

— Выючных животных — верблюдов, ослов, коней — приходится убивать. Страшное все-таки дело — война, — устало закончил он.

Еще в Кандагаре услышал я о банде «черный аист», мобильной, жестокой, в которую входят пакистанские командос (добровольцы) и наемники из



Западной Европы, арабских государств. Рассказали об этой банде, как легенду, предупредив, что под Кандагаром о ней лишь слышали, но ни разу не встречали.

Спрашивал затем об «аистах» в Баграме, но там тоже ничего определенного в ответ не услышал, кроме сомнительного рассказа о том, как банда начинает бой.

Появляется якобы перед утренним намазом на горе возле верного народной власти кишлака негр в белой накидке и выкрикивает слова молитвы, а потом уже обложившая кишлак банда идет в бой. Пленных не берут, раненых добивают, уничтожают всех жителей селения. Потому и сведения о банде самые скудные.

Спросил о том же и Владимира Воробьева. Легенда все-таки или есть в ней доля правды?

— Легенду слышал, но вряд ли на самом деле есть такая банда. Хотя наемников среди душманов можно встретить. В прошлом году 10 апреля в одном из кишлаков провинции Логар мы «зажали» бандгруппу. Уже по окончании операции совершенно случайно установили, что в одном из домиков прячутся ее остатки. Решили взять. Но встретили мощное сопротивление. Тогда вышли на крышу домика, пробили отверстие в потолке и забросали бандитов гранатами. После восьмой они еще огрызались. Бросили еще семь. Потом уже узнали, что трое из них племянники «генерала» Мухаммада, главаря бандформирований в Логаре, а один — наемник, некий Вернер Хёффнер. Так сказать, «романтик с большой дороги». Так что наемники здесь есть, а вот есть ли «черный аист» — не знаю.

Мне вспомнился рассказ одного десантника из Баграма о том, как во время хостинской операции с криками «аллах акбар» атаковали обкурившиеся чарсом наемники командос, как наши сбивали их со склонов горы и как жалкие остатки их отряда бежали, и подумал: может, легенда не обманывает, была такая банда — и нет. Не прокричит больше негр в белом саване со склона горы. Кишлаки могут спокойно совершать свой утренний намаз.

Кто же он, майор Владимир Воробьев?

Биография проста: родился в 1958 году, оренбуржец, то есть из казаков славного Яика, пугачевцев, русский. Закон-

чил Калининское СВУ, затем с золотой медалью — Рязанское десантное. Служил в Ленинградском военном округе, потом — ГСВГ, с 1986 года — начальник штаба разведбата в Баграмском десантном полку, замкомбата в Бараки, и вот Джелалабад — командир батальона.

Биография для служащего в Афганистане офицера самая обычная. Что еще? Награжден, об этом мы уже знаем. В январе лично провел удачную операцию, был «забит» большой караван, и Воробьева представили ко второму ордену Красного Знамени. Все. Остальное — его солдаты.

— Едим вместе с бойцами... спим спина к спине... Но без панибратства.

...Сержанты у меня опытные, любой может самостоятельно провести операцию...

...Офицеры — самые лучшие. Почти все награждены. Вот лейтенант Сергей Лафазан недавно снял с зависания вертолета 78 реактивных снарядов, нацеленных на город, успел за час до начала их работы.

Здесь мне хотелось бы пояснить: душманы ставят реактивные снаряды на козлы, естественно, прицельности никакой — бьют «эрэсы» куда ни попадя; соединяют электрическую цепь с часовым механизмом и уходят. Лейтенант Лафазан успел вовремя. Мирное население об этом даже не узнало. А ведь, кажется, должно бы узнать, обязано. В такой вот «невидимой работе» наших солдат и офицеров — суть интернациональной помощи. Добавлю еще, что нахождение этих «эрэсов» установил экипаж вертолета Ми-24 в составе капитана Гусева Сергея Владимировича и летчика-оператора лейтенанта Щипанова Павла Александровича. Этот экипаж погиб 18 апреля, за месяц до вывода вертолетного полка в Союз. Легендарный экипаж, летчики, с которыми мы потом встречались на аэродроме, не исключали возможности, что за Гусевым охотились специально. По вертолету было сделано два пуска из комплексов ПЗРК, что для душманов расточительно. Вертолет был поражен первой же ракетой, была пущена для верности и вторая, но прошла мимо.

Настала пора вернуться к разговору, который был уже начат выше. Несколько слов о журналистской этике.



В разговоре с Владимиром Воробьевым мы несмело спросили, нельзя ли нам попасть на операцию с десантниками. Увидеть, так сказать, и ощутить, сделать фотоснимки.

— Нельзя, — впервые улыбнулся комбат. — Фотоаппараты мы вообще с собой не берем — плохая примета, посторонних — строжайше запрещено.

— Но мы ведь к приметам не относимся, и, кроме того, вы брали с собой журналистов.

— Одного — было разрешение командования. Он о нас все рассказал, можете почитать в журнале.

Настаивать было бесполезно. Нам дали понять, что вездесущности пишущей братии есть предел. Неподготовленный в военном отношении человек — обуза для командира. Брать его с собой — значит, все время помнить; заботиться о его жизни, опекать в ущерб боевой задаче и жизням солдат.

Нельзя так нельзя. Хорошо — молодому коллеге повезло: было кому похлопотать о разрешении для него, был в штабе армии кто-то приказавший Воробьеву — взять! И взяли ведь, рискуя погонами, партбилетом да всей своей карьерой боевых офицеров. И, пожалуй, это, последнее, более всего омрачило нашу радость за удачу коллеги. Но, как обнаружилось в разговоре с молодыми офицерами-десантниками, были и другие стороны этого беспрецедентного случая, о котором комбат по понятным причинам умолчал и которые всю историю с «самым удачным репортажем среди всех материалов о воинах-интернационалистах» превращали в фарс.

Оказывается, категоричный приказ взять журналиста на операцию исходил из такой авторитетной инстанции и столько потом было ежечасных звонков, справок о здоровье «военного репортера», что ребята сочли за лучшее не рисковать ни гостем, ни своими погонами. В один близлежащий кишлак, жители которого были разогнаны бандитами еще в самом начале войны, днем завезли трофейное оружие и боеприпасы, выставили караул. Затем ночью разбудили нашего «героя» и, по словам офицеров, надев на него два бронежилета, посадили в вертолет: вылетаем на операцию. А дальше все было как в плохом кино. Вертолет сделал несколько кругов над округой и опустился недалеко от кишлака. Группа десантников выдвинулась на исходные, а потом, де-

монстрируя все свое умение вести атакующий бой, солдаты ворвались в кишлак. Стрельба, взрывы гранат, крики, стоны! Ужас, что там поднялось. И вот наш коллега вступает на территорию, отбитую у душманов, вот ему показывают трофеи. И, естественно, репортаж в журнале и, обласканный доморощенной и зарубежной критикой, он становится «самым талантливым военным репортером». Ну что ж, Есенину в свое время Чагин устроил выезд на загородную дачу, поэт же представил себе Персию и написал замечательный цикл стихов. Может, и это случай из того же ряда, но все же удивляет позиция нашего коллеги, видимо, знавшего, чем рискуют ответственные за него люди, и все-таки рискующего, пусть даже это и было фарсом, их благополучием служебным и их жизнями. Ведь в случае реальной операции, реальной опасности ребята стояли бы насмерть, ибо отвечали за каждую царапину на его благородном теле.

Молодые офицеры-десантники ребята горячие. Узнав, что мы из пишущей братии, они потребовали от нас поднять в печати проблему военной амуниции: показали наши отечественные спальные мешки и американские; так называемые на профессиональном жаргоне, «лифчики» китайские и разорванные — наши. Наше — все непрочное, тяжелое, приходится на операции ходить с трофейной амуницией. Конечно, мы сочувствовали им и негодовали с ними до тех пор, пока они не принялись критиковать прессу. Досталось и нашему коллеге, о котором говорилось выше, и нам. И в конце — о «Командировке на войну». Думаю, все журналисты, что приезжали в Афганистан, после серии статей под этим названием выслушали в адрес журналистики не одно недоброе слово.

Без особого энтузиазма выслушали такие слова и мы. Я их записал и привожу без литературной обработки — правду, так правду:

«Мы же не пишем о гинекологии, хотя, как нам кажется, тоже кое-что понимаем в этом».

Даже если о войне пишет женщина, она, по всей вероятности, обязана дать реальную картину: место, настроение солдат, тех, кто воюет, их действия, действия мятежников, а не выписывать какие-то устрашающие картины, навеянные неверно понятым юмором здеш-



них офицеров и «мадамским» воображением. А уж коль скоро такая командировка состоялась, сделан по ней большой материал, то стоило его проверить и перепроверить на тех, кто воевал и вернулся, а не полагаться на мнение соседа по кабинету. Вот суть нашего разговора с молодыми офицерами. Передаю, как есть, ведь должен кто-то и нам, коллеги, сказать неприятное, то, что мы привыкли говорить другим.

В Джелалабадском вертолетном авиаполку готовились к отправке на Родину: жгли ненужную подменную форму, сваленную в кучи возле опустевших складов. Кто-то бережно вынул из памятников плиты с выбитыми на них именами погибших героев, как мне потом пояснили, эти плиты будут вывезены в Союз в места постоянной дислокации. В музее боевой славы пока все экспонаты — образцы современного оружия, которым снабжаются из-за рубежа душманы, и древние мультуки, ножи, кинжалы и сабли, — все уложено в ящики. Множество документов, писем — все это пополнит экспозицию в музее боевой славы на месте постоянной дислокации, будет выставлено рядом с реликвиями, свидетельствующими о славном боевом пути части.

Но что бросается в глаза: особой радости ни пилоты, ни «технари» не проявляют. Капитан Кукушкин Евгений Васильевич, пилот Ми-8, одного из тех, что на выводе батальонов из Асадабада снимали ребят с горных застав под непрекращающимся огнем душманов, объяснил свое невеселое настроение просто:

— Такое чувство, что навсегда покидаешь родные могилы погибших, предаешь этих, не всегда боеспособных товарищей по оружию.

Вертолетчиков, и это точно, без дураков, называют в Афганистане ангелами-спасителями». Тот же Евгений Кукушкин здесь уже в третий раз. В общей сложности столько, сколько длилась Великая Отечественная... Уже и не вспомнит, сколько операций десантников обеспечивал, сколько вывез раненых.

Кончалась и наша «командировка на войну». Был еще путь на Кабул: взлет в ночи, с высоты 10 тысяч метров — светящийся город вдалеке на востоке — Пешавар, «гнездо» контрреволюции, засыпающий под нами Джелалабад. Трас-

серы в ночи, ярко-белые всплески огня крупнокалиберного пулемета. По кому стреляют? Нас прикрывают или, может, бьют по нашему самолету?

Впереди — Кабул. И Родина. Почему-то грустно расставаться с этой землей, где еще остаются наши солдаты.

### Вместо заключения

Когда мы собирались в Афганистан, количество написанного об этой стране нас мало волновало, поскольку в течение неполных девяти лет многое изменилось в «теплых местах» в нашем понимании событий на юге, да и в отношении визирующих организаций к теме Афганистана. Вспомним сообщения в газетах начала восьмидесятых: военные врачи принимают роды у афганских женщин, солдаты красят мечети, обеспечивают водой окрестные кишлаки, ремонтируют взорванные душманами линии электропередачи. Если верить газетам того времени, звание Героя Советского Союза Руслан Аушев получил за участие в «учебных» боях. Было, было время бездушия нашей печати, закрывавшей глаза на реальное положение вещей. Слава богу, отношение к теме изменилось, хотя есть еще корреспонденты, которые «создают» свои статьи, не углубляясь в суть происходящего, выдавая желаемое за действительное. Но все же материалы большинства журналистов отличаются если не аналитичностью, то полнотой изображения, стремлением вникнуть в детали войны, дать читателю истинную картину пребывания нашего контингента в РА, отношений контингента с местным населением, сложных, непростых, ведь население Афганистана — это не только те, кто поддерживает народную власть, находящуюся в Кабуле.

Так нашли ли мы своих героев?

Хотелось бы надеяться, что нашли. Они не претендуют на славу, они несут службу на заставах, сопровождают колонны, ходят на «боевые», в общем — исполняют свой воинский и гражданский долг. Они скромны, как сержант Соловьев, подполковники Абрамов и Гаврилюк, капитаны Шишкин и Табачков, старший лейтенант Рыбников и многие, многие другие. И верится: заметит их труд и поймет «большая» литература. Не должен кануть в Лету горький опыт, который приобрела в этой войне наша страна и наши солдаты.



А. ОЛИЙНИК

# ПАНДЖШЕРСКАЯ БАЛЛАДА

Рядовой  
В. Каширов



*Она началась ранним декабрьским утром 1983 года, когда на перевале Саланг мятежники подорвали на управляемой мине советский бронетранспортер. Трое наших воинов, находившихся в нем, считались погибшими, посмертно удостоены ордена Красной Звезды. Но вскоре оказалось: один из них жив, тяжелораненым захвачен душманами. Немало пришлось приложить усилий для того, чтобы до конца узнать о трагической судьбе воина-интернационалиста, находящегося в Панджшерском ущелье...*

## ПОДРЫВ НА САЛАНГЕ

Наша бронегруппа мчалась к перевалу Саланг. Дорога все круче забиралась вверх, вилась спиралью вокруг угрюмых выжженных солнцем черных скал. Здесь, где восемь лет полыхало пламя необъявленной войны, еще долго останутся ее отметины. Рухнувшие пролеты мостов через горные речушки, ржавеющие остовы сожженных машин на обочинах и воронки. Воронки, опаленные от разрывов снарядов и мин.

Вдоль «афганской дороги жизни», как называют трассу, идущую через Саланг, словно часовые памяти высятся скромные обелиски, увенчанные жестяными звездами, вмурованные в скалы рулевые колеса от наших «Уралов», КамАЗов — безмолвные свидетели жестокой «дорожной» войны, мужества на-

ших воинов-интернационалистов, военных водителей, зенитчиков, мотострелков. Всех, кто на протяжении долгих лет охранял эту «дорогу жизни», кто оказывал помощь в перевозке хлеба, горючего, боеприпасов для афганского народа, сражающегося за свою свободу и независимость.

Вот и то место, отмеченное на моей карте-километровке. Здесь нет памятного знака. Дорога делает крутой поворот. Внизу — цветущие деревья заброшенного сада, из-за которого едва проглядывается окраина кишлака Хинджан.

На календаре — март 1988 года. Но для меня время будто обратилось вспять. Я бродил по заброшенному саду, смотрел на скалы, нависающие над дорогой, местами черные от взрывов, выщербленные пулями и осколками. Казалось, они впитали в себя огонь и боль былых сражений, последний вздох тех, кто окропил эти камни горячей кровью. Как много видели эти скалы Саланга, как много сумели бы рассказать о том трагическом декабрьском утре 1983 года.

...Запыленный бронетранспортер с едва заметным номером 347 уже преодолел самый сложный участок на перевале Саланг. Ехали быстро. Только где-то через час здесь откроется движение, будет тесно от бесконечных веренищ машин. А сейчас, ранним утром, дорога была пустыня. Водитель, рядовой Асхат Габбасов лишь на крутых поворотах сбавлял скорость, притормажив-



вал. Осталось каких-то десять-пятнадцать километров до сторожевой заставы, куда везли запасные части для поврежденного взрывом бронетранспортера. И старший машины старший прапорщик Владимир Белов, с теркинским прищуром глаз, уже, наверное, прикидывал: успеют ли они до обеда возвратиться в часть. Сидевший сзади на броне рядовой Владимир Каширов должен был не сегодня завтра уезжать на Родину. Кончился срок его службы. Улыбаясь в русые казацкие усы, Белов мог лишь догадываться, какие мысли переполняли душу чернявого парня. Друзья-сибиряки уже улетели домой, а вот ему довелось на время задержаться.

До кишлака Хинджан оставалось километра два. Натруженно ревя двигателем, бронетранспортер по серпантину медленно втягивался на перевал. Скалы дышали еще ночным холодом. Все кругом было чужое, настораживающее. Попробуй угадай, где здесь притаилась вражеская засада?

Автоматы поставлены на боевой взвод, стволы нацелены в намеченные сектора обстрела. Каширов наблюдал за одной стороной, Белов — за другой. Водитель Габбасов сжимал руль побелевшими от напряжения пальцами. Все неотрывно всматривались в тревожные тени мелькающих придорожных скал.

Уж больно лакомый кусочек для душманов одинокий бронетранспортер на пустынной дороге. Оплата за подбитую машину наличными — миллион афгани. И они не упускали случая, чтобы сорвать большой куш за каждую подорванную машину, за каждого советского или афганского солдата. Живого или мертвого. Оплата шла с головы.

Между скал мелькнули дувалы кишлака Хинджан. Мчавшийся навстречу восходящему солнцу бронетранспортер стал притормаживать на очередном повороте дороги. И вдруг сноп огня рванул из-под колес, раздался оглушительный взрыв, тревожным многоголосым эхом прокатившийся по перевалу.

Взрывом Каширова выбросило из люка. Утро потонуло в черной гари, грохоте рвущихся боеприпасов, жутком свисте пуль. Кровавый туман заволок голубые глаза Володи, и теплая мамина рука скользнула по его вихрастому чубу...

Мощный взрыв, черный столб дыма

увидел наблюдатель выносного поста на Саланге и тут же сообщил о подрыве по команде. К месту взрыва по тревоге вышла бронегруппа во главе с прапорщиком В. Пеньковым. Чуть позже прибыл командир горнострелковой роты капитан Ю. Чекрыгин, саперы с минно-розыскной собакой.

Страшную картину увидели они. На середине дороги дымилась большая воронка, в метрах пятнадцати от нее догорал отброшенный взрывной волной бронетранспортер. К этому пылающему костру не сразу подступились — удушливым газом чадила резина колес, из-за раскаленной добела брони в разные стороны летели огненные трассеры — детонировали боеприпасы. Очень быстро обнаружили две жилки проводов, тянувшиеся вверх по склону к кишлаку. На их конце нашли шесть круглых батареек японского производства. «Вот что погубило ребят, — горестно подумал Чекрыгин. — Бронетранспортер подорвался на управляемом фугасе. Значит, далеко душманы уйти не могли...»

Он по радио сообщил артиллеристам координаты маршрутов, по которым могли улизнуть душманы: северные скаты перевала, близкое ущелье, пересечение троп у перевала Габ.

Лишь когда взрывы боеприпасов прекратились, пылающий бронетранспортер потушили. В корпусе машины обнаружили два обгоревших трупа, сильно деформированные автоматы.

Поиски продолжались до сумерек, но третьего человека нигде не было. Неожиданно у самой воронки капитан Чекрыгин наткнулся на обугленный сапог. Когда заглянули внутрь — блеснули острые зубья кости ноги... «Наверное, это все, что осталось от Каширова», — горестно подумал офицер. Он доложил по радио о находке в часть и подал команду готовиться в обратный путь.

## МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ

В тот вьюжный декабрь 83-го в доме Кашировых, что в уральском городке Краснотурьинске Свердловской области, жили терпеливым ожиданием. Ожиданием младшего сына Владимира из далекого, тревожного Афганистана.

Старший, Вячеслав, после работы переступал порог квартиры с немym вопросом: «Есть ли весточка от Вовы?» Но по грустному бескровному лицу ма-



тери без слов было видно: новостей пока нет.

Чем ближе приближалось 19 декабря — день рождения младшего сына, — тем печальнее становились складки у рта, глубже западали морщинки на некогда светлом открытом лице матери. Она так надеялась двадцатилетие сына отпраздновать вместе.

Анна Георгиевна, сама не зная почему, в тот месяц не могла успокоиться. Все больше уходила в себя, в воспоминания. На работе, в местном ателье, еще было сносно, когда же возвращалась домой — не находила себе места. Однажды приснился сон. Будто сын бежит домой в детских тапочках. «Вовчик, Вовчик», — звала его мать и на том проснулась. Забилась в рыдания. Случилось это 6 декабря, когда бандитский взрыв прогремел на Саланге...

Жили они хоть и не богато, но дружно. Старший всегда помогал младшему, а оба вместе — матери. А когда в 1975 году в результате несчастного случая на заводе не стало отца, все хлопоты по дому взяли на себя сыновья. Берегли, как могли, мать. После окончания восьмилетки друг за другом пошли работать, чтоб в доме был достаток. Володя пошел учиться в профессионально-техническое училище на электротехника. Все повторял матери: «После учебы еще крепче встанем на ноги, всю зарплату буду оставлять дома...»

Анна Георгиевна согласно кивала в ответ, а когда младший уходил, бывало всплакнет: «Тебе бы учиться, Вовчик, вон книги как любишь читать...» Володя еще с первого класса зачитывался книгами. Сначала сказками, а когда подрос — подвигами героев гражданской, Великой Отечественной войн. Самой любимой книгой, которую он взял в армию, был роман Этель Лилиан Войнич «Овод».

Как быстро взрослеют дети. Кажется, еще недавно Анна Георгиевна провожала младшего в профессионально-техническое училище, потом на работу — сын трудился электротехником на местном заводе. Уставал, но не жаловался. По характеру был весь в отца — молчаливым, настойчивым. И как обещал, всю зарплату приносил домой, матери. А однажды вместе с деньгами протянул белый лист бумаги — повестку в армию.

Тягостным был час расставания. Володя крепко обнял брата Вячеслава.

Нежно прижал всхлипывающую на его окрепшем плече мать, бережно прикоснулся к ее пепельного цвета волосам. И невольно застывшим взглядом засмотрелся в окно, на двор, дорогу. Будто пытался запомнить до подробностей родные с детства места, будто прощался с ними. Прощался навсегда.

Два длинных года с Анной Георгиевной немногословным голосом сына говорили его письма. Короткие, без подробностей о себе. Все больше о новых армейских друзьях, командирах. А служил Володя в учебном подразделении, совсем рядом с границей Афганистана. Сын не писал об этом, но материнское сердце чувствовало — готовится Володя для опасной службы на афганской земле. Не ошиблась.

И здесь Анне Георгиевне улыбнулась судьба — еще раз увидела «свою родную кровинку, своего Вовочку». Можно сказать, произошло это случайно. Коллектив ателье «Радуга», где Анна Георгиевна долгие годы работает бригадиром швейного производства, стал победителем социалистического соревнования за 1981 год. Городской профсоюз выделил туристическую путевку на 24 дня в Чехословакию. Выбор пал на Каширову. Анна Георгиевна обрадовалась — ведь никогда не приходилось бывать за границей, — уже оформила все документы, была включена в группу свердловчан. И вдруг в последний день передумала: сердце не давало покоя о младшем сыне.

Уехала к Володе. Оказалось, как нельзя кстати — сын лежал в военном госпитале с гепатитом. Там, в госпитале, и провела мать свой отпуск, весь месяц не отходила от его кровати. Вместе с врачами выходила, проводила сына в опасную дорогу, в Афганистан.

И снова жила ожиданием писем с треугольным штампом полевой почты. Владимир писал часто. Все двести три письма Анна Георгиевна бережно хранит и знает почти наизусть.

«Здравствуйте, мои дорогие мамочка и Славик! У меня все хорошо. Я уже уезжал, собственно, домой, но рядовых внезапно задержали. Ну, ничего, осталось ждать немного, и скоро мы будем снова вместе... Да, уже многие друзья поприезжали домой. Не скрою, в какой-то степени завидую им. Ну, ничего, кому-то надо еще отдать долг. Придет день, и я тоже буду дома. Мама, береги себя. Не переживай, родная, вот уви-



дишь — все будет хорошо. Буду заканчивать. Интернациональный привет всем. Крепко вас целую. Владимир. 25.II.83 г.»

Это последнее письмо сына из Афганистана Анна Георгиевна перечитывала чаще других. И девятнадцатого декабря, в день двадцатилетия Володи, оно было с ней на работе. Дома на кухне стояли наготове любимые Володи пельмени...

Неожиданно в полдень в ателье подъехал военкоматовский «уазик», за ним «Скорая». Анна Георгиевна в окно увидела краснотурьинского военкома и рядом с ним незнакомого прапорщика с опаленным зноем лицом. Не помня себя, выбежала военным навстречу с неммым вопросом: «Что с сыном?»

— Мужайся, мать, — сказал осевшим голосом военком и протянул Анне Георгиевне развернутый конверт с извещением.

«Уважаемая Каширова Анна Георгиевна! — механически стала читать отпечатанный на машинке текст, еще совсем не понимая, какую страшную весть он содержит. — С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что Ваш сын, Каширов Владимир Николаевич, верный военной присяге при выполнении интернационального долга по оказанию военной помощи Республике Афганистан, погиб 6 декабря 1983 года... За время прохождения службы Ваш сын проявил себя как храбрый и дисциплинированный воин...»

Дальше Анна Георгиевна не могла больше читать. Блуждающим затуманенным взглядом посмотрела на военных, притихших сослуживцев и едва слышно молвила: «Не может быть. Не верю...» Серый лист похоронки выскользнул из ее дрожащих рук — она лишилась сознания.

### ПАКЕТ ИЗ ФРАНЦИИ

Летним вечером 1984 года в консульское отделение посольства СССР в Марселе нерешительно вошел средних лет загорелый посетитель, пожелавший остаться неизвестным. Он торопливо вручил поднявшемуся навстречу сотруднику консульства пакет в глянце-вой бумаге. На все попытки выяснить, кому адресован пакет, имя неожиданного посетителя, тот скороговоркой ответил, что сам не совсем понимает, что находится внутри конверта. Он лишь

выполняет поручение человека, которому многим обязан. Что касается его имени, то оно вряд ли необходимо. «Я журналист, — на прощание сказал странный незнакомец. — Пишу о муджахеддинах Афганистана для многих западных изданий...»

Когда вскрыли пакет, в нем оказалось несколько цветных мгновенных фотографий. На них запечатлен человек с изможденным, заросшим щетиной лицом, на правом глазу которого был ватный тампон, приклеенный крест-накрест лейкопластырем. Сзади виднелся самодельный деревянный костыль, обмотанный бинтом. По фотоснимкам нельзя было понять, что это за человек, где он находится, откуда он? Не больше сотрудникам консульства поведала записка, вложенная в конверт. Она была написана на русском языке шариковой ручкой, большими прыгающими буквами. Человек, писавший ее, явно торопился, был в сильном душевном смятении.

«Мама! — говорилось в записке. — Я, твой сын Владимир, жив, нахожусь в плену, в Афганистане. Наш БТР подбили, вернее сожгли, двое убитых, я остался живой, так что заранее не хороните меня... Сегодня уже 22 декабря. Милая моя мама, буду заканчивать. Целую. Владимир».

На обороте этой загадочной записки был написан тем же прыгающим почерком адрес: 624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Колхозная, д. 16 — 24. Каширов Владимир Николаевич.

Внизу приписка: «Мама — Анна Георгиевна».

Ясно было одно — речь идет о жизни нашего солдата, захваченного душманами в Афганистане. Пакет в срочном порядке направили дипкурьером в Москву.

В архиве штаба ограниченного контингента советских войск в Афганистане я отыскал материалы этого необычайного расследования, занявшего десятки машинописных страниц.

Вот выдержка из материалов расследования, составленного на основе данных более двадцати человек, принимавших участие в поиске людей, в эвакуации останков из подорванного бронетранспортера.

«Расследованием установлено:

1.6.12.83 г. около 6.30 по приказу командира майора Кузыченко А. Н.



группа в составе: старшего — командира взвода прапорщика Белова Владимира Григорьевича и членов экипажа: водителя — рядового Габбасова Асхата Габдулсабировича, старшего стрелка — рядового Каширова Владимира Николаевича на БТР-70, бортовой номер 347, была отправлена на 37-й сторожевой пост с задачей доставить для ремонта БТР-70 № 335 коробку передач и двигатель.

По пути следования, вблизи н. п. Хинджан, БТР № 347 был подорван на управляемом фугасе (вес ВВ примерно 50—60 кг). В результате взрыва БТР был сброшен с проезжей части дороги в обрыв и перевернулся. Прибывшая через 30 минут бронегруппа во главе с прапорщиком Пеньковым В. Н. обнаружила перевернутый горящий БТР, внутри которого взрывались боеприпасы. На месте происшествия была обнаружена воронка от взрыва диаметром около трех метров и глубиной до 1 метра. После того как внутри БТР прекратились взрывы, прибывший личный состав приступил к его тушению. На БТР в результате подрыва было оторвано правое переднее колесо вместе с редуктором и вырван кусок бортовой брони справа от сиденья старшего. Кроме того, установлено, что по уже перевернутому бронетранспортеру мятежниками было произведено 2 выстрела из гранатомета. По-видимому, эти два выстрела и вызвали пожар».

Из рапорта начальника штаба батальона капитана А. В. Ико: «Докладаю, что 6.12.83 г. около 8.00 с выносного поста доложили, что в районе н. п. Хинджан, на повороте дороги был слышен взрыв и виден дым. Я с резервной группой убыл к месту происшествия. При осмотре участка подрыва были обнаружены провода, ведущие в сторону кишлака Хинджан. В населенном пункте жителей не оказалось. Я доложил об этом по радио заместителю командира полка подполковнику Россохину и попросил прислать саперов с собакой для проверки дороги и обочин... После потушения бронетранспортера из него извлекли два обугленных тела и два обгорелых автомата. Возле БТР найдены: диск патронов 14,5 мм и неполная деформированная лента 14,5 мм. В районе воронки — останки ноги в сапоге, козырек от фуражки. Больше ничего обнаружить не удалось...»

Из объяснительной записки коман-

дира роты капитана Ю. Чекрыгина: «Я лично обыскал место около воронки и нашел сапог (правый) с оторванной ступней и оправу от солнцезащитных очков. Сгоревшие тела грузил на БТР лично я с подчиненными...»

2. На основании осмотра БТР, останков погибших и осмотра местности командованием части был сделан вывод о том, что тело третьего военнослужащего — рядового Каширова было раздроблено взрывами на мелкие части, и оно отсутствует.

3. Для сопровождения гроба с останками рядового Каширова В. Н. к месту захоронения приказом командира части был назначен прапорщик Пашнин М. В., которому были вручены все необходимые документы для передачи Краснотурьинскому военному комиссару...»

Таковы факты из материалов расследования. Они наглядно показывают, почему очевидцы трагедии посчитали Каширова погибшим. Увы, война часто хоронит своих солдат бесследно.

Но все ошиблись. Правым оказалось лишь сердце матери.

Материнская вера... Сколько сказано, написано о ней волнующих стихов и книг. Живет в каждом из нас уже десятилетия неутихающее стоическое ожидание матерями, вдовами не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. И сегодня женская, материнская верность не перестает поражать. Она не знает предела терпению, как не знает предела сама жизнь.

24 августа 1984 года Анна Георгиевна запомнит до последнего своего часа. Было воскресенье, и она, сделав домашние дела, по обыкновению, готовилась к горестной встрече. Готовилась пойти на кладбище, где рядом с безвременно ушедшим мужем могила сына и на ней обелиск из серого мрамора. Каждый выходной она подолгу стояла у этих могильных холмов. Сколько здесь было выплакано слез, сколько передумано дум!

А спустя несколько месяцев прямо в цехе военком от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил матери орден Красной Звезды, которым был награжден Владимир посмертно.

— Не нужен мне орден, верните сына,— не сдержалась Анна Георгиевна, когда ее руки прикоснулись к рубиновой эмали ордена.— Не верю, что Володя погиб...

Верно подмечено: сердце матери зря-



чье. Чувствует на расстоянии. Так было и у Анны Георгиевны. Все эти месяцы ее тяготило какое-то неуемное беспокойство, призрачная надежда. Все ее мысли, чувства были связаны с младшим сыном. Видевшие ее ежедневные страдания соседи, товарищи по работе не раз ей говорили: не губи себя, Анна, терпением сына не вернешь. Время все лечит, у тебя ведь есть еще сын, жизнь-то продолжается.

...Анна Георгиевна еще в окно увидела человека в военном, вошедшего в их подъезд. Не могла сдержаться, выбежала навстречу: «От Володи что-нибудь?» — спросила с затаенной надеждой.

— Да, Анна Георгиевна, Ваш сын жив!.. — И офицер протянул матери записку с прыгающими буквами. Записку, присланную из Франции.

### Побег

Пока записка солдата путешествовала через границы Европы, в Панджшере появилась легенда о раненом «шурави» в обгоревшей военной форме. Из уст в уста передавались подробности его захвата мятежниками на перевале Саланг, когда он чудом спасся — взрывной волной отбросило из подорванного бронетранспортера на скалы. Говорили, что мятежники тяжелораненого, потерявшего сознание бросили на кишлачной площади и заставляли, чтобы все проходящие, женщины и дети, бросали в него камни. Душманы были уверены: потерявший ногу «шурави» скончался от потери крови, ударов камней. К удивлению мучителей, он оказался живуч. Его вылечил доктор — иностранец, находившийся в базовом районе в Астане.

Кто видел пленника, тот говорил, добавляя от себя, что «шурави» высокого роста, черноволос, с изможденным лицом и ожесточенным блеском глаза — второй закрывала грязная повязка. Очень агрессивен, выбрасывает еду, бьет самодельным костылем стражников и постоянно говорит о побеге...

В Афганистане легенды из ничего не рождаются. Командование ограниченного контингента советских войск начало поиск этого известного советского воина, о непреклонной стойкости, мужестве которого с восхищением говорили простые афганцы.

Однако время шло, а напасть на место нахождения пленника не удавалось.

Рассказы афганцев были противоречивы, никто из опрошенных не видел его в лицо, не знал ни имени, ни фамилии.

Казалось, ущелья Панджшера навеки похоронят легенду о «шурави». И вдруг сообщение войсковых разведчиков одной из наших частей: «18 июля 1984 года в ходе боевой операции в ущелье Панджшер в числе захваченных документов одной из бандгрупп обнаружена анонимная записка на русском языке. Ее содержание: «Я русский солдат. Был здесь Хинджан, взятый в плен 7.12.83 г. Колатк-Саланг, БТР подорвался на mine, 2 человека погибли, я был ранен и взят. Я пишу все это, может быть, кто-то и найдет эту записку, сейчас южное ущелье». По почерку установили: писал записку Каширов. А потом поступило из Москвы сообщение о пакете из Франции.

Сердце холодеет, приближаясь к самым трагическим дням жизни Володи Каширова, двадцатилетнего комсомольца. Но я уверен придет время, и мы узнаем всю правду об этом пареньке из Краснотурьинска.

Теперь точно установлено: многие факты панджшерской легенды о раненом «шурави» оказались былью. После подрыва на Саланге истекающего кровью Каширова захватили бандиты. Правда и в том, что мятежники заставили дехкан забросать камнями «неверного шурави», выбили ему глаз. Но всем смертям назло второй раз в этот трагический день Владимир выжил. Потом его несколько месяцев лечили. Очевидно, тогда он и написал свое последнее письмо матери, которое попало в посольство СССР во Франции.

Когда раны на культе правой ноги зарубцевались, Каширов снова попал в кишлак Хинджан, точнее, в каменную пещеру, которая была оборудована в близком ущелье. И начались страшные дни его заточения. Чтобы представить себе, в каких условиях содержались советские люди, захваченные душманами, заслушаем свидетельство очевидца. В декабре прошлого года я встретился с рядовым Дмитрием Бувайло, более года находившимся в тюрьме мятежников, который затем сумел вырваться из душманских застенков.

«Меня держали в подземелье, куда не проникал свет, — рассказывал Дмитрий. — Форму, обувь отобрали, вместо нее выдали серую длиннополую руба-



ху и шаровары, а ходил босиком. Любый охранник, все, кто, желал, мог избить до крови. Пища из одних отходов. После еды чувствовал какое-то странное состояние угнетенности и депрессии. Позже догадался, что это действие наркотиков, добавляемых в пищу. Каждый день по 6—10 часов заставляли учить фарси, заучивать наизусть суры из Корана, соблюдать мусульманские обычаи. Неоднократно в тюрьму наведывались корреспонденты из США, Франции и Англии. Они приносили с собой груды злобной антисоветской литературы, взалхлеб рассказывали, какая беззаботная жизнь ожидает меня на Западе, если соглашусь туда поехать. Но ни побои, ни унижения не могли заставить меня предать Родину...»

Оказавшийся в плену советский воин должен был перестать считать себя человеком. У него отнимали имя и присваивали мусульманскую кличку.

Особенно заботились, чтобы с первого часа неволи человек дышал запахом смерти. На глазах заключенного сдирали кожу с пленников, приковывали цепями к разлагающимся трупам и каждый день стегали гибкими железными прутьями, обжигаящими тело до костей... Считали, ужас умирят самые строптивые души. Под свист железных бичей склоняли к принятию ислама, принуждали к исполнению религиозных обрядов...

Не случайно рядовой Бувайло, когда его вырвали из душманских застенков, едва разговаривал на родном языке, не сразу смог назвать свое имя, сказать, откуда родом...

Дважды Каширов пытался бежать из своего заточения. Но мог ли далеко в горах убежать изможденный человек с костылем? Дважды его ловили. В исступленной злобе охранники приволакивали его бездыханное тело к пещере, привязанное за ногу к лошади...

На рассвете 18 июля 1984 года угрюмые скалы Панджшера взорвались вертолетным гулом, раскатами артиллерийских разрывов. Афганские части при поддержке подразделений ограниченного контингента советских войск начали крупномасштабные боевые действия. Мобильные воздушные десанты выбрасывались на вертолетах в самых недоступных местах ущелья, где располагались базовые районы мятежников, склады с оружием, исламские комитеты и... подземные тюрьмы. Один из

таких десантов высадился под огнем на плато уездного центра Хоста-о-Ференг — базового района мятежников.

Все бандитское логово всполошилось. Один за другим захлебывались крупнокалиберные пулеметы, установленные на господствующих высотах, уничтоженные точными залпами из бортового вооружения вертолетов. Снаряды и мины в щепки разносили инженерные укрепления, каменную кладку вокруг лагеря. Сквозь залпы, трескотню автоматов все громче звучало грозное русское «ура!».

В лагере началась паника. Кто с криком «аллах акбар» бежал на звуки выстрелов, кто испуганно пятился назад, в глубь ущелья. В этот момент Каширову и удалось, видимо, вырваться из пещеры-тюрьмы. Он скрылся в близких скалах. Далеко ли он сумел убежать? Километр или всего шагов двести. Но он был на свободе, и ничто не могло теперь остановить его, вырвавшегося из самого ада, увидевшего впереди атакующую цепь десантников. Возможно, он осознавал, что с тяжелым увечьем ему далеко не уйти от погони. Но даться живым своим палачам на этот раз он не мог. Решил использовать свое последнее право — умереть на свободе.

Об этом стало известно спустя месяц, когда в сентябре 1984 года удалось освободить рядового Андрея Добычина, захваченного мятежниками. Небольшая выдержка из его показаний:

«Впервые я узнал о Кариме — так называли мятежники Каширова — весной 1984 года в Базараке от прибывшего из Хинджана душмана. Под большим секретом тот рассказал мне, как советского солдата захватили раненым на Саланге, как издевались над ним, восхищались его смелостью, что немощный «шурави» выбрасывает еду, бьет костылем охранников... Когда я попал в уезд Хоста-о-Ференг, то узнал, что Карима тоже перевели сюда. А вскоре высадился наш десант, была паника, и Каширов сумел бежать из-под стражи. Но его настигли посланные в погоню охранники и расстреляли. Где Каширова захоронили, не знаю...»

...Над знойным и тревожным Панджшерским ущельем и поныне, будто горное эхо, идет молва о негибавшем «шурави», воине-интернационалисте. И поныне в далеком уральском городке седая мать ждет сына из Афганистана. Для нее Володя — вечно живой.



В. СКРИЖАЛИН

# ТРУБОПРОВОД



— Все в порядке... Повреждений нет... Лавины? Укрощаем... Научились...

Уверенность в том, что дело обстоит именно так, вселяли не столько сами слова, сколько тон, каким они были сказаны. Ни перегруженный помехами эфир, ни перевал, ни многие-многие километры не в состоянии были заглушить бодрость в голосе, с какой подполковник В. Цыганок докладывал о состоянии вверенного ему трубопровода.

С тех пор, как мне довелось побывать в трубопроводном батальоне, прошло не так много времени. Но оно было существенно. Тогда, помнится, на перевал лег первый, не в пример прошлым годам запоздалый снег, которому даже порадовались: наконец-то, пыли стало меньше.

В день же выхода на связь его подвалило уже столько, что теперь на ослепительные — до рези в глазах — «сахарные» склоны смотреть приходится больше с тревогой, чем с наслаждением. Многие сделали этим летом, чтобы лавинные удары не оказались такими ощутимыми, как в прошлом году. Но лавина есть лавина: никто не знает, где, когда она сойдет, сколько снега и камня обрушит. Кто ездил на Саланг, тому не забыть картины: мощный многотонный мост, эдак аккуратненько переставленный лавиной метров на триста ниже по ущелью. Не оказалось у людей ни сил, ни средств, чтобы вернуть мост на старое место. Пришли к выводу: дешевле и быстрее построить новый.

Это мост. А тут всего-то тонкая нитка трубопровода. Но все равно: «Укрощаем... Научились...»

Афганистан — страна особенная. Горы, пустыни, полупустыни — вот, пожалуй, и все, из чего она состоит. Здесь не встретишь дарованных человеку природой уголков — из тех, что мы зовем райскими. Если что-то и есть «райское» в Афганистане — все это от рук человека.

И вот этот трубопровод тоже необычен — как раз на участке батальона, которым командует подполковник В. Цыганок. Не похвальба, а гордость прозвучали в голосе Василия Павловича, когда на его «разъездном автомобиле» — БРДМ (другой транспорт не пройдет), следуя вдоль трубы, мы достигли высшей точки перевала, за которой топливо уже не нагнеталось насосами, а само лилось по трубам вниз — туда, где его ждали тракторы, автомашины, комбайны:

— Нигде в мире на такой высоте не пролегает жидкостный трубопровод. Наш самый высокогорный.

Я посмотрел на тонкую, кажущуюся ломкой, а на самом деле — небывалой прочности и живучести нитку трубопровода, на своего обветренного, с почерневшим лицом спутника: уж никак они не походили на мировых рекорсменов.

— Неужели это так технически трудно выполнимо, что ни в одной стране не смогли сделать того, что сделали вы?

— Технически выполнимо. Но жизнь



никого, наверное, кроме нас, не заставляла браться за такое. Это ж Афганистан. Горы-то какие!

Чтобы нормально жить стране, чтобы слаженно действовал сложный механизм советского ограниченного воинского контингента, требуется многое. Одно из главных — «хлеб» машинам: бензин, керосин, дизельное топливо, основная трудность в обеспечении которыми — транспортировка. Железных дорог в Афганистане, как известно, нет. Одному автомобильному транспорту поднять эту ношу тяжело. Особенно зимой, с ее наледями, снежными заносами. И было решено частично снять нагрузку с машин — «наливников», переложив ее на трубы.

Василию Павловичу, тогда еще майору, «нарезали» участок в сто двадцать с лишним километров. Самых трудных — с высочайшим горным перевалом посередине. Он должен был подняться со своим трубопроводным батальоном на высоту, на какую никто в мире из трубопроводчиков еще не поднимался. Высота-то высотой. А вот как проложить трубы?

Вначале трубопровод вели вдоль автомобильной трассы. Рельеф местности, контур дороги пока еще позволяли это делать. Хотя, прямо скажем, что и здесь, на сравнительно ровных участках, с терпимым, казалось бы, углом подъема уложить «змейку» из дюрале-вых труб оказалось делом непростым. Но близость дороги облегчала и ускоряла решение задачи: это подвоз труб, конструкций, материалов прямо к месту сборки, это еще и более надежная охрана трубопровода, более удобная его эксплуатация.

Но все преимущества, что давала автотрасса, сразу исчезли, как только батальон втянулся в горы. Дорога, с трудом вмещающаяся в вырубленный карниз-серпантин, круто полезла вверх. Следовать за ней потеряло смысл. Полоса между проезжей частью и пропастью настолько сузилась, что трубу стало просто не на что положить, не за что зацепить.

А тут еще повороты. Радиус изгиба трубопровода не беспределен. Существует такой, меньше которого нельзя. Так вот это «меньше» оказалось в несколько раз большим тех радиусов, изгибаясь под которыми, дорога карабкалась через перевал. Как бы ни хотели люди, но трубопровод по своим

техническим данным не вписывался в серпантин автотрассы.

Оставался один-единственный путь — по ущелью.

Все трубопроводчики «равнинные». Опыта прокладки в горах — никакого. Отчасти поэтому первая зима окажется для них такой трудной.

Где класть трубы в ущелье? Удобнее, конечно, по дну. Но будет зима, за ней весна, таяние снегов, горное половодье — и трубы окажутся под водой... Как поведут себя? Выдержат ли?

Трубопровод — это не одни трубы. Это насосные станции, с техникой, с людьми. Им-то под водой никак нельзя. По следам промоин определили границу, до которой вода может подняться... Трубы проложили выше. Там же разместили и насосные станции.

Легко сказать: проложили, разместили.

По ущелью вдоль будущей трассы трубы развезти оказалось делом невозможным. Не прошла ни одна машина. На себе от ворот в ущелье до перевала тем более не унесешь. Это сколько километров по горизонтали и сколько сотен метров по вертикали!

Пошли другим путем. Выше, по краю ущелья, идет дорога — та, от которой обстановка вынудила отвернуть. Но, может, она все-таки сослужит службу?.. Попробовали и... чуть было не отказались от затеи.

Поначалу ничего не вышло. Выгрузили трубы на дороге. Берет солдат секцию (недлинную и нетяжелую вроде бы) и вниз с ней почти по отвесной скале. Потом, порожняком, наверх за следующей.

— Два-три раза поднимется, — рассказывает Василий Павлович, — и уже не работник. Над уровнем моря-то — за три тысячи метров, а потом: что это такое — вскарабкаться по этой стенке. Вот и жди, пока он отдышится. А время-то не ждет. Тут-то кто-то и придумал — «по-тимуровски»...

— То есть как?

— А как тимуровцы у Гайдара дрова разгружали — из рук в руки. Расставили людей цепочкой по склону — вот так и перекидали вниз все трубы. Только места выгрузки меняли. На этом наше изобретательство не закончилось... Заработал трубопровод. Мы-то качаем бензин, а на насосных станциях дизели. Летом еще кое-как топливозаправщик пробивался к ним. А зима нам напрочь



все дороги перекрыла. Опять додумались: проложили коротенькие трубопроводы от дороги вниз, на дно ущелья. Едет поверху, по дороге, топливозаправщик. Остановится, заправочный пистолет в трубу — а внизу дизтопливо заливается в емкости.

Где, в какой инструкции прочтешь о такой прокладке труб, о таком способе обеспечения насосных станций дизельным топливом? Пожалуй, нигде. Нестандартное решение, принятое в нестандартной ситуации.

— А продукты? — вставил начальник штаба батальона майор Р. Савченко. — Их как завезешь в ущелье? А людям пить-есть надо. Тоже приспособились спускаться сверху, с дороги. Сначала на санях, сделанных из лыж. Но лучшим все-таки видом транспорта оказался... капот от списанного ЗИЛ-130.

Сейчас обо всех злоключениях офицеры рассказывают со смешком. Но, представляю, тогда было не до смеха. Вопрос-то стоял ребром: жить трубопроводу или не жить? Кто же все-таки авторы этих предложений? Ни комбат, ни начальник штаба не назвали ни одной фамилии. Подумал, что все придумали они сами, а теперь скромничают.

Но Василий Павлович объяснил:

— Предложения исходили от каждого. Из безымянных крох собирали приемлемое. Не до авторских свидетельств тогда было. О славе не думали. А работали как черти и думали как лучше, как быстрее — все. И если сейчас называть одного — несправедливо будет по отношению к другим. Всех же не перечислишь. Поэтому когда будете писать, не надо фамилий. Тут каждый — и кто служит в батальоне, и кто уже нет, — все самой высокой похвалы достойны.

А потом мы с комбатом сели на БРДМ и поехали от штаба батальона вдоль трубопровода. Попросил, чтобы не вниз, в долину, посчитав, что там не так интересно, а вверх по ущелью к перевалу, по пути, что называется, когтями выцарапанному у гор.

Заехали «с тыла», со стороны перевала.

Первый, кто нас встретил, младший сержант Николай Дорохин. Доложил: происшествий не случилось, станция работает нормально. И в конце рапорта:

— ...Начальник гарнизона насосной станции...

Да, так и называется его должность — начальник гарнизона. Название находится в точном соответствии характеру исполняемых им обязанностей: «всего-навсего» сержант, но наделен и самостоятельностью, и полномочиями, и ответственностью — такими, какие есть далеко не у каждого офицера. Лавина, пожар, нападение душманов — просить совета и не у кого и некогда. Ему дано право принимать решение, от которого зависит и выполнение задачи, и жизнь людей.

Дорохинская насосная станция замыкает восходящую ветвь трубопровода. Между гарнизоном и высшей точкой перевала, если идти — а кое-где и лезть — по трубе, больше пяти километров. Это вдвое больше нормы. На этом же участке и самый большой перепад высот. Крутизна в иных местах такова, что о трубопроводе можно сказать, что его не проложили, а поставили.

Для подачи бензина на такую высоту и такое расстояние где-то в середине «перегона» надо ставить станцию. Но не нашлось даже крохотного пятка: скалы, обрывы, лавиноопасные склоны. Снова нестандартная ситуация. И снова нестандартное решение. В замыкающем гарнизоне последовательно одна в одну соединили две насосные станции. Давление на выходе возросло вдвое. Его оказалось достаточным, чтобы поднять топливо на высоту перевала.

Что такое гарнизон насосной станции?

Это обычно четыре человека: начальник гарнизона — командир отделения, старший моторист, моторист, монтажник. Деление на должности условное: каждый может — и делает — все. Особняком стоит сержант. О нем уже говорилось.

При всем том, что «черной» работы ему достается не меньше, чем всем другим, он ни на секунду, даже во сне, не перестает чувствовать себя командиром. Командиром не столько в смысле повелевать, сколько нести ответственность за все, что происходит на его двух-трехкилометровом участке. За каждого человека, за каждый метр трубы, за каждый литр бензина, которого через их руки за сутки проходят сотни тонн, за каждую железку на станции, за все, что в совокупности составляет понятие «живучесть трубопровода».



Трубопровод чем-то напоминает елочную гирлянду, лампочки в которой соединены последовательно. Стоит одной перегореть — гаснет вся гирлянда. Так же и здесь. Выбьет всего одну секцию — и топливо, транспортируемое на сотни километров, перестанет поступать. Материальные убытки, подрыв боеготовности.

Проверке на живучесть трубопровод, трубопроводчики подвергаются такой, что и не придумать...

...Спустя несколько часов, сидя в приткнувшемся к скале домике за затянувшимся в разговорах ужином (чаю было вдосталь — отходили после мороза), офицеры, из которых к концу осталось только двое — комбат и начальник штаба, рассказывали:

— Самый тяжелый участок — последний, Дорохина...

Кроме самого Николая, орловца, в его гарнизоне трое рядовых — Сергей Ермаков из Северного Казахстана, Владимир Антонов из-под рязанского шахтерского городка Скопина и «местный», как его в шутку представили, туркмен Керим Мурадов. Ему и в самом деле до родного города Мары рукой подать. Все комсомольцы. Комсгруппорг — Ермаков. Повар — Антонов.

—...Чем тяжел? А всем. В два раза длиннее — а их, как и везде, четверо. Самая высокая отметка. Скалы. А главное — лавины. За прошлую зиму на участке Дорохина их сошло семь...

Клади-то трубопровод летом. Слышали о лавинах — что бывают такие. Но что они собой представляют, откуда их ждать, что они приносят — это мы только сейчас знаем...

— Пару лавин пережить — и можно точно сказать, на что человек способен...

— Что такое сошедшая лавина? Это как корова языком — полкилометра труб. Над самим трубопроводом — три-пять метров снега вперемешку с камнем, льдом. Плотность такая, хоть взрывай. Теперь задача — найти уцелевшие концы трубопровода, откопать их, соединить поверху. А где их найти, если до них вниз два-три человеческих роста снежно-каменной каши. И то ли он, этот конец, под тобой, то ли его оттащило метров на полста в сторону, то ли вообще оторвало. Но мы снова оказались хитрыми на выдумку...

— Кто же и как?

— Начальник штаба...

Сидящий рядом Ростислав Васильевич довольно улыбнулся:

— Миноискателем. Как будто для этого его изобрели. Минутное дело...

— А вот дальше дела идут помедленнее. Снега приходится тоннами, десятками тонн на человека, на его лопату. Бульдозеры-то вон стоят. Но им туда не пробиться. Вот правильно тут сказали: две лавины — и человек как на ладони.

Чуть раньше, когда с комбатом объезжали гарнизоны насосных станций, спрашивал у ребят — и у готовящихся к увольнению в запас сержанта Сергея Хомякова, рядового Олега Климашова, и у тех, кому еще служить, — рядовых Владимира Кобзева, Александра Лебедева, Юрия Перкова, Бахтияра Утебаева и многих других:

— Если бы предложили выбор, где служить: в батальоне в военном городке — или здесь, на насосной, что бы выбрали?

...Крохотный военный городок, что воздвиг для себя трубопроводный батальон, по нашим, союзным меркам, гарнизон — более чем отдаленный, более чем необустроенный. И все же это не четыре, безо всякой локтевой связи с внешним миром человека. Это коллектив, в несколько раз больший. Там даже есть кино. Утром следующего дня, например, начальник клуба батальона прапорщик Владимир Шишкин уезжал вниз, в долину. Одно из основных заданий от секретаря парторганизации лейтенанта медицинской службы Сергея Переверзева, оставшегося вместо слегшего в госпиталь отличнейшего, как отзывался о нем комбат, замполита капитана Сергея Гармаша — завестись на неделю хорошими фильмами. Показывать же кино на насосных станциях — такое пока еще не осуществимо. Радио есть. Газеты — на второй, на третий день — доходят. Практически не срываются политзанятия.

Так вот, никто не хотел уходить из своих гарнизонов. И говорили ребята искренне, честно. Понять их нетрудно. Никакая там не «вольница» их привлекает на «точках». Да и что это за «вольница»? Не стремление быть подальше от глаз начальства. Впрочем, начальство, как я понял, тоже днюет и ночует на трубопроводе, на трассе.

Просто слишком много отдали ребята трубопроводу, чтобы вот так легко со всем расстаться. Я поразился: парни, в большинстве своем до армии и молотка



по-настоящему в руках не державшие, из камня, что называется, из подручного материала сложили дома. Не какие-то каменные шалаши — самые настоящие дома: спальное помещение, ленинская комната — она же учебный класс, кухня-столовая. И обязательно банька, с каменкой, с парной. Плотницкие работы выполнены чисто, аккуратно — для себя. Все оштукатурено, побелено, покрашено.

Где-то внизу, в долине, может, и в палатке проживешь. Только не в горах. Здесь и временное жилье должно быть капитальным. Вспомнились слова комбата: жизнь заставит...

Солдатская жизнь — та, что заставляет — имеет не только материальную сторону. Но и духовную. Есть в нашей жизни понятие, звучащее, правда, возвышенно, оттого, может, и не так часто употребляемое в обиходе. Это солдатский долг. В Афганистане к нему прибавляется долг интернациональный. Выполнение их для воинов ограниченного контингента — не лозунг. Это их дела...

Те же трубопроводчики. Они не только сборщики и эксплуатационники. Это солдаты. Со всеми, как говорят, вытекающими отсюда последствиями.

В батальоне, на постах шлагбаумы, изгороди — из труб. Везде, где требуется жердь, в ход идет труба. Но здесь никого не назовешь трайжирами. Что ни труба — то или оплавленная, или прого-

ревшая, или с пробоиной — от пули, лома, кирки. Трубопроводы и фонтанируют, и горят: душманы делают свое черное дело. Но смело выходят на трассы, на места аварий солдаты-трубопроводчики. Смело вступают в борьбу с огнем. И с тем, что бушует над трубопроводом. И с тем, что вырывается из душманских стволов...

\* \* \*

Эти строки написаны в Кабуле, где полно неожиданностей.

...Внезапно погас свет. Все погрузилось во мрак — дома, улицы. На стол тут же водружается «летучая мышь». На холодеющей электроплите привычное место занимает туристский «шмель». Снова зашипела сковородка, забулькал чайник. Керосиновые огоньки зажглись в других окнах. Спустя несколько минут вспыхнуло уличное освещение. Не успев ослабнуть, снова тугой струей ударила вода из крана. Не прекратилась подача горячей воды в систему отопления. В разных концах города заработали дежурные дизели, приводя в действие генераторы, давшие ток к жизненно важным объектам, без которых городу не жить.

Пройдет время — и аварию устранят. Но пока нет электричества в домах, люди живут теплом и светом, что притекли к ним по трубам, проложенным советскими солдатами.



ПОТОЛОК  
РИСКА

ПРОЛОГ

Капитан сидел в мягком малиновой обивки кресле, расслабленно закинув ногу на ногу, и читал машинописные странички. То легкое удивление, то ироническая улыбка, а то смущение отзывались на его сухом, чуть скуластом лице. Тонкие губы вздрагивали. Он вздыхал, закладывая прочитанную страницу под стопку других, и тогда его большие, коричневые от загара руки излучали бережность, уважение к хрупким белым листам.

Дочитав, он помолчал, не глядя на меня. Лицо его напряглось, закаменело. Чуть пошевеливались только длинные белесые ресницы. Вздохнул и сказал:

— Да, это обо мне...

Теперь он повернул лицо в мою сторону, и в бледно-серых глазах его мелькнула далекая голубизна. Но взгляд оставался колко-тяжелым, не подпускающим.

— Но называть меня не надо. Неловко мне будет перед теми, кто знает меня, перед друзьями... И начальством тоже. Не так поймут. Подумают: трепач, хвастун... Словом, поменяйте фамилию. А все остальное — ладно. Что было, то было...

И тогда я назвал его же фамилию, изменив в ней всего одну букву:

— А если так: Полов?

— Полов? — вслушиваясь, пере-

спросил он. Длинные крупные пальцы с круглыми, коротко подстриженными ногтями сплелись, обхватив колено. — Полов — годится. До свидания.

Легко встал: рослый, сухощавый, пружинисто сильный в каждом движении. И пошел, чуть поскрипывая свежим линолеумом пола, давшего ему новую, всего одной буквой отличающуюся от прежней фамилию.

...Он шел и слушал, как под подошвами сапог зло пофыркивает прокаленный щебень. Незримое пламя воздуха опаляло губы, и они трескались. Зной зыбкой дрожью размывал, колебал серо-коричневые силуэты скал, поднимался ввысь, до размытых голубизною вершин. Шел и ощущал мокрой спиной бережно подталкивающие его взгляды.

Несколько минут назад комэск, не хотя переступив порожек модуля, не спеша подошел к строю вертолетчиков. Не поздоровавшись, поскольку и не прощались, повертел в руках исписанный и вовсе не нужный ему листок бумаги, поднял на своих «орлов» усталый от забот и бессонницы взгляд и спросил:

— Кому чем заниматься, все знают? Тогда по местам. А ты, Полов, останься. Иди сюда.

Все разбрелись к своим машинам. Полов подошел к комэску.

— Тебе сегодня снова туда, — комэск кивнул подбородком на тропу, ведущую с плато вниз, к стоянке машин. — Пой-



дем, я тебе на карте покажу, где воевать будешь.

«Снова туда» означало не только спуск к разъездному «уазику», но и значительно дальше — в наводчики. Через час, а может, два батальон мотострелков охватит подковой ущелье или гряде высот и, мельтеша между глыбами камней, начнет сжимать зону, в которой, по данным разведки, затаились до или скрылись после налета душманы. Убедившись в том, что без боя не отойти, они откроют огонь и тем самым обнаружат себя. Мотострелки залягут за камнями, и вот тогда начнет свое дело он — наводчик капитан Полов.

Лежа среди камней и солдат, он подтянет поудобнее и распахнет планшет. Наколет на карте точку, из которой прогремели автоматные очереди душманов, снимет координаты ее и по радиопередателю передаст их командирскому. А минут через десять-пятнадцать из-за гор вывалятся вертолеты огневой поддержки. И начнется...

Но до начала их работы Полов, чуть высунувшись из-за спасительного камня, будет прощупывать в бинокль каждую трещину и складочку скал, высматривая полоску халата, краешек серой чалмы, толстый ствол бура или гранатомета... Найдёт, засечет в памяти, определит максимальную концентрацию. Услышав рокот моторов, Полов запалит дымовую шашку, окутывая себя желтым облаком. Это знак для вертолетчиков: «Я — здесь». Они заметят, где он находится. Увидят и вырывающиеся из желтого облака сигнальные ракеты. Красные хвосты их укажут вертолетам те самые места, где Полов засек душманов.

Но сигнальное облако дыма заметят и бандиты. Что оно означает, знают и они. Вот тогда Полова начнут искать все автоматы, гранатометы и даже ранцевые зенитные ракеты, предназначенные для вертолетов. Все — против него одного. Выжить трудно. Но дважды уже удалось. О третьем, сегодняшнем, он даже гадать не хотел.

Тропа от того места, где остался «уазик», еле приметно змеилась меж камней. Солнце — огромное, точно растекшееся на полнеба, пылало прямо над головой, тени не найти. Раскаленного воздуха не хватало легким. Горячей жестью к спине прилипла куртка. Но все это казалось благом в сравнении с тем, что предстояло. Вспоминалось

прошрое, не столь далекое, но уже прошрое.

... После того, как гости, праздновавшие его восемнадцатилетие, разошлись, отец, подсев к Сергею, сказал:

— Ну вот, ты и взрослый человек. К осени, глядишь, и повестку на службу вручат. В армию-то хочешь идти?

Сергей пожал плечами и ответил уклончиво:

— Положено...

Сознаться отцу, что в армию ему идти не хочется, не решился. Огорчать родителей не привык, лгать тоже. А нежелание свое перебороть фразой: «Не ты один, миллионы парней через армию проходят», — не получалось. Уж слишком веско, убедительно прозвучал для него рассказ Алексея Сорокина — соседа, ставшего вдруг приятелем Сергея. Он, помнится, встретил Сергея на лестничной клетке, еще в щеголевато зауженной, разукрашенной значками форме, сгреб в объятия, удивился тому, как тот вымахал за эти два года. Предложил выпить. Полов отнекнулся. И они до глубоких потемок просидели в песочнице. Алексей вспоминал, откровенничал, наставлял:

— Тут главное, с первых дней закусь удила. Говорят тебе — слушай. Заставляют — делай. По шеям схлопотал — молчи. Терпи. Первый год — ты никто: «дух», «лимон», «плафон»... Вот на втором году малость распрямишься. А за полгода до приказа с высоко поднятой головой ходить станешь. Ты уже «дед»...

Служил Алексей где-то и кем-то, что-то чистил, куда-то бегал, красил, драил, скоблил... Тогда Сергей в эмблемах не разбирался, теперь и вспомнить не мог, какими они у Сорокина были. Да и сам Алексей через неделю уехал в Сибирь, оставив в душе у Сереги Полова смутное, тревожное предчувствие армии, как чего-то неизбежно угрожающего, отнимающего два года юности.

Правда, потом и в школе, на занятиях по начальной военной подготовке, и на комсомольских утренниках, и в телепередаче «Служу Советскому Союзу» слышал Полов совсем другие слова о службе солдатской. Но... не верил. «Иного они и сказать не могут, — подозревал он, — это все «официальная этикетка», а вот Алеха от души говорил, не для телезрителей...»

А повестка пришла в срок. Были: военкомат с торопливыми врачами, па-



рикмахер с оглушительной электромашиной, мамины слезы и сдержанная строгость сержантов, кое-как собравших своих стриженных подопечных в некое подобие строя.

«Наплевать,— успокаивал себя Сергей,— куда пошлют, туда и пошлют. Везде служба не мед. Не я первый, не я последний». Вспоминая теперь эти пацановские раздумья, Полов только ухмылялся: «Знал бы, как обернется, спокойно бы ночами спал».

А обернулось неожиданно круто. В отличие от того, что с легким ужасом слышал от Лешки-соседа, никуда он не бегал, никто его не унижал и не оскорблял. Более того, его поднимали и в самом прямом смысле слова.

...Вертолет загремел, затрещал, точно весь превратившись в один сплошной двигатель. Шатнулся, качнулся и понесся вперед и вверх. В круглом окне его осели, ушли вниз серебристые пузыри модулей, верхушки берез.

«Иди сюда!» — махнул ему пилот. Жестом же усадил рядом, кивнул: следди. И Сергей неотрывно следил за руками пилота. Его обтянутая перчаткой рука трогала тумблеры, дергала ручки: вперед, в сторону, вверх, влево... Машина послушно маневрировала. «Понятно?» — бровями и подбородком спрашивал пилот. «Да», — кивал ему Сергей.

За полгода до окончания службы он самостоятельно, хотя и под чуткой страховкой пилота поднял и повел машину вверх, вниз, вправо, влево.

— А что ж вертолет выбрал? — допытывался отец, разглядывая вернувшегося из армии сына. — Тарахтелка, только над верхушками деревьев и летает.

— Мне выше и не надо. У каждого, отец, свой «потолок». Летал ведь я еще до армии на реактивных, помнишь? В иллюминатор глянешь — голова кружится и жутковато. Облака под тобой. А мне надо под собой землю видеть. Знаешь, как красиво... Деревья травой кажутся, погладить хочется.

— Чем теперь заниматься будешь? — прощупывал отец. Ждал, скажет сын, мол, учиться буду, в институт поступлю.

— Шоферить буду, — ответил тот, — права у меня в порядке, машины любые знаю. Попробую.

«Да, — разочарованно подумал отец, — видать, точно сынок мой себе «потолок» вымерил». Но только кивнул

в ответ, мол, шоферить так шоферить, дело твое. Это тебе школа откликнулась да ПТУ...

С математикой у Сереги Полова нелады начались еще в шестом классе. Не пошла и все. «Из пункта А в пункт Б... Из одной вливается, в другую выливается...» Бред какой-то. Отец — работяга с «Красного Октября», понаблюдав за сыновними муками, махнул рукой: драть бесполезно. Убеждать он не умел, да и времени на это не было. Мать молча согласилась с отцом. И, с трудом осилив восьмой класс, Сергей подался в ПТУ.

Там — другое дело. Взял болванку, повозился с нею всласть — и получите деталь: блестящую, полновесную, нужную. Ее в машине к месту приладят, и завертится она, закрутится, зажужжит в деле до полного износа.

Три года в ПТУ промелькнули как один день. Жаль. Бывало, вечером сойдутся к обеденному столу три рабочих человека: отец, мать и сын. Двое потянутся разом к хлебу, а руки-то... Темные от металла, могучие — земную ось согнут и выгнут, надежные. Переглянутся молчком и улыбнутся друг другу с пониманием: за дело, рабочий класс... И мать счастливо улыбнется, разливая по тарелкам крутые, наваристые щи.

...Машину Полову не дали.

— Поверти гайки для начала, — буркнул ему морщинистый и неразговорчивый кадровик, — поглядим, что умеешь, там видно будет.

Сергей пожал плечами: вам виднее. Нашел свой бокс. Оглядел яму. Вычистил. Собрал инструмент. Записал, чего не хватает. На другое утро притащил с собой целый чемодан недостающего. И пошло дело.

Первый же таксист, согнав машину с ямы, покрутив ее по двору на разных режимах, подошел к Сергею и вместо «спасибо» сунул ему рублевку в карман фартука. Запросто, молча... А главное — без «спасибо». На мгновение опешив, Полов быстро подошел к нему, наклонился к окошку.

— Что, мало? — изумился тот. — Тариф железный, привычный, больше тебе никто не отстегнет за эту работу.

— Забери-ка это обратно и больше не суй. Другой раз я тебе... «отстегну». Понял? — Он с силой сунул мятый рубль за ворот в свою очередь опешившему водителю.



О «чокнутом» новичке молва порхнула по парку мгновенно. «Обломается», — говорили одни. «Обломают», — уточняли другие. «Уйдет», — полагали третьи.

А в субботу в бокс Полова вошли двое. Сергей их видел впервые. Один остался у дверей, второй, по-хозяйски оглядывая верстак, потрогал инструмент, спросил:

— Ну, обжился?

— Обживаюсь, — ответил Сергей.

— Ну, давай-давай. Кстати, с тебя трояк.

— На какие нужды? — ничего дурного не подозревая, спросил Полов. Мало ли что бывает: день рождения, проводы на пенсию, пополнение в семье... Коллектив как-никак.

— А вот на какие заботы — не тебе знать, — ответил ему гость.

— Ну тогда и не мне давать, — жестко ответил Сергей, отвернувшись и принимаясь за работу.

— Ты, парень, не ерепенься. Сказано, гони трешку, гони и не выступай, — набычился тот, приближаясь.

— Если я «выступлю», тебе тошно будет, — с холодным металлом в голосе обернулся к нему Сергей. — А ну проваливай отсюда. Живо!

Гость не струсил. С сожалением покивав в ответ, он едва слышно пробормотал: «Ну-ну...» — и пошел обратно к дверям.

А наутро половины инструмента и запчастей в боксе Полова не оказалось. И машины в его бокс не заруливали до конца смены.

Директор таксопарка, молча выслушав Полова, пренебрежительно поджал губы.

— Вы, молодой человек, пришли в рабочий коллектив. Умейте наладить с ним отношения. А искать ваши молотки или регулировать подачу машин на ремонт... Знаете, у меня других дел полно.

— Что-то мне кажется, — Полов побледнел, — что моей трешки в субботу недосчитались именно вы.

— Вон отсюда, наглец! — не повысив голоса, ответил директор.

Председатель профкома — тучная, вялая с виду женщина, выслушивая Полова, нетерпеливо перекладывала с места на место какие-то бумаги, карандаши, ножницы. Кивала головой, дескать, знаю, что дают рубли, всем механикам дают. Трешку потребовали?

И больше требуют. Не только с тебя.

— Ну вот в конце месяца будет собрание, — наконец вклинилась она, — встаньте и скажите об этом. Посмотрим, как к этому отнесутся остальные. Кстати, вы фамилии тех, кто поборы учиняет, знаете? Ну вот, а без фамилий это — ветер в поле.

Парторг гневался:

— Боремся ведь! Совет бригадиров собирали по этому вопросу. Предупреждали, наказывали. Ни черта не помогает. Это хорошо, что вы пришли. Молодежь должна брать дело в свои руки!

Полов кивал ему в ответ, а на губы просилась ироническая улыбка: сколько лозунгов, сколько патетики!

Положив на стол заявление об уходе, Полов пристально глянул директору в глаза:

— Ухожу потому, что сегодня вы сильнее. Сегодня мне вас не одолеть. Но я ухожу не совсем и не навсегда. Вернусь и очень скоро. Вернусь и вышибу вас с этого места, с корнями вырву, как раковую опухоль.

— Иди, сопляк, иди. Уму-разуму наберись. А придешь — поговорим.

Директор аккуратным почерком наложил резолюцию на заявление Полова.

...Подполковник с «крылышками» в голубых петлицах не вербовал. Говорил по-армейски прямо и вразумительно.

— Учиться вам предстоит год. Дальше — лейтенант, самостоятельность в пределах армейских норм и та жизнь, та служба, которые вам известны. Согласны? В таком случае пишите рапорт.

Работал Полов всерьез. Без звезд с неба, но с той надежностью, которая гарантирует рождение мастера. Летал лучше других. Начальство попридерживало: не рискуй, летай по программе, предпосылки к происшествиям нам не нужны.

А ему хотелось риска. До винтика изучив Ми-8, Сергей знал, чувствовал, что машина способна намного больше, чем из нее «выжимают» инструкторы, не говоря уже о курсантах.

— Ты или гробанешься, или асом станешь, — говорил Полову пожилой инструктор, — но только не здесь. Понял? Мне этого не нужно.

Это пригodiлось потом. После сопков, морозов и снежных буранов Дальнего Востока. Потом. А на Дальнем... Заме-



ститель командира полка по боевой подготовке, только раз поглядев на пилотажа Полова, долго потел и дышал как после трехкилометровки. Вызвал. Сказал:

— Еще раз увижу половину твоих выкрутасов, летать не дам.

А по-иному Сергей уже не мог и не желал летать. Не желаешь? Отлично. Летай, но летчиком-штурманом. На коленях — карта, перед глазами, там, внизу, плоские, щербатые горы, зеленые и бурые провалы между ними. Летай и гляди, сверяй карту с местностью. Сзади и выше идут истребители. Заметил цель — бомбой в нее. Остальное доделают те, кто «сзади и выше», а ты снова лети, сверяй, ищи и показывай. Собыют? Могут и сбить. Вот понимание, а скорее предошущение этого избавляло от скуки. Был обыкновенный, привычный риск. Впрочем, нет, к риску не привыкаешь. Но без него начинаются однообразие и тоска.

Громыкнуло так, что потемнело в глазах и все тело наполнилось звоном. Воздух в кабине мгновенно сгорел. Почувствовав непривычную легкость, Сергей сообразил, что машина падает. Ринулся к пилоту. Не разбираясь: жив, оглушен или убит, сдвинул его с сиденья, взял управление. Еще не слыша звуков, не зная, работает ли двигатель, он сделал то, за что его списали бы с летной работы немедленно... Но это там, в училище или на Дальнем Востоке, а здесь вертолет вышел из пикирования не под пятнадцатью градусами, а под всеми шестьюдесятью. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — сказал бы любой, кто хоть маломальски знает вертолет. Но машина вполне благополучно села. Экипаж остался жив.

Только потянувшись к кружке с водой, заметил: руки дрожат. Обычно «сбитых» долго выдерживают на земле, давая успокоиться, вернуться в психологическую норму. Высиживать нормальное самочувствие Полов отказался. Вот тогда-то впервые сам попросился к мотострелкам, в наводчики.

И снова повезло...

— Забирайся к нам, — предложил командир взвода, кивнув на броню БТР, — тут безопаснее.

Полов поглядел, посоображал и ответил:

— Жарко у вас там.

— Тут скорее поджаришься.

— Переживем, — махнул рукой, устраиваясь на «козырьке» прожектора.

БТР несясь стремительно, и даже горячий воздух гор обвевал приятно. Их не обстреляли, поскольку горы вокруг были уже очищены от душманов. Их подбросило и перевернуло мощным взрывом мины. Встать не смог, хотя «пробоин» на теле санинструктор не обнаружил. В госпитале врач, сощуренно разглядывая рентгеновский снимок, сказал:

— Ушиб. Но без смещений и трещин. Полежи. Скоро отпустим.

Полежал. Отпустили. Но тупая боль в позвоночнике осталась по сей день.

— Какие выводы сделали? — грозно спросил его комэск, вертя в руках бланк выписки из госпиталя.

— Если машина идет на большой скорости, она почти проскакивает мину, взрыв приходится на корму. Садиться надо спереди. А если на малой...

— Не в свои сани не садись! — оборвал его комэск. — Вот какой вывод ты должен сделать, «пехота».

Но и свое место комфортом не баловало. Среди ночи все тот же комэск поднял Полова. Оглядел с ног до головы, спросил:

— Проснулся? Вот что, нужен фокусник вроде тебя. Загнали «духи» наш пост на площадку, а все подходы обрезают. У парней вода на исходе, да и с боеприпасами худо. Днем не подлетишь — сшибут. Можно только сейчас. Но там... Как ты там устроишься, я не представляю. Полетишь?

— Устроюсь, — кивнул Сергей, — покажите, где это.

...Площадка оказалась карнизом, над которым нависал базальтовый козырек. Лучи прожектора выхватили эту «обстановку» из тьмы, и Полов понял, что ни сесть, ни причалить к карнизу невозможно. «Только брюхом, если зацепиться колесом за край, чтобы лопасти были параллельны козырьку, — подумал Сергей с каким-то отвлеченным интересом, словно не ему самому предстояло выполнить этот смертельно рискованный трюк: — Благо комэск не увидит...»

Не поняли, что к чему, даже члены экипажа. Вертолет провисел на одном колесе ровно столько, сколько было нужно для разгрузки воды, пайков, боеприпасов. Лежа на боку, Полов держал



его, заливаясь потом и уговаривая: «Ну, давай еще чуть-чуть, ты же славная машина, ты же и вверх колесами летать умеешь. Потерпи еще малость. Вот молодчина! Теперь полетели».

Спина болела неделю, дольше чем после контузии. А парни там, на карнизе, продержались. И комэск сказал:

— Сумел? Как — не спрашиваю. Я тебя к ордену представляю, к Красной Звезде. Ты заслужил его. По совокупности...

Мелькали горы и ущелья. Звенели по металлу вертолета душманские пули. В ответ им летели бомбы. Мелькали дни и недели. В один из них комэск сказал:

— Все, Полов, отвоевался. Через три дня — в Союз.

Оказалось, что минул год. Как день, если не считать тех самых минут: выход из виража, взрыв БТР и висение на одном колесе над пропастью. Вот в них вместились судьба.

Радовался возвращению? Честно говоря, нет. Понимал: начнется то же самое, от чего улетел год назад, — инструкции и будни, в которых твое, боями проверенное мастерство никому не нужно.

Понимал и не ошибался. В подмосковном авиационном полку были порядок, точность, тренировки, строгость и все прочие слагаемые мирного армейского быта. Не надо было висеть на одном колесе или выходить из сумасшедшего пике.

— Не надо мне ваших афганских штучек, запомните это раз и навсегда, — рубанул по столу ладонью командир полка.

— Тогда я вовсе летать не буду, — спокойно, но твердо ответил Полов.

— Пишите рапорт, — тут же согласился командир.

Вспомнив ранение и ощутив давнюю боль в позвоночнике, Полов обратился к медикам. Те посмотрели, пощупали, решили: «Летать не рекомендуется».

И начались будни руководителя полетов. И побежали по листу бумаги первые строки рапорта с просьбой «отправить для оказания помощи братскому народу Афганистана...».

От неудобных, настырных, «даже умелых» принято избавляться. А тут — чистый, честный патриотизм. Как не удовлетворить! И в один прекрасный день года 1984-го капитан Сергей Полов благополучно пересек воздушную советско-афганскую границу.

Теперь он был наводчиком не по собственной инициативе, а по должности.

...Полов остановился, оглядывая скалы. Достал карту. Сверился. Прикинул: через пару километров будет точка встречи с мотострелками. Отстегнул фляжку. Хлебнул горячей, затхло пахнувшей воды. Побулькал ею и выплюнул. Минут через пятнадцать начнется его «третий раз». А первый...

Он состоялся юго-западнее Шинданда, близ населенного пункта Андрескан. Гремели и стонали горы, звон и свист оглушали, вжимали в камни. Вадик Лебедев, тоже капитан и тоже наводчик из соседней части, подполз к Полову и, перекрикивая грохот, указал на огромный камень, прижавшийся к подошве скалы.

— Вот там, за ним пара засела, видишь?

Полов пригляделся. Да, трассеры очередей хлестали оттуда, нащупывая наших парней, залегших там и тут.

— Стрелкам к ним не добраться! — кричал Вадим.

— А нам?

— Прикрывай, не давай им выглянуть, а я — вперед. Потом я тебя прикрою. Понял?

Нащупав прицелом тот срез глыбы, из-за которого высывались стволы пулеметов, Полов дал длинную очередь, вторую, третью. За эти секунды Лебедев успел промчаться метров тридцать. Упал. Отполз за камень. Замер «Целится», — понял Сергей и собрался, напружинился для броска. И едва застрочил автомат Вадима, Сергей огромными прыжками помчался к глыбе. Свалился чуть впереди Лебедева. Сменил магазин. Отмахнул Вадиму: вперед!

И вот так, поливая огнем срез каменной глыбы, оба наводчика приблизились к ней вплотную, обогнули рывком и... опешившие от неожиданности бандиты, уронив оружие, подняли руки. А Вадик Лебедев погиб. Нет, не в этом бою. Потом. Погиб не в небе, хотя и был вертолетчиком, а на земле, среди мотострелков.

Среди мотострелков воевали и Сережа Дроздов, и Володя Малахов. Да как воевали! О них не легенды ходили, а та самая правда, которую и приукрашивать не надо. Вдвоем в тесном ущелье они отбивались от банды. Сергею перебило обе ноги. Малахов, собой прикрывая друга, втащил его в полуразбитый дом



и оттуда громил душманов до глубокой ночи, оставив для себя по гранате на самый последний случай. Но случай оказался не последним.

В передышке, выпавшей на несколько минут, Володя обнаружил, что занятый ими дом переходит в пещеру, а в ней гора оружия: пулеметы, английские буры, тьма боеприпасов! И два офицера продолжили бой до утра, до подхода подкрепления...

«Второй раз...» Запомнился и он.

Их десантировали ночью в скалах. Но не в тех, в которых планировалось. Поняли это, почертыхались, но что делать, надо идти к «тем».

Командир батальона десанта решил вести людей по дну ущелья.

— Рискуешь,— сказал ему Полов,— ударят сверху...

— Не больше, чем всегда,— ответил тот.

— Тогда я с тобой не пойду. Дай мне пару человек, пойду верхами. Если что — прикрою вас...

Людей комбат дал. И они пошли по гребню скал. Спустя полкилометра наткнулись на наших солдат, уже неделю скитавшихся в горах. Напоили, накормили, поделились патронами, повели с собой. Теперь их стало восемь человек — почти отделение, и в бой, разгоревшийся через пару часов, они ворвались неожиданно для врага и губительно для него.

Теперь о награждении капитана Полова вторым орденом Красной Звезды ходатайствовали мотострелки. Им доблесть наводчика была виднее.

...Своих Полов увидел издали. Просигналил: «Я свой». Его встретили. Проводили к старшему начальнику. Прикрепили радиста.

— Прямо отсюда и начнем,— кивнул офицер на подошву горы. — Вон туда, вслед за солнцем. С нами пойдешь?

— Да, в самой середине,— ответил Полов, выбирая взглядом центр «подковы», образованной мотострелками,— но на некотором удалении.

— Тогда рядом со мной,— согласился комбат.

— Нет, вам от меня лучше подальше держаться.

— Понял,— кивнул комбат.

Просачиваясь между камней, прощупывая взглядами расщелины и ниши, мотострелки начали подъем, обходя отвесные скалы и зыбкие осыпи щебня.

Глубоко втянув в себя порцию горя-

чего горного воздуха, Сергей напрягся всем телом, ощутив себя упругой стальной пружиной. Резко выдохнув и расслабившись, он пошел, стремительно меняя направления,— вправо, резко — влево, еще левее, так, чтобы в створ между ним и скалами попадали камни покрупнее, а рядом оказалось хоть что-то, могущее стать укрытием.

Этому — готовности мгновенно затеряться меж камней, стать невидимым, со всех сторон защищаться он научился давно, еще в свою первую поездку в Афганистан. Даже устраиваясь на ночлег в горах, он выбирал место позащищеннее. Если такого не оказывалось, он создавал его сам: ворочал камни, углублял впадину, загораживался от возможных пуль или осколков со всех сторон. Наблюдавшие за его работой порой саркастически улыбались. Игнорируя их улыбки, он советовал: делай, как я. Он оставался цел и невредим, кое-кого же из тех, улыбавшихся, бывало, и недосчитывались. Полов только мрачнел, а при случае непременно делал то же самое.

— Да, я хочу выжить, хочу обойтись без пробоин там, где это возможно,— серьезно говорил он друзьям,— я приехал сюда помогать друзьям, а не выхлопотать похоронку.

Полов шел, чуть отставая от мотострелков, и, чтобы не нагнать их, петлял шире влево и вправо. Нет, в гущу своих он не войдет. Очень скоро ему предстоит вызвать огонь банды, и тут ему надлежит остаться одному против всех, засевших в скалах. Сколько их там, кто знает...

Тело подчинялось ему каждой клеточкой, казалось легким, готовым к мгновенному броску, рывку вперед, в сторону. Это ощущение силы, ловкости, пластичности нравилось Полову, именно его он считал состоянием абсолютной боеготовности, лучшим состоянием мужчины-воина. Ничего подобного там, в Союзе, он не ощущал даже в минуты максимальных напряжений. «В таком состоянии человек непобедим и неуязвим»,— был уверен он, и вся прежняя жизнь не могла оспорить этой его убежденности. «Вот это — то самое, без чего уже пустовато, скучно, неполноценно будешь себя чувствовать всегда»,— полагал он и понимал, почему его так тянуло сюда, «за речку» — в смертельный риск, в каждодневные опасности, в готовность пожертвовать



всем для этой земли, ее стариков, женщин, мальчишек...

Солнце теперь било в глаза, и Полов недовольно шурился. Через четверть часа подозвал к себе радиста:

— Давай-ка мне твою бандуру, а сам иди вместе со всеми. Понял?

— Ну что вы, товарищ капитан, это же...

— Ладно, давай и бегом в цепь, — отсек его вежливые препирательства Полов. Не прошли они и километра, как из-за камней, залитых солнцем, ударили очереди.

— На-чалось, — холодно и раздельно выговорил Полов, припав на колено. Взгляд мгновенно отыскал местечко между трех валунов, отгораживавших его от солнца. Рывок. Залег. Поставил рацию. Щелкнул тумблером.

Вокруг свистело и ахало.

— Квадрат, — неторопливо и внятно выговаривал Полов, прилаживая к глазам бинокль, — выходить лучше курсом...

Перекрестье бинокля плавно скользило по склону горы, вправо, влево, выше, выше...

Уловив нарастающий гул двигателей, Сергей положил рацию. Вынул ракетницу, пристроил рядом. Достал дымовую шашку. Поглядел на руки и холодно улыбнулся: «Что дрожишь, скелет?»

— Вижу наводчика, — доложил пилот-штурман.

— Вижу цели, — ответил ему пилот.

Из желтого сигнального облака к гряде камней, потом к дырам пещер уносились красные пушистые нити ракет. А обратно, в облако, тянулись трассы, дымные следы ракет «земля — воздух».

— Кого это они так? — с тревогой спросил штурман.

— Полова нашего, — ответил пилот.

— Полова? Ну, этого мужика так просто не достанешь, — как можно увереннее ответил штурман, но в голосе его позванивала тревога.

## ЭПИЛОГ

Телефонный звонок остановил мою работу над очерком, точнее, над шлифовкой его, на несколько дней. Звонил Полов.

— Здравия желаю. Это Сергей. Знаете, я вот тут посоображал и решил вас проинформировать. Помните, я говорил о том, что намерен написать рапорт с просьбой отправить меня в Афганистан третий раз? Так вот, рапорт я не написал, но устно с командованием переговорил. В минувшую пятницу мне предложили оформить эту просьбу официально. Более того, предложили новую должность — майорскую, «летающую»... Дали возможность подумать до понедельника.

А вчера мне приснился сон. Нет, я не мистик, как вы догадываетесь, но... Словом, приснился мне Вадик Лебедев, тот, с которым мы двух душманов в плен взяли. Потом он погиб, я вам рассказывал об этом. Так вот, он подходит ко мне и спрашивает:

— Слышал, ты снова «за речку» просишься?

— Прошусь, — отвечаю.

— Не надо, — говорит, — ты ведь снова летать собрался. На земле, наводчиком, на тебе и царапины не было бы, а полетишь — собьют. Я это точно знаю.

Я даже проснулся от этих слов. Дело в том, что Вадика я любил и верил ему всегда безотказно. И уж если он меня отговаривает...

Короче, рапорт я не подал, от предложения отказался. Буду служить здесь. Наверное, правда то, что и у риска есть потолок. Я своего потолка достиг.

В трубке пошуршала пустота. Потом Сергей с трудом выговорил:

— Как видите, я никакой не герой, обыкновенный человек. Стоит ли обо мне рассказывать?.. Прощайте.

Я задумался: стоит ли? Решил: стоит.



Ю. ТЕПЛОВ

# «СКОЛЬКО ШАГОВ ДО ПОЛЮСА?»

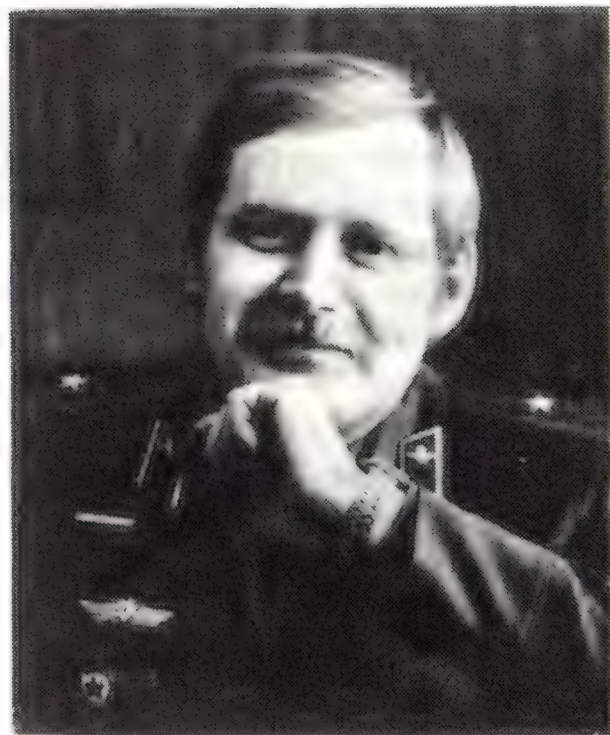
Один... два... четыре... Упал. Надо подняться и идти. Встал. Пошел. Сколько шагов до полюса? Сколько раз надо подняться?.. Разве может быть сразу и жарко и холодно?..

Жарко было там, на скошенном поле, которое началось на выходе из зеленой зоны. Посреди поля стояла виноградная сушилка, и у самого входа в нее росло дерево. Сушилка и стала для них укрытием.

Впереди, за арыком, разрушенный дувал, откуда без передышки — то враз, то по одному стреляли два пулемета. Справа, из русла сухого арыка, бил гранатометчик; все метил в сушилку, но — видно, судьба им еще улыбалась — с большим превышением мазал. Лишь последней гранатой угодил прямым попаданием в дерево у входа и смолк. Дерево скрипуче рухнуло и легло, поперек, проткнувшись в землю сучьями. Прикрыло от пуль, но и затруднило обзор, а значит, и корректировку огня...

Вертолетчики заходили на второй круг. Первый их удар обозначился серо-грязными снопами взрывов за арыком. А «духи» были совсем близко, метрах в ста двадцати. Сползались с двух сторон к сушилке, еще не решаясь на открытый рывок из-за встречного автоматного огня.

Приподнявшись, он метнул в их сторону дымовую шашку, и рваная оранжевая лента потекла по ветру.



Майор  
Гринь А. С.

Сипло и отрывисто передал вертолетчикам по рации:

— Работайте вокруг 100!..

Вот тогда было жарко. Солоно и жарко... Здесь же — озноб и липкое тепло от немеряных шагов по ледяным торосам. И надо считать шаги, надо двигаться вперед, как двигался когда-то великий скандинавский полярник.

Он попытался вспомнить его фамилию и не смог. Хотя раньше всегда помнил, с тех пор, как прочитал в детстве о нем книгу. Сейчас мешали следы на снегу, тяжесть в голове и безлюдье...

А в тот день они лежали один к одному и вели редкий огонь. Он приказал стрелять только по целям, патроны экономить и не лупить в белый свет, потому что неизвестно, когда подойдет обещанное подкрепление. Приказ был держать оборону.

— Вокруг 100! — кричал он вертолетчикам, просунув повыше сквозь ветви оранжево дымящую шашку. — По дымам работайте, туда вас и туда-то!

Он понимал, что «вокруг 100» — это ничтожно мало для них, это соло на скрипке, когда нельзя сфальшивить: любое неточное движение пилотов — и по своим. А «по дымам» — даже не вокруг... Но деваться было некуда и думать о себе было некогда. Лишь сын Сережка на самый маленький миг мелькнул в его мыслях как видение.



И еще запомнилось белое лицо сержанта Валентина Богданова, когда тот, запрокинув вверх темноволосую голову, тоже заорал в небо, словно надеялся, что его услышат:

— Работайте-е-е!..

В той жизни все было ясно, как в тире: свои и чужие. Вот только время было таким же густым, и не поймешь, летело оно или ползло. В той жизни часы вообще меняли ритм: то вскачь, то как арба по кочкам, или совсем замирали, когда молитва муллы возвещала приход нового дня:

«Алла-ах а-акба-ар!..

— Алла-ах а-акба-ар!»

Он прислушался. Слова молитвы хотя и едва доносились, но звучали въяве. Наверное, где-то рядом была мечеть... Значит, та жизнь продолжается?.. Ни шагов, ни полюса... Значит, опять сон и пора просыпаться?..

— Скоро проснется,— услышал он чей-то голос, похожий на голос жены. Но не ее, просто похожий, как уже чудилось в эти дни не раз.

И открыл глаза.

Увидел сначала белый потолок, потом размытое в синеву окно и уже после смутно — троих в белых халатах. Подумал с облегчением: «Значит, в госпитале».

Окно стало ярче, он даже заметил черные провода за стеклом. Скосил глаза и обнаружил капельницу. Левая рука была перехвачена белым пластырем, прижавшим иглу.

— Как чувствуете себя? — Крупное мужское лицо в очках приблизилось вплотную.

— Нормально,— ответил он и услышал свой шепот будто со стороны.

— Давайте знакомиться,— сказал врач и назвал свою фамилию.— Вы?

— Капитан Гринь,— сипло представился он в ответ.

— А имя-отчество?

— Александр Сергеевич.

— Вот и прекрасно,— сказал врач.

Повернулся к своим коллегам, что-то невнятно прогудел. Снова повернулся к нему:

— Пальцами ног, Александр Сергеевич, можете пошевелить?

Он кивнул.

— Ну-ка, левой?.. Хорошо. Теперь правой?.. Молодцом! Скоро на поправку пойдем...

Подошла сестра, протянула на узкой

ладонь несколько таблеток, поднесла к губам бокал с водой.

— Выпей, усатенький.

Ее голос опять напомнил ему голос жены. Она легонько поправила подушку, коснулась сухой ладонью лба.

— До свидания, товарищ капитан Гринь,— попрощался врач. — Отдыхайте.

Они ушли. А он, успокоенный и уже припоминающий, что было до госпиталя, попытался выстроить все события по времени.

Тот бой у сушилки был летом. А сейчас декабрь или январь?.. Тогда, летом, некуда было деваться, даже с Сережкой успел мысленно попрощаться. И ведь пронесло. Вертолетчики сработали, как ювелиры. И подкрепление подошло вовремя.

Когда вернулись в городок и сержант Богданов, пыльный, поцарапанный, с кровоподтеком на щеке, потянулся к своей гитаре, Гринь сказал ему:

— Я еще увижу тебя, Валя, в смокинге. На большой сцене...

А жизнь, она вон как располагает. Неизвестно, как уронит и когда. Там, где шансов было мало, обошлось... А через несколько месяцев на укатанном месте, почти у ворот городка, после того, как по мосту прошли больше десятка машин, наехал на мину. Сначала он ничего не понял, даже не услышал взрыва. Его выкинуло через командирский люк, перебросило через башню. Потом трянуло еще раз. Уцепившись одной рукой за скобу, он увидел, как БМП потянуло к перилам, легоньким, как дачное ограждение.

— Механик, стоп! — закричал он.

Но машина все ползла, и уже почудилось, что она вот-вот рухнет вниз.

— Меха-аник!..

Видно, тот все-таки успел очнуться и застопорить ход. Гринь попытался подняться, и тут боль пронзила ноги, руки, голову... Заметил, что к машине бегут с той стороны моста лейтенанты Пустовой и Дрозд.

— Что с тобой, командир? — тревожно спросил Пустовой.

— Ноги, черт возьми! Эвакуируй десант...

Шел дождь, линовал вкосу свет фар, направленный с той стороны реки.

— Экипаж — все целы, командир,— доложил Дрозд. — Только механика контузило...



Его понесли через мост на руках до БМП.

— Клади на броню,— сказал Гринь.

А когда положили на чьи-то бушлаты, проговорил просительно:

— Курить хочу.

Пустовой сунул ему недокуренную сигарету. Он затянулся, и сознание потонуло в дыму...

А в это время в ординаторской шел разговор.

— Пусть узнает позже,— говорил главный хирург,— слаб еще. Следите, сестра.

— И так слежу, жалко усатенького,— ответила та. — Только ведь он не один у меня.

Хирург вздохнул: медсестер не хватало. Сказал озабоченно:

— Капитану — максимум внимания.

— Когда его на эвакуацию-то?

— Когда окрепнет...

Его разбудил солнечный луч, упавший на лицо. Сначала показалось, что в палате никого нет. Потом заметил стриженного санитаря. Да и не санитар тот, видно, был — дневальный из выздоравливающей команды. В чистой нательной рубашке вместо халата, тощий, как велосипед, он сидел, привалившись к подоконнику, и читал книгу.

— Боец! — позвал его Гринь.

Тот поднял голову, слабо улыбнулся, сказал:

— Сестру кликнуть?

— Не надо. Помоги лучше приподняться. Спина затекла.

Дневальный неуклюже подсунул под подушку руки, подтянул капитана повыше, приспособил под спину еще подушку.

— Хорош,— сказал Гринь, оказавшись в полусидячем состоянии.

Дневальный отошел. Гринь с минуту сидел, отдыхая. Потом откинул здоровой рукой одеяло. Сначала ничего не мог сообразить, тупо и недоуменно уставившись на белые бугры бинтов ниже паха. И на белую простыню — там, где должны быть ноги. И тут же все вспыхнуло в голове вместе с пронзительным пониманием случившегося. В виски ударила горячая волна, наполнила затылок, сотни иголок воткнулись в ноги, которых у него уже не было...

Наверное, лицо его стало страшным,

наверное, он застонал, не ощутив этого, лишь услышал, будто из-за окна, испуганный голос дневального:

— Товарищ капитан, вы что?! Товарищ капитан, не надо!.. Сестра! Доктор!

Когда вбежала сестра, лицо у Гриня было пепельно-серым. Дневальный растерянно оправдывался:

— Я же не знал! Он сидел нормально, потом про какой-то полюс закричал, и голова откинулась...

В Ташкенте выпал снег. Он шел все утро и полдня, мохнатый и мягкий. Снежинки роились за окном, и Гринь представлял, как снег выбелил землю, устелил пышными одеялами крыши домов, повис мягкими клоками на ветвях деревьев. Гринь соскучился по зиме, по чистому снегу. Закрыв глаза, видел подмосковный лес, заледеневший водоем с дюжими рыболовами у лунок, знакомую лыжню вдоль берега, убегающую к березовой опушке.

Теперь — все, думал он. Не для него лыжня. И много чего теперь не для него. Временами ему казалось, что никакой другой жизни, кроме Афганистана, не было в его биографии, что остальное все — сон. Только сын Сережка существовал в том сне осязаемо, а все другие люди, близкие и неблизкие, виделись как сквозь туман.

Госпитальная жизнь заставила Гриня примириться с увечьем. Но не свыкнуться; может, потом когда-нибудь и придет это «свыкнуться», но для того надо, чтобы жизнь влилась в какое-то русло, чтобы берег был с надежной пристанью. Пока же — ни берега, ни пристани, ни русла...

Он никому не писал о том, что с ним произошло. И не мог, потому что кисть правой руки была еще в гипсе: осколками перебило пальцы. Да пока и не хотел. Собирался с духом, как перед прыжком через ледовую трещину. Больше всего он боялся причинить таким известием боль своим близким. Мать, конечно, заплачет, загорюет, но постарается не показать виду. Окружит заботой, даже с избытком будет той заботы на мужской характер. Матери всегда матери.

А вот как поведет себя жена? Гринь старался не думать о том, потому что не представлял. Не получалось.

Они поженились в Казани, когда он заканчивал военное училище. Хотя,



планируя будущую офицерскую жизнь, он отодвигал женитьбу «на потом». Когда пообвыкнет в новой жизненной роли, наберется житейского ума-разума. Но последняя весна все смешала, любовь пришла, как обвал, и без оглядки потянула в загс. Узнавание друг друга началось потом и шло негладко. Да и когда притирка характеров бывает гладкой?.. Он вдруг открыл для себя, что служба и семья нередко вступают в противоречие. Что жена не хочет понять, что такое подчиненные — целый взвод, и все с разными биографиями и характерами. И жена для себя сделала открытие, что она не свет в окне для своего лейтенанта, что казарма светит ему чаще и сильнее... Да и денег за такую каторжную работу, как у него, платят негусто: там — нехватки, тут — прорехи. А самой и негде работать в гарнизоне, и время не то — ходила беременная.

Как бы то ни было, а потихоньку притирались, клепали семейную ладью. Когда родился Сережка, и вовсе жизнь вошла в стабильную гарнизонную колею...

И все же Гринь не знал, как она теперь отнесется к нему, безногому... К тому, что написал рапорт с просьбой направить служить в Афганистан, отнеслась спокойно. И провожала спокойно. Писала на полевую почту не то чтобы часто, но аккуратно два раза в месяц. Все больше о Сергее: как растет, как готовится к школе. Вкладывала в конверт сыновни рисунки, которые Гринь аккуратно хранил в нагрудном кармане. Они и теперь с ним, лежат в прикроватной тумбочке в целлофановом пакете.

И еще одна дума не давала капитану покоя: кем теперь ему быть? Освоить сапожническое ремесло?... Пойти на бухгалтерские курсы?..

Он мечтал после возвращения из Афганистана учиться в академии имени Фрунзе. Даже возил с собой учебники. То, что касается тактики, читал с пристрастием, потому что на войне проверялась она потом и кровью. И записывал свои мысли о том, чего, на его взгляд, не хватало в наставлениях, особенно при боевых действиях мелких подразделений в горно-пустынной местности.

Нет для него, бывшего командира роты, академии! Нет даже армии, с

которой сжился, слился и без которой не мыслил себя.

— Не горюй, сынок, — сказала как-то пожилая нянечка. — Пенсию тебе положат хорошую. «Запорожец» дадут. Проживешь!..

Разве дело только «прожить»? Разве получить пенсию, надеть пиджак с орденом и сесть за персональный руль — главное?.. Нет, нянечка, нужен стержень в жизни, а не просто сытость...

А мысль мелькала: может, оставят в армии?.. Были же такие случаи. И раньше — в Отечественную, и сейчас. Служит же бывший командир полка подполковник Комаров на протезе, преподает в академии... И тут Гринь сам себе возражал: успел в свое время закончить академию, потому и преподает. И на маленьком протезе, а не на больших...

Входила и выходила медсестричка с пилулями, уколами и перевязками. Навещали по утрам хирурги, профессионально добрые, с усталыми глазами. Гринь не знал, что врачи вытащили его с того света, что, спасая от гангрены, ампутацию производили двумя бригадами одновременно...

Однажды, зайдя в палату, начальник отделения сказал:

— Не волнуйся, Александр Сергеевич. К тебе приехали.

— Кто? — растерялся Гринь.

— Мать...

Он ожидал ее, конечно, волнуясь, и больше всего боялся, что она сразу расплачется. Но она вошла с улыбкой, будто ничего особенного и не произошло. Наклонилась к нему, поцеловала, провела рукой по шраму на виске, по небритым щекам.... Сказала:

— Похудел-то как... А я тебе вкусенького привезла... — Улыбалась, а в глазах слезы.

— Теперь я рядом буду, — продолжала она, выставляя на тумбочки свертки и банки. — А послезавтра жена прилетит...

Гринь вздрогнул. Он не ждал этого.

— Откуда узнали? — спросил.

— Из госпиталя сообщили. И жене в Казань — тоже. Да ты, сынок, не тревожься, все будет хорошо...

Время до «послезавтра» то тянулось, то бежало. Снег на улице растаял, и по-весеннему теплое солнце проникло сквозь окна.

Жена вошла, сказала с порога:



— Здравствуй.

Он глядел на нее неотрывно, пытаясь поймать взгляд. Она заскользила глазами по палате, заметила стул, прошла к нему, села на удалении от кровати. Спросила:

— Ну, как ты тут?

Он хотел ответить: «Сама видишь». Но промолчал. Все разглядывал ее. Она чуть похудела за то время, пока они не виделись, и в лице появилось что-то незнакомое. Это незнакомое было явно чужим. Он не хотел, чтобы ей было неуютно и тягостно. Спросил:

— Как Сережа?

— Я не взяла его с собой,— оживилась она. — Сам понимаешь...

И стала рассказывать, что сын их уже знает буквы, любит, когда ему читают сказки. Рассказывала подробно, с заблудившейся на лице улыбкой, об одном, о другом, словно боялась остановиться. Он слушал внимательно, даже переспрашивал. И вдруг подумал: «Общее — только сын». Подумал украдкой от себя, отогнал эту мысль, и тут же снова: «Это что — конец?» Сказал:

— Через несколько дней меня отправляют в Москву. В госпиталь Бурденко. Заказали три билета.

Она согласно кивнула, и он решил, что никакой не конец, что она просто растеряна. Наверное, нелегко привыкнуть к тому, что муж — калека. Для этого надо время и надо, чтобы рядом был сын.

— Тебя покормить? — спросила она.

— Нет. Тут я сам управлюсь.

— Тебя демобилизуют?

— Комиссуют,— ответил он...

Вошла медсестра со всем набором лекарств и медикаментов. Жена торопливо встала, сказала:

— Завтра приду в это же время,— наклонилась к нему, скользнула губами по щеке. Хотела что-то еще добавить, передумала, помахала пальцами...

До отлета в Москву мать и жена приходили каждый день, но порознь. А когда наступило время ехать в аэропорт, жена виновато проговорила:

— Я не могу, Саша, ехать в Москву. Мне нужно в Казань.

— Хорошо,— согласился он, понимая, что хорошего в этом ничего нет...

Так сколько же шагов до полюса?..

Гринь больше не терял сознания, но о полюсе, пригрезившемся ему в бреду,

помнил. И считал, что главное — сделать первые шаги. Не сейчас, позже, когда будут протезы. А там он пойдет, там уже от него все будет зависеть. И все равно доберется до своего полюса!

Об этом он думал постоянно, сначала — подспудно и робко, затем — осознанно и четко, особенно когда видел за госпитальным окном мохнатые неторопливые снежинки.

Вечерами к нему в палату заглядывал подполковник Николай Иванович Науменко. Он тоже служил в Афганистане, лишился обеих ступней ног. И тоже кочевал по госпиталям, пока не оказался в Москве, в госпитале имени Бурденко. Ему уже сделали протезы, и он учился ходить. Гринь узнавал его шаги еще в коридоре, до того, как он распахивал дверь в палату.

— Пиши, Саня! — категорически советовал Науменко. — Маресьев без ног на боевом самолете летал. А по земле ходить легче!

Он был отчаянным оптимистом и вечно полон всяких жизненных планов. И главным — остаться в кадрах Вооруженных Сил. Написал уже с десятков рапортов в разные инстанции, получил несколько ответов, в которых не было ни «да», ни «нет», и продолжал верить в «да».

— А нужны мы такие армии, Николай Иванович? — спрашивал Гринь.

— Ей нужны не только ноги, но и головы,— отвечал Науменко. — А в наших головах — опыт. Я вчера министру обороны письмо отправил...

Конверты с рапортами он вручал жене, каждодневно появлявшейся по госпитальному расписанию, и подробно инструктировал, как, через кого и кому передать.

А жена Гриня была в Казани...

Он вспоминал ее, с сомнением, с опасением, с оглядкой.

Чаще всего — как она появилась в дверях, как подвинула стул и села поодаль от кровати. Тот стул не давал покоя, наводил на всякие мысли и предчувствия. Гринь прогонял их, и снова к ним возвращался, и перебирал прошлую совместную жизнь, иногда казня себя самого. Да, бывал и несдержан, и груб бывал, чего греха таить.

Силился представить ее ощущения,



когда она узнала о случившемся, когда увидела его в ташкентском госпитале. Конечно, для нее он — минус половина жизненных радостей. А жизнь-то почти вся впереди... А может, и появился кто-нибудь там, занял его место, пока он лежал под огнем у виноградной сушки...

Он понимал, что травит себя такими мыслями, говорил себе: стоп! И тут же появлялся перед глазами маленький Сережка, такой похожий на мать. Все запутывалось, и спасение было только в том, чтобы переключиться, чтобы заполнить голову другим — жестко-откровенными беседами с Науменко, например, или тихими разговорами с матерью.

Тамара Владимировна навещала сына часто. Однажды она сказала ему:

— Ты можешь поступить в университет. Еще не поздно для тебя. Я узнала, без всякого конкурса.

— Нет, мама,— ответил он.

— Почему?

— Хочу остаться в армии.

— С ума сошел!

— Я все обдумал, мама. Принеси хорошей стандартной бумаги и авторучку...

На другой день он долго и мучительно сочинял рапорт командующему воздушно-десантными войсками. Начал с подробностей своей офицерской биографии, которая, на его взгляд, оправдывала стремление служить дальше. Но получилось длинно. А людям важна только суть, без эмоций и подробностей. Поэтому писал, перечеркивал и наконец оставил всего одну страницу текста.

Отправил и стал ждать ответа.

Ждать всегда трудно. А его лежащая жизнь вся была соткана из ожидания: ждал ответа на рапорт, ждал отправки в институт протезирования, ждал приезда жены и писем от тех, кто еще оставался там. Десантники его не забывали, передавали приветы и новости в конвертах и с оказией. Сообщили, что сержант Валентин Богданов был ранен в левую руку, хорошо подлатался в госпитале и теперь готовится на «дембель» — лететь к своей еще не жене Наташке, заклинявшей его в письмах: «Вернись живой!»

Новости в письмах были разные: смешные, грустные, тяжелые. Одна защемила сердце — не продохнуть, и собственные переживания показались Гриню маленькими и проходящими. Увез из гарнизона лейтенанта

Петю Дрозда «Черный тюльпан». Так прозвали самолет, предназначенный для транспортировки погибших.

Лежал Гринь в тот час в пустой палате, глядел в потолок и с горечью вспоминал маленького, шустрого Петю Дрозда. Как тот переживал втайне, что не растут у него усы и он один такой среди усатых офицеров. Нет неугомонного Пети. И никогда больше не будет. Как не будет многих других, с кем довелось воевать...

В тот день Гриню в палату принесли книгу. Не понимая, от кого и зачем, открыл ее и прочитал: «Впереди еще много славных дел, а мужества у вас хватит. А. Маресьев».

«Хватит! Должно хватить! — жестко уверил себя Гринь. — До самого полюса».

Вечером он написал еще два рапорта: в Управление кадров сухопутных войск и Московского военного округа. Письмо министру обороны отложил про запас, когда уже все будет исчерпано.

А еще через сутки приехала жена...

У автора не поднимается рука описывать их встречи, предусмотренные госпитальным временем и обязательные, как стояние перед красным светофором. Тогда пришлось бы гневаться, метать стрелы в некоторых представительниц прекрасного пола. А Гринь категорически сказал: не надо!.. Встреч было несколько, пока не состоялся последний разговор, который начал он сам, добавив еще один кирпич к своей ноше.

Это произошло в институте протезирования. Уже давно прошла первая примерка протезов. К тому времени он уже получил на свои рапорта ответы из кадровых органов Московского военного округа и вида войск. В ответах сообщалось, что вопрос изучается. Он воспринял такую официальную неконкретность с пониманием: дело нерядовое, и не известно еще: сумеет двигаться без костылей или нет какой-то там капитан... А вот на воздушно-десантные, почти родные войска, Гринь чувствовал обиду, смешанную с недоумением: оттуда он так и не получил на свой рапорт ответа.

Примерка протезов состоялась на исходе весны, когда по утрам в палату врывалось свадебное шелканье соловьев.



Гринь глядел на свои искусственные ноги, торопясь и в то же время не решаясь подняться на них. Его поддерживали двое, готовые тут же подхватить, уложить. «Сколько шагов?..» — начал и не договорил Гринь и встал. И не почувствовал, что стоит, потому что не ощущал земли, опоры на нее. Стоял так, может быть, минуту или две. Хотел сделать шаг, но голова закружилась, и палата словно погрузилась в сумерки.

— На сегодня хватит, — услышал. И весь взопревший опустился на кровать.

А ночью встал на протезы сам, без посторонней помощи. И сделал первый шаг, держась за спинку кровати. Через несколько дней стал считать шаги, как считал их во сне в ташкентском госпитале.

До того, последнего, разговора с женой оставалось почти три месяца. Потому что она приехала и снова уехала. И он, продолжая на что-то надеяться, готовился к нему, тренируя непослушные ноги, прибавляя каждый день количество шагов: от кровати до двери, до столовой, до лестницы, до спортзала.

В день, когда открыл дверь в спортзал, написал министру обороны. Писал, осознавая, что его желание — это почти ничего, голые эмоции, что многое будет зависеть от заключения врачей, а значит, от него самого, от этих вот шагов до спортзала, от того, как быстро он выбросит костыли. Выбросил же, отправившись на комиссию, подполковник Науменко и добился цели, остался в кадрах. Прощаясь, сказал Гриню:

— Ты тоже добьешься, я знаю...

Август стоял жаркий, щедрый, с редкими теплыми дождями. Садовые скамейки утопали в буйной зелени. Жена взглядывала на него обеспокоенно и настороженно. Он заговорил хмуро, без запинки, словно заранее продумал все слова. Впрочем, так оно и было. Все в нем было натянуто в ожидании, что она испуганно качнет головой, всхлипнет, возразит, проглатывая слова, разрыдается, как это делают российские бабы, отбрасывая напрочь все сомнения. Но она, видно, сама ждала этого разговора, маялась, не зная, как к нему приступить. Растерялась от неожиданности. И с облегчением ответила:

— Да, так будет лучше.

И все. И дождь не пролился из августа.

товских облаков. Они застыли в небе, светлые и тонкие; и лицо у нее было обиженное, как у Сережки...

Наша встреча произошла случайно. Прослужив в армии больше тридцати лет, я увольнялся в запас, оформлял документы в Калининском райвоенкомате Москвы. Заглянув по делу к начальнику третьего отделения, обратил внимание на наградную колодку на его майорском кителе. Увидел планочку ордена Красной Звезды и подумал: за Афганистан. И тут же что-то знакомое мелькнуло в лице хозяина кабинета. Лицо типично русское, но с еле заметной скуластостью, рыжеватые волосы и, конечно же, усы, как знак принадлежности к афганскому братству. И взгляд знакомый: цепкий, но словно бы с затаившейся печалью...

Память мгновенно высветила жаркий и пыльный Кандагар, самую беспокойную провинцию Афганистана, группу десантников, только что вышедших из боя. Они уже были среди своих, но чувствами оставались еще там, у виноградной сушилки, пахли дымом, зноем, порохом... Тогда мы и увиделись с Гринем накоротке и разговаривали впопыхах, на обстоятельную беседу не хватило моего командировочного времени, регламентируемого загрузкой вертолета.

И вот, спустя четыре года, опять свела судьба.

К сейфу была прислонена клюшка. Он поднялся из-за стола, не потянувшись за ней, скрипнул протезами...

Плавали за окном осенние сумерки, загустел вечер, а мы все сидели и вспоминали горячую землю. То прошлое было отодвинуто от нас временем и расстоянием, а сами мы накануне узнали о правительственном решении вывести советские войска из Афганистана. Вот с этой высоты, на которой можно было оглядеться, и тек разговор.

— Как ты сейчас думаешь, Саша, — спросил я, — мы правильно сделали, что ввели туда войска?

— Я не политик, а солдат. Рапорт сам написал. Знаю только, что силой оружия афганский узел не разрубить. А местные власти дров наломали изрядно. Социализм надо строить, а не насаждать.

— Что для тебя и для других командиров было там самое трудное?



Гринь задумался, и пауза затянулась. Наверное, пытал свою память. Потом сказал с запинкой:

— Выносить раненых. Или убитых. Четыре бойца на одного. И провожать «Черный тюльпан»... Между прочим, в газетах об этом только намеками. И враг — вроде бы не враг, а какая-то банда.

— Не журналисты виноваты...

— «Духи» воюют грамотно. Имеют базовые склады в горах, хорошее оружие вплоть до ракет, разведку, связь, эвакуационные средства — тех же ишаков, незаменимых в горах. Иноземные спецы им разработали тактику и даже наставление по ней выпустили...

— А что тебе сейчас труднее всего?

— Слышать, как обивают пороги разных кабинетов бывшие «афганцы», когда добиваются того, что положено: жилья, машины, если инвалид. Даже на протезы записаться — проблема. Помогаю в своей новой должности, чем могу. Только мало могу.

— Кстати, а сам ты получил квартиру?

— Давали. Отказался: пятый этаж без лифта — тяжело... Да разве обо мне речь? И разве только о материальном?..

У многих ребят душа в клочья. Чтобы она пришла в норму, им нужны внимание и постоянное человеческое участие. А их не хватает, вот что страшно. Мы недавно об этом с Валентином Богдановым всю ночь проговорили.

— Он тоже в Москве?

— Нет. Приезжал в ноябре, как участник концерта. Выступал в концертном зале «России».

Я не слышал выступления Богданова и его афганских песен. Но слышал других ребят, там, на местах боев. Вспомнил слова одной из песен:

И как же мне не вспоминать  
Друзей своих погибших лица?  
Да, это страшно — умирать,  
Когда так надо возвратиться...

Возвратившиеся рвутся к жизни по-особому, с обостренным чувством патриотизма и справедливости, а порой и неприкрытой жесткостью к тому, что не принимает их обнаженная душа. Прав, конечно, Гринь: не обижать их дежурным сочувствием, а понимать надо и помогать делом, чтобы каждому засветил свой полюс.

— Не женился еще? — спросил я.

— Пока нет.

— А Сережка как?

— Ходит в школу. В Казани...



**FORBANK**

























ПОДВИГ

















ПОДВИГ









ПОДВИГ

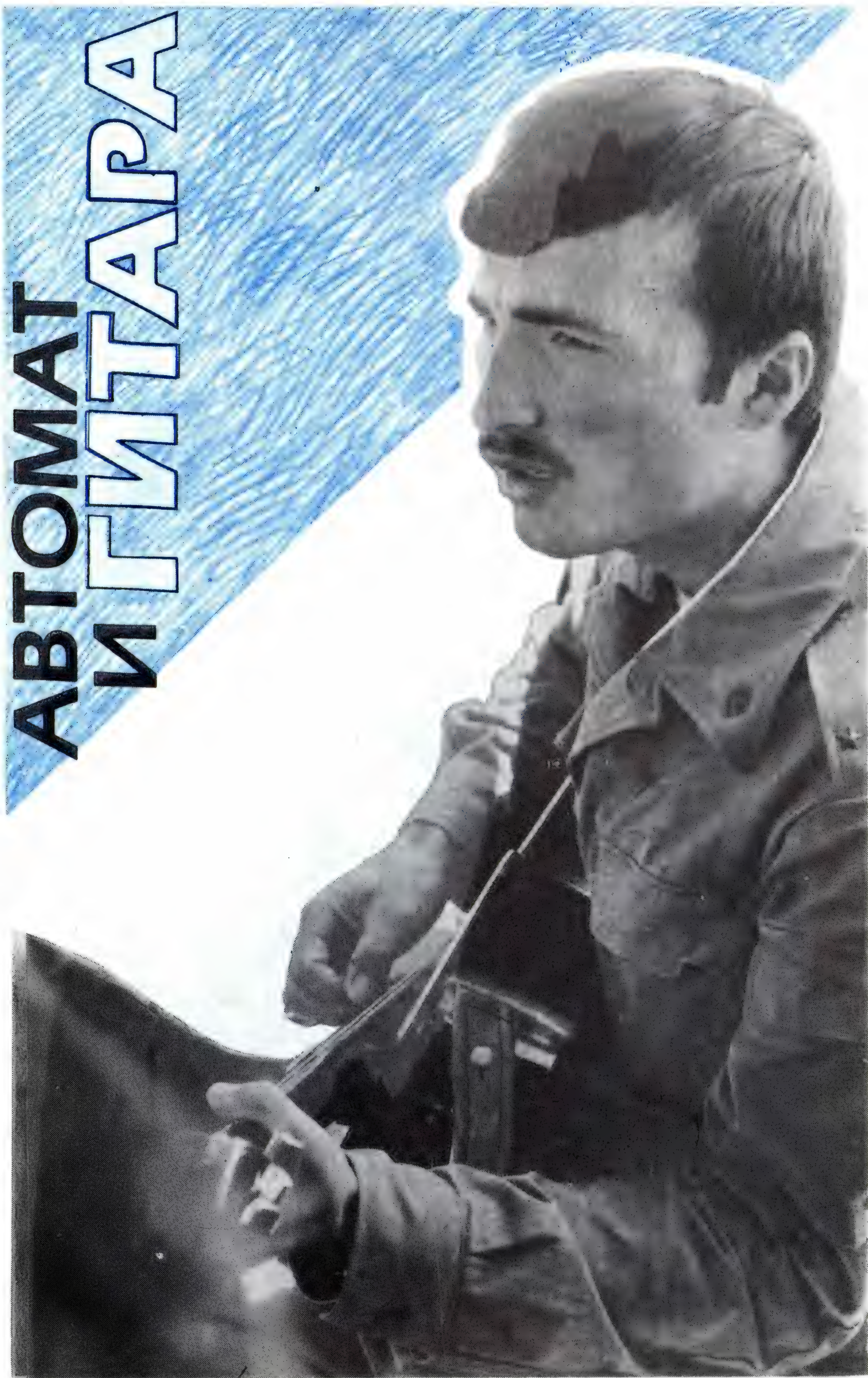








# АВТОМАТ И ГИТАРА





# АВТОМАТ И ГИТАРА

Когда солнце за скалы зайдет  
В этой дальней чужой стороне,  
Мне гитара опять запоет  
О далеких друзьях, о тебе.

Наш еще не зажегся рассвет,  
Нам с тобою пока суждены  
Расставанья — на тысячи лет,  
А свиданья — в антрактах войны.

Я по огненным тропам хожу,  
Жгу подошвы своих сапогов,  
Сколько песен еще напишу  
И друзей обрету, и врагов.

Что же к песне добавить еще?  
Если б кончилось все наконец,  
Я, конечно, тогда б предпочел  
Гриф гитары цевью АКС.

Но опять, выполняя приказ,  
Мы шагаем навстречу судьбе.  
До свиданья! Я в следующий раз  
Допою эту песню тебе.





## КОМАНДИР

Суровые складки лежат у рта,  
Грозно торчат усы.  
Слышим команду: «Всем по местам!»  
Запели моторов басы.

Идем по грунту: пыль и грязь,  
Подъем и опасный крен...  
Комгруппы спокойно держит связь,  
Молча сидит ГСН\*.

В ушах командира эфира звук,  
База ждет результат.  
Спит в колыбели из сильных рук  
Маленький автомат.

Спать осталось недолго ему —  
Уже на подходе объект.  
На перекрестье ТПКУ\*\*  
Тает мартовский снег.

Ветер протяжно свистит за броней,  
Прикрыл глаза командир,  
Через минуты команда «Огонь!»  
Взорвет этот призрачный мир.

И он поведет за собой ребят,  
Веря в свою судьбу.  
Гудят моторы, ребята молчат,  
Они верят ему.

## ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ

Здравствуй, дорогая,  
Из Афганистана  
Я пишу. Как прежде,

---

\* ГСН — группа специального назначения.

\*\*ТПКУ — вид пулемета.

Жив я и здоров.  
Здесь в часы свободные  
Ходим вдоль дуканов,  
Базарнее Кабула  
Я не видел городов.

Не могу рассказывать  
О своей работе,  
Что всегда с оружием  
В город я хожу,  
Что бронежилеты  
Среди нас в почете.  
О ночных дежурствах  
Тебе я не скажу.

Я писать не стану  
О баграмской пыли,  
Тряске в «бэтээрах»  
В горных кишлаках,  
Что во время рейдов  
В переделках были  
И ложились пули  
Рядом, в двух шагах.

Не скажу тебе я,  
Как мы потеряли  
Лучших из товарищей  
В этой стороне.  
Зря своей судьбе они  
Жизни доверяли  
И лежать остались  
На стальной броне.

Но одно скажу я,  
Ангел мой хранитель,  
Что во всех походах  
Ты была со мной,  
Тысячью невидимых  
Связаны мы нитей.  
Я тебе обязан  
Тем, что я живой.



## ПОДНИМАЛАСЬ ЗОРЬКА

Поднималась зорька  
За хребтом горбатым,  
Поднималось солнце  
Сквозь туман проклятый.  
А с рассветом снова  
По незримым тропам  
По земле афганской  
Предстоит нам топать.  
И тоскуют струны  
По студеным росам,  
По девчонкам юным,  
Золотоволосым.  
Не грустите, струны,  
Струны, перестаньте,  
Мы ведь с вами, струны,  
Служим здесь, в Шинданде.  
А быть может, ветер,  
Что траву качает,  
Унесет за горы  
Все мои печали.  
Где б мы с легким сердцем  
Чистый воздух пили  
Среди трав пьянящих  
На лугах России.  
Размахнется удаль,  
Горизонт огромный.  
Мы уйдем с друзьями  
В глубь аэродрома.  
Нас винты поднимут  
Над землей афганской,  
И домой спецрейсом  
Ляжет путь обратный.

\* \* \*

Снова серый смерч за окошком встал,  
Кружится...  
Как мне нелегко без любви твоей  
Служится.  
Стаи облаков ветер разорвал  
Линию,  
Распахнул глазам горные хребты  
Синие.

Автомат в руке, грусть свою в себе  
Носим мы.  
Дни идут за днем пестрой чередой  
К осени.  
Лист календаря испещрен не зря  
Точками...  
Пулеметов стук ночью режет слух  
Строчками.

И когда-нибудь с грустью и тоской  
Вспомним мы  
Наш отряд родной и палаток строй  
Весь в пыли,  
Тех ребят, что здесь умножали честь

Знамени.

Кого нет в живых, мы запомним их,  
С нами они.

Снова серый смерч за окошком встал,  
Кружится...

## ДОРОГА

Попутчиков новых слышны голоса,  
Купе с голубою обивкой,  
И, воздух спуская, вздохнут тормоза  
И пискнут расстроенной скрипкой.

«Дорога, дорога», — на стыках путей  
Колеса твердят, спотыкаясь,  
И в лица любимых и верных друзей  
Я с грустью смотрю, словно каюсь.

Корить есть за что — бог знает как  
Ведем себя с ними вблизи мы.  
И этот пустяк — уж совсем не пустяк,  
Когда расстаемся мы с ними.

## ПРОШЛОЕ

Не мыслю жизни без потерь,  
Но сердце верить не устанет,  
Что приоткроется вдруг дверь  
И прошлое меня поманит.

И, очарованный, войду  
Я в мир давно уже забытый,  
Как будто заново открытый,  
К нему я сердцем припаду.

И, как весной, оттаяв, воды,  
Нахлынут стылою волной  
К глазам предательские слезы.  
А будущее за стеной.

Уже зовет меня, торопит:  
«Готовься в путь! Пора, пора!»  
И снова полотно дороги  
В глазах мелькает до утра.

И я сижу опять притихший,  
Как выпавший в траву птенец,  
Слова кондуктора постигший:  
«Вагон идет в один конец...»

## ПАМЯТЬ

Жаркие дни, как огни,  
Затухают в усталых глазах.  
Да, мы ушли, разбрелись  
По родным заповедным местам.



Снова весною с полей талый снег сойдет  
И зацветет тюльпан...  
Не зарастет никогда в сердцах парней  
Афганистан.

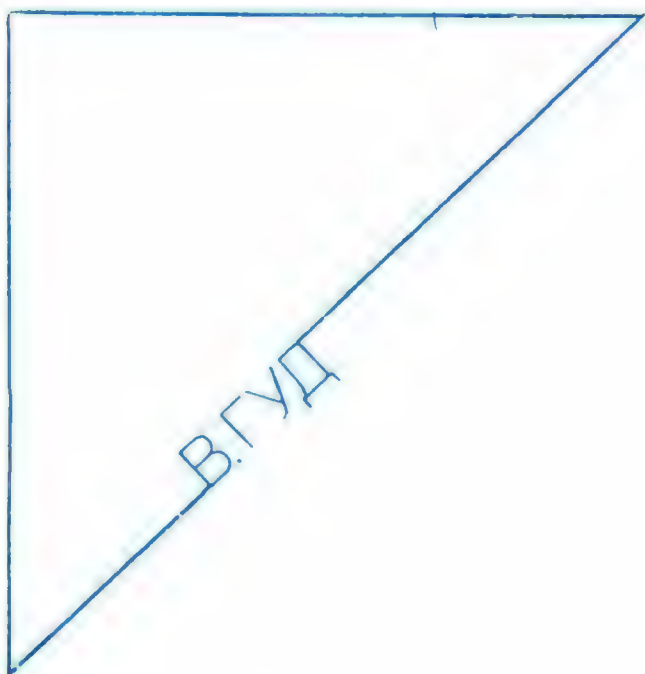
Горной тропой не раз  
Мы во сне будем ночью идти,  
Снова кому-то из нас  
Той тропой назад не пройти.

Плачет, рыдает скрипка в душе моей,  
Тихо звучит орган...

Не отзвучит никогда в сердцах парней  
Афганистан.

Память моя, как набат —  
Неустанный попутчик тревог.  
Я не забуду ребят,  
Что отдали последний свой долг.

Они жить будут рядом со мной,  
Я ведь тоже прошел той тропой.



## АФГАНИСТАН

Огонь и пыль по ходу горных трасс.  
Колонна. Впереди саперный взвод.  
А время тянет полевую связь  
Из Кандагара в сорок первый год.

Во рту песок. Глаза воспалены.  
Афганец рвет колючую траву.  
Судьба сплелась с дорогами войны.  
Но связь живет. И значит — я живу!

Быть может, ждет за поворотом бой.  
Дрожит, свисая с каски на висок,  
Улавливая каждый позывной,  
Безжизненный полынный стебелек.

## АЭРОПОРТ

Международный аэропорт в Кандагаре сверху кажется похожим на осьминога, неизвестно из каких глубин попавшего на изнуренную зноем землю. словно щупальца, тянутся к летному полю посадочные дорожки, укрытые от солнца причудливыми перекрытиями. пылевые смерчи, возникая то там то тут, бе-

гут наперегонки к «осьминогу» и гаснут, разбиваясь о бетон.

Последний обстрел был сегодня на рассвете. Рядом с незасыпанной еще воронкой от ракеты «земля-земля» чумазый мальчуган перебирает выпавшие из опрокинутой урны пыльные бумажные стаканчики и складывает их в мешок. Старик в чалме сидит рядом на земле. «Шурави! — кричит мальчуган нам. — Шурави!..»

Он совсем рядом — маленький ровесник необъявленной войны. Трудно понять, какие чувства вспыхивают и гаснут в больших черных глазах. Порыв ветра распахивает его одежду, обнажая линии ребер, обтянутых смуглой кожей. Две банки: с ялтинской ставридой и дальневосточной кетой — последние наши припасы — оказываются у мальчугана в мешке.

Старик что-то одобрительно бормочет.

— Шурави! — звучит нам вслед — Шурави! Рафико-камарадо!..

До штаба бригады путь неблизкий. Попутных машин нет. Идем к старшему начальнику. Человек лет сорока в



летней куртке встает нам навстречу, крепко жмет руку каждому. И то, что он требует предъявить документы, вовсе не обижает. Время такое.

— Машина будет через полчаса. Пешком ходить не рекомендую.

Он достает нож и вонзает его прямо в дощатый стол рядом с банкой тушенки:

— Подкрепитесь, ребята. Подбросим.

## ПОЧТА

Долгий гул над землею возник.  
Мы глядим до головокруженья:  
Небольшой самолет — «почтовик»  
Начинает по кругу снижение.

По нему проверяем часы.  
Приземленья его не отстрочат  
Ни вчерашний обстрел полосы,  
Ни гроза, прошумевшая ночью.

Он кружится над пыльным плато  
Под прикрытием двух вертолетов.  
«Прилетел!.. Несмотря ни на что...» —  
Промелькнуло в сознание пилота.

И ему благодарны за то  
Окрыленно, светло и устало  
Те, что в бой, несмотря ни на что,  
По ущельям и по перевалам  
Шли... И шум вертолетных винтов  
Сквозь огонь даже в дождь,  
Даже в полночь  
К ним спешил... несмотря ни на что,  
Потому что нужна была помощь.  
И, к броне прижимаясь спиной  
На афганской дороге пылящей,  
Я вскрываю конверт голубой,  
Прилетевший ко мне над войной  
Необъявленной, но настоящей.

## ГРУППА ПРИКРЫТИЯ

Декабрьская ночь в Кабуле. За окнами сборно-щитового домика ветер гонит с аэродрома липкую, похожую на цемент, пыль.

Труба водяного отопления, которая опоясывает по периметру спальное помещение, раскалена — не притронуться. А на потолке конденсат — тысячи огромных капель. Озноб бьет даже под двумя одеялами.

Тяжелое дыхание десятков спящих людей. Одни из них возвращаются из отпусков и командировок в свои части. Других завтра встретит родная земля.

У тех и других сон тревожен. И вдруг:  
— Отправь его, командир!.. Отправь!.. Двое детей!..

Кричит молодой прапорщик-десантник, спящий совсем рядом.

Утром он хмуро и сосредоточенно собирает вещи. На кителе красная нашивка за ранение и орденская планка. Вот он уже за окном; в руках чемодан и сумка из-под бронежилетов.

Стоящий рядом лейтенант перехватывает мой взгляд и говорит:

— Остался в живых... Был в группе прикрытия.

## КОРРЕКТИРОВЩИК ОГНЯ

По склонам гор клубятся облака.  
И дождик шелестит в прозрачной роще.  
Уже темно... В столовой арtpолка  
Холодный ужин ест корректировщик.  
Бушлат пропитан пылью — не пылью.  
И я гляжу немного удивленно  
На юное безусое лицо,  
На взрослые майорские погоны.  
Мигает свет, тускнея и слепя.  
Он говорит о прошлом без волненья.  
Два ордена — за вызов «на себя»  
И красная нашивка — за раненье.  
Вдвоем идем во мгле, сквозь дождь.  
И он

Прощается со мной у общежитья,  
Диктует ленинградский телефон  
И просит: «Непременно позвоните...  
Хоть из Ташкента. Очень ждет жена.  
Подробно, сами знаете, не надо...  
Земля у нас одна... И связь — одна.  
Любым приветам дома будут рады».  
Иду на свет далекого окна.  
Я этот телефон не потеряю  
И вновь шепчу: «Земля у нас — одна.  
И связь — одна!.. » — упрямо повторяю.  
А ночь вокруг, как мина —

только тронь!

И все во мне подчинено порыву,  
Как будто вызвал на себя огонь  
И жду мгновенья первого разрыва.  
И ждут враги — их участь не сладка.  
И ждут друзья —

когда мой пост ответит.

И ждут междугородного звонка  
Жена и дочь на Лиговском проспекте.

## ФОТОГРАФИЯ

Никогда не думал, что встречу его здесь. Майор Игорь Аверин крепко сжимает мне плечи и даже встряхивает, оторвав от земли.



А потом мы сидим в офицерском общежитии за традиционными жестянками голладского лимонада. Кипит чайник. Одна за другой ложатся на стол фотографии.

— Это «афганская» свадьба Валеры Никонова. А это — кабульский рынок... Колонна на марше... Смотри, какой я здесь грязный и смешной. Впервые на горной дороге!.. Это...

Фотография еще некоторое время остается в его руках. Он пристально рассматривает ее и только потом передает мне: «Это Саланг...»

Перевал Саланг... Двое парней у самого края пропасти. Кажется даже, что нет никакого края и противоположная отвесная стена ущелья начинается прямо у них за спиной.

Я долго держу фотографию в руке, вглядываюсь в лицо улыбающегося Саши из Барнаула. Еще живого. И уже знаю — ничего нельзя предотвратить. Выстрел душманского снайпера прозвучал в следующее мгновение после щелчка фотоаппарата.

Игорь курит, прохаживаясь по комнате... И лицо у него гораздо старше, чем у майора Аверина, что весело смотрит в объектив на перевале Саланг.

## БАЛЛАДА О ВЗВОДНОМ

Завтра будет убит  
Взводный Ваня Здоровых...  
А пока он сидит  
В офицерской столовой.

И румянцем цветет  
Возле повара Кати,  
И перловку жует  
Со ставридой в томате.

Вентилятор гудит.  
В зной распахнуты рамы.  
Два письма на груди —  
От сестренки и мамы.

И, в поту поборов  
Остывающий завтрак,  
Взводный думает вновь,  
Что напишет им завтра.

А сегодня опять  
(Отдохнуть в тишине бы!..)  
Огневая и плац  
Под расплавленным небом.

И в казарму идет  
Взводный, щурясь от света.

И не знает, что взвод  
Бросят в бой ночью этой.

И ударит вот тут —  
Где письмо от сестренки.  
На руках понесут,  
Отошлют похоронку.

...Далеко от войны  
Спит, навек успокоясь,  
Ваня — взводный страны,  
Наша сила и совесть.

Спит, не помня о зле,  
Ни о чем не жалея.  
Спит в сибирской земле,  
На «афганской» аллее.

## В ГОСПИТАЛЕ

Детский смех заливисто звучит в холле хирургического отделения военного госпиталя. Может быть, впервые в жизни смотрит веселые «мультки» эта афганская девочка, укутанная в коричневый плед.

Когда-нибудь, быть может, для ее детей, эти программы станут такими же привычными как и для наших ребят-шек...

А вот и фильм кончился.

— Спать пора, — говорит медсестра. Она бережно берет на руки худенькое детское тело. Торопливо запахивает плед...

Но все же на грани зрительного восприятия и догадки я успеваю понять: девочка без ног!..

До сих пор смеется во мне эта девочка.

## БАЛЛАДА О ПОЗЫВНЫХ

И оружием бывают слова...  
Сквозь афганские скалы  
Позывные «Сирень» и «Трава»  
В темноте прорастали.

Тягой к жизни и свету правы,  
И звучаньем весенним,  
Словно юные стебли травы,  
Словно ветви сирени.

Лишь потом, вдалеке от высот,  
Скрытых облачной гущей,  
Я узнал, что «Сирень» — это взвод,  
Бой в ущелье ведущий.



И закат был на скалах кровав,  
И гранат не хватало.  
Но звено вертолетов — «Трава»  
Взвод огнем поддержало.

«Я — «Трава»! Мы спешим вам  
помочь!..» —

Позывные со свистом  
Улетали в беззвездную ночь  
Из-под пальцев радиста.

И в ответ от базальтовых стен,  
Из-под снежного нимба  
Долетало: «Трава»! Я — «Сирень»!  
За поддержку — спасибо!..»

Губы к флягам, и к ранам — бинты.  
Чей-то вздох облегченья.

И разреженный воздух винты  
Рубят с ожесточеньем.

И зари оком огневой  
Проступил в отдаленье.  
Впереди — возвращенье домой,  
Возвращенье к сирени.

Возвращенье к траве... В города  
И деревни родные.  
А в сердцах, словно бой — навсегда,  
Все звучат позывные.

И радист, что уволен в запас  
С пулей вражеской в теле,  
Все выходит ночами на связь  
Из того же ущелья...



## ПРОЩАНИЕ

Лежу один на каменной земле,  
Луч солнца угасает в поднебесье.  
А жить осталось в этом мире мне  
Последней песней, прощальной песней.

Глаза любви, и сына первый крик,  
И матушки моей святыя руки  
Остались там, где Родины родник,  
А здесь страдаю я от жгучей муки.

Не видеть мне уж белых тополей  
И ласковых лучей зари, заката,  
И не обнять березовых ветвей  
Под сенью белой, как когда-то.

Прощайте вы, старинные друзья,  
И те, кого с недавних пор я знаю.  
Прощай и ты, родимая земля!  
Тебя в последний час свой обнимаю.

Но нет, не зря звезда моя жила,  
Мерцая в поднебесье тихим светом.  
Я сделал все, что Родина ждала,—  
И лишь прошу не позабыть об этом.



## НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ ТОТ ДЕНЬ

Не забыть мне тот день, ослепительный миг,  
Грохот взрыва, пронзительность боли.  
Как по сердцу ножом, резанул друга крик:  
«Не скисай, собери свою волю!»

Мина-дура рванула, не скажешь в словах,  
Отлетевшие в сторону ноги...  
Мой последний пейзаж в этих диких горах...  
Да за что же вы так меня, боги?

И лежал я распятый на голой скале,  
Стиснув зубы и сжав свои нервы,  
А мальчишка солдат, опаленный в огне,  
На пути моей смерти встал первым.

Сквозь туман и сквозь кровь я увидел, как он,  
Напрягая последние силы,  
Рвал антенну на жгут, словно резал ножом,  
А над нами вертушки кружили.

«Уходи, «сто тридцатый», — меня не спасти,  
Для посадки здесь гиблое место». —  
«Ничего, дорогой, сядем рядом с тобой,  
Мы, браток, не из хлипкого теста».

И, не ведая страха, на помощь они  
Сквозь разящий огонь поспешили,  
И забрали меня с той злочастной горы.  
Эти парни из мужества были.

А потом в медсанбате всю ночь напролет,  
От усталости страшной шатаясь,  
Медсестрички, врачи выполняли свой долг,  
Сердцем к ранам моим прикасаясь.

И я ожил под утро, открылись глаза,  
Посветлели усталые лица.  
Вы спасли мою жизнь, отступила гроза,  
Вам я низко хочу поклониться.

\* \* \*

В роще плачут глухари,  
В небе проблески зари.  
Ночь прошла, а мне не спится:  
Вспоминаются страницы  
Жизни, прожитой вдали.

Сквозь года мне виден путь,  
В нем всего есть по чуть-чуть:  
Горе, грусть, зимы ненастье,  
Боль потерь и вера в счастье.  
То, что было, не вернуть...

Может, чтобы жизнь понять,  
Стоит раз лишь повидать

Окровавленные книжки  
У убитого мальчишки,  
Не умевшего читать.

Люди, пули, скалы, смерть —  
Все смешалось в круговерть.  
Зло с добром в горах столкнулось.  
Жизнь моя перевернулась,  
Что-то хочет разглядеть.

Что же я сумел понять?  
Как ответить, что сказать? —  
Да, за счастье ребятишек,  
Пусть чужой страны детишек,  
Стоит жить и умирать!



## ЖДИ МЕНЯ

Свет звезды далекой тает, уносит сны.  
Скоро утро. Снова в бой уходим мы.  
В тишине ночной витает моя печаль.  
Между нами вот уж год такая даль.  
Ты, моя родная, спи. Я возвращусь.  
Ранним утром в двери дома постучусь  
И поклонюсь  
Той одной, которая умела ждать,  
Той одной, любимой, несказанной,  
Той, что Верой звать.

Где-то среди скал мелькнули твои черты,  
А в солдатском сердце ты и только ты.  
Предстоит нам вновь разлука — уже ночь прошла.  
Как же важно мне, чтоб ты меня ждала!  
Ты, моя родная, жди. Я возвращусь.  
Ранним утром в двери дома постучусь  
И поклонюсь  
Той одной, которая умела ждать,  
Той одной, любимой, несказанной,  
Что Надеждой звать.

За седой горою солнце всходит вновь.  
Ты не покидай меня, моя любовь!  
За рекой нас ждет суровый, смертный бой.  
Ты храни меня от пули, ангел мой!  
Ты меня храни, и я к тебе вернусь,  
Ранним утром в двери дома постучусь  
И поклонюсь  
Той одной, которая умела ждать,  
Той, одной, любимой, несказанной,  
Что Любовью звать.



## ЗЕМЛЯНКА БОЕВОГО ОХРАНЕНИЯ

Огонь печурки дремлет и во сне  
Расписывает глиняные стены,  
И мы сидим и просто ждем замены,  
На нашу крышу спать ложится снег.



Сверчок подхватит тихий разговор,  
И тлеет чуть беседа о гражданке,  
А за стеной,  
        в насквозь промерзшем танке,  
Гудит ночного виденья прибор.

Дым сигарет, в два яруса кровать,  
У входа — наготове — автоматы...  
Не спят, вздыхают  
        «дембеля»-ребята,  
И дома все не спит, вздыхает мать.

### ПРОЧЕСКА

Продвигается отряд —  
Тихо в кишлаке.  
Как ребенок, автомат  
Дремлет на руке.

В нем убийца заключен,  
Запечатан в медь,



Нерожденная еще  
Будущая смерть.

Только в сумраке окна  
Дрогнет чья-то тень,  
И взорвется тишина  
Криками смертей.

### СОЛДАТ

Толкнуло в грудь, когда он вылезал  
Из чавкающей мартовской траншеи,  
И с пулей ветер в легкие попал,  
Минуя горло, бронхи и трахеи.

И вот, когда он начал умирать,  
Увидел вдруг: сидит на лавке мать,  
И на цветастом выцветшем подоле  
Измученные вены и мозоли.

### ТРЕТИЙ ТОСТ

Мы шаркунов московских градусом повыше,  
Те облепили старенький Арбат,  
А мы с тобою напрямую вышли —  
Шинданд — Герат — Кабул и... медсанбат.

Порой паденье равносильно взлету:  
Разбито в кровь лицо, а ты герой!  
Давай-ка, друг, за русскую пехоту  
Поднимем соки и за нас с тобой.

За тех, кто не стонал, а матерился,  
За тех, кто первым встал и первым лег,  
Кто под броней сгорел, кто ног лишился,  
Кто всех прикрыл и лишь себя не смог.

Порой паденье равносильно взлету:  
Разбито в кровь лицо, а ты герой!  
Давай-ка, друг, за русскую пехоту  
Поднимем дружно — и за нас с тобой.



## ФИЛОСОФИЯ СМЕРТИ

Философия смерти  
До предела ясна,  
И поет в лазарете  
Мне вторая весна.  
Жаркий ветер вдыхаю,  
И не хочется спать.  
Ждут ли где-то, не знаю.  
Да и негде узнать.  
Только что нынче смерть мне?  
Я в начале пути.  
Те шестьсот километров  
Очень надо пройти.



\* \* \*

Я не верил в дружбу слишком,  
Думал, это пишут в книжках...  
Только встретил я парнишку  
В пыльном, душном Душанбе.  
Мы с Серегой подружились,  
Мы с Серегою гордились,  
Что попали, как просились,  
В легендарный ДШБ\*.

Мы с Серегой, как мечтали,  
В место жаркое попали.  
Перед строем нас назвали  
Пополнением в полку.  
Нас сначала удивляло —  
Пустота в тебя стреляла,  
«Духи» бегали по скалам,  
Как клопы по потолку.

С нас инструктор драл три кожи,  
Говорил он нам с Сережей:  
На солдат мы с ним похожи,  
Как кирпич на поплавок.  
А на завтра, ночь не спавший,  
Со спины нас прикрывавший,

---

\*Десантно-штурмовой батальон.

Дотянуть только б, парень,  
До границы успеть,  
Ведь в проклятые камни  
Все же прячется смерть\*.

Философия смерти  
До предела ясна,  
И поет в лазарете  
Мне вторая весна.  
Острым скальпелем взломан  
Бурый, ссохшийся бинт.  
В этот раз повезло мне.  
В этот раз не убит.

Воздух в легкие набравший,  
Друг мой выдохнуть не смог.

Я не знал, как это вышло,  
Он ведь в мире был не лишний,  
И казалось, что я слышал  
Как пришла за другом смерть.  
А потом, так было надо,  
Вовсе не из-за награды,  
Для «агэсов»\*\* с канонадой  
Мы устроили концерт.

Воздух гор гремел от звуков,  
Глухо бухала базука,  
И кому была везуха,  
А кому стволы в упор.  
Находили тут солдаты  
Для могил вторые даты,  
Охнув, падали ребята  
На ладони черных гор.

И я видел, как в атаке  
На одежде цвета хаки  
Расцветали злые маки,

---

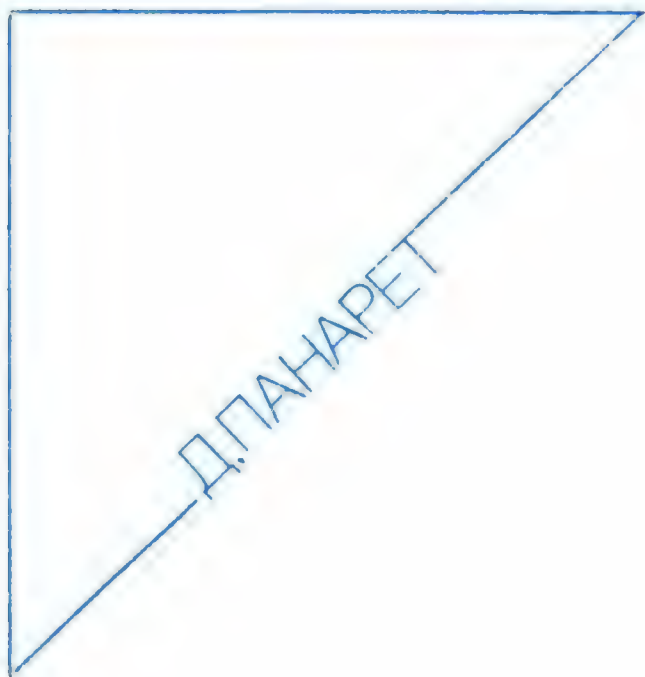
\*Зачастую муджахетдины маскируют  
мины под камни.

\*\* АГС — автоматический гранатомет  
станковый.



Только сон меня остудит,  
Ну а завтра снова будет:

Новичок меня разбудит  
«Что ты все меня зовешь?»  
Он сегодня бегал много,  
Он растер сегодня ногу,  
Этот новенький Серега  
На солдата не похож.



На борт уже поднялся экипаж,  
И «семьдесят шестой» готов к погрузке.  
Механик пять пробоев заклепал,  
А самолет живой, он наш, он русский!  
Стоит со мною рядом вещмешок,  
И мы спокойно курим, мы живые...  
А он вчера ушел, а он вчера ушел,  
А он вчера ушел на боевые.

Где я бежал, хоть полз на самом деле.  
Где я стрелял, хоть пуст был магазин.  
И где в меня осколки мин летели,  
Но ни один меня не поразил.  
Есть на войне, как на любой работе,  
Участки, где не тянет даже вол...  
Я выживу. Вы, командир, не бойтесь.  
Вам за меня не будет ничего.

Как на рассвете в сон нещадно клонит!  
Но спас меня фугасный взрыв зари...  
А где-то у виска седого склона  
Кундузский пролетел метеорит.  
За все ответ держать мне нет резона,  
Ведь я пока молюсь живой воде,  
А дома ждет ответственности зона,  
Которую себе я выбрал здесь.



## РЕБЯТА

«Ребята, ребята, ребята»,—  
 Шепчу я погибшим солдатам.  
 Потери боль...  
 У нас юбилей и даты,  
 У вас автомат и гранаты,  
 Последний бой.  
 Последний — проклятое слово,  
 И павшим плацкарты готовы:  
 Прощай, Афган.  
 И горы в молчании скорбном,  
 И в небе чужом и холодном  
 Плывет «Тюльпан».

Под залпы уставших орудий  
 Стихает в ущельях гроза...  
 Ребята, мы вас не забудем,  
 Покуда открыты глаза!

Ребята, ребята, ребята,  
 Земля наша вами богата...  
 И вот сейчас  
 Мне хочется выть от досады,  
 Что нет меня с вами в засадах,  
 И пробил час.  
 Плакали вас и отпели,  
 Газеты свое отшумели...  
 Портрет анфас.  
 И нет ни виновных, ни судей:  
 Политику делают люди  
 Постарше вас.

Ребята, ребята, ребята,  
 Ведь смерти не скажешь: «Пошла ты!»  
 Она глуха.  
 Глуха к матерям в ваших хатах...  
 «Тюльпан» поднимает ребяток  
 Под облака!  
 И снятся мне ночью кошмары,  
 И в руки беру я гитару —  
 Мне б автомат!  
 Но все уж закончится скоро,  
 Лишь только бы помнили горы  
 Всех тех ребят.



\* \* \*

Если слезы не лил от обиды и зла,  
 Если с горя и боли не плакал ни разу,  
 Значит, ты не любил никого никогда,  
 Принимая любовь за красивую фразу,  
 Если кожу ты с рук никогда не срывал,  
 Если ссадин и крови не видел на теле,  
 Значит, ты не боролся, не рисковал  
 И себя не познал на рискованном деле.  
 Если прожил ты жизнь для себя самого,  
 Схоронясь от невзгоды в уютной квартире,  
 Значит, жизнь ты прожил, не поняв ничего,  
 Значит, ты и не жил в этом сказочном мире.

### МАМЕ

Вот и все. Отшумели дожди,  
 Отгремели последние грозы.  
 Догорели, исчезли ночные огни,  
 Как иссякли твои материнские слезы.  
 Ты рукою своей грубоватой от дел,  
 Как ребенка, меня уж не будешь ласкать.  
 Видно, это и есть материнский удел —  
 Повзрослевших сынов в дальний путь провожать.  
 Быстро жизненный путь для тебя пролетел  
 Жизнь не жаль потерять для других,  
 Видно, это и есть материнский удел —  
 Быть бессмертною в детях своих.

\* \* \*

Вот и детство прошло,  
 Будто и не бывало...  
 Растворилось, ушло,  
 Сразу детства не стало.  
 Не осталось следов,  
 Позабыты дороги,  
 Только несколько слов  
 Скажет мать на пороге.  
 Вот и время пришло,  
 И пора расставаться.  
 Быстро детство прошло,  
 В нем нельзя задержаться...



\* \* \*

Остановить бы время, отдышаться,  
Не торопясь подумать обо всем.  
Кто мы такие, чтоб на свет рождаться?  
Зачем пришли и для чего живем?  
Как мы различны все, неповторимы,  
У каждого свой образ и судьба.  
То радостью, то горестью томимы,  
В одних глазах огонь, в других мольба.  
Кто я такой? Что я средь вас такое?—  
Понять мне трудно самого себя.  
Чего хочу, борьбы или покоя?  
Жить без любви иль умереть любя?..

\* \* \*

Дальний крик остановил прохожих.  
Глядя в небо, все стоят печальны.  
Птица счастья пролетала, может,  
Посылая птичий крик прощальный...  
Может быть, забыв про опасенья,  
Бездну неба распахнув крылами,  
Птица верности кричит, ища спасенья,  
Верности не видя между нами.  
Голос совести молчит, и нет удачи.  
Гоним прочь любви прекрасной птицу.  
Над убитой правдою не плачем...  
Что же в небе там еще кружится?

\* \* \*

Ты далеко, тебя уж нет.  
Как больно осознать потерю...  
Тебя уж нет, а я не верю,  
Что нет тебя, что смыт твой след.  
Остался шорох листьев пожелтевших.  
Дождя былого неумолчный шум.  
В себя не скрыться от печальных дум  
В душе костром потушенным  
затлевших.  
Кто виноват, что умирают травы,  
Что мы уходим, будто нас и нет?  
Что время прахом замечает след,  
Кто виноват, что мы порой не правы?..  
Тебя уж нет, и не вернуть былого,  
Дни прожиты, ошибок не стереть.  
Но прошлое не может умереть,  
Оно из ничего родится снова.

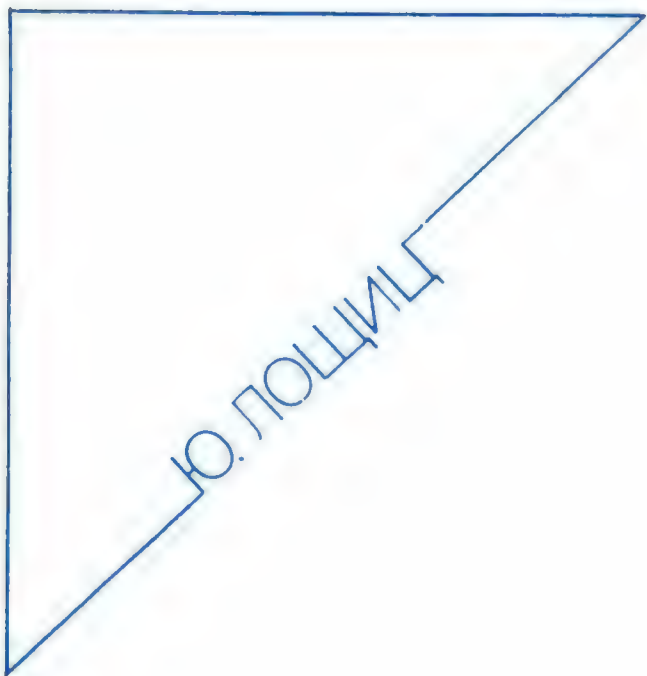
\* \* \*

Ну вот и первые осенние приметы,  
Холодный монотонный плач дождя,  
Цветной листвой и ветром спеты  
Последние куплеты сентября.  
Иду. И что там, впереди?  
Удача, радость, боль или утрата?  
Не обо мне ли слезы льют дожди,  
Предвидя гибель скорую солдата?..  
А сны осенние тревожить душу стали.  
Один и тот же бесконечный сон —  
В руках граната, журавли кричали,  
Взрыв, тишина и материнский стон.

## ЗАВЕЩАНИЕ

Ты одной не бываешь нигде,  
Потому, что есть я на земле.  
Ты нигде не бываешь одной,  
Потому, что я всюду с тобой.  
Ты уходишь, я рядом иду.  
Ты присела, и я отдохну.  
Ты другому сказала: «Привет»,—  
Но не думай, что здесь меня нет.  
Даже если ты рядом с другим,  
Ты согрета дыханьем моим.  
Обнимая, целуя других,  
Не уйдешь от объятий моих.  
Если слезы текут по щеке,  
Не другой, я их вытру тебе.  
Если взор обращаешь к другим,  
Этот взгляд не достанется им.  
Как палач, будет память моя.  
И хоть плачь, не уйдешь от меня.





## СОРОК ДНЕЙ

(Баллада)

Когда в казарму армии особой  
тебя введут, смущенный новичок,  
ты эту койку походя не трогай,  
у этой койки — свой особый срок.

К ней сорок дней никто не прикоснется.  
И поперек простынки номерной  
горячей лентой наша память льется  
о том, кто нас навек прикрыл собой.

Мы от воронки оттащили Кольку,  
и он шепнул, бинтов своих белей:  
«На сорок дней мою оставьте койку...  
Хочу я с вами... эти сорок дней...»

И сорок дней уральские Сереги  
и смуглые ребята из Хивы  
улыбку оставляют на пороге  
и здесь не поднимают головы.

И сорок дней, как кровь его живая,  
та лента поперечная горит.  
И сорок дней мы молимся, не зная  
ни строчки из отеческих молитв.

## АФГАНСКИЕ ПЕСНИ

В ночном почтовике мы ввинчивались в выси,  
и восемь раз являлась нам луна.  
И, чтобы разогнать непрошенные мысли,  
я песни начал петь у круглого окна.

Об одуванчиках, и о лугах приречных,  
и о туманах наших деревень.  
Беспечный Пакистан вдали моргал, как млечность.  
Металась по горам предательская тень.

И «стингер», как оса, уже звенел, казалось,  
нацеленный на поршневой металл.  
И сжалась наша жизнь в ничтожнейшую малость.  
Но в цель поющую никто не попадал.

\* \* \*

Как слепые, бредут вдоль обочин саперы.  
Смотрят грустно овчарки, как поводыри.  
А ночью прохладой умытые горы  
так нежны, хоть заплачь и умри.



Через сорок минут зарокочут моторы.  
Путь откроют колоннам из Пули-Хумри.  
А ночью прохладой умытые горы  
так нежны, хоть заплачь и умри.

Мой полесский земляк ищет минные норы.  
Замирает дыханье последней зари.  
А ночью прохладой умытые горы  
так нежны, хоть заплачь и умри.

И в смятенном сознании вскипают укоры:  
ну зачем вы, зачем на исходе зари  
так колдуете музыкой нежною, горы,  
ну, зачем же вы, черт побери?!

И мулла выпевает такие узоры,  
так щемит этот вопль, этот сладостный визг.  
Только вздрогнут однажды бездушные горы,  
и рассыплется чаша небесная вдрызг.

Но опять побредут вдоль обочин саперы  
и овчарки — усталые поводыри.  
А ночью прохладой умытые горы  
так нежны, хоть заплачь и умри.

\* \* \*

В Джелалабаде жар, как в печке.  
Сухое русло горной речки  
трещит, как хворост, под ногой.  
Но мы уже ушли домой.

В Джелалабаде пальмы чахнут.  
И аромат в дуканах чайный.  
И эвкалипт в седой пыли.  
Но мы уже домой ушли.

В Джелалабаде в нашей бане,  
как слышно, парятся дехкане.  
Пар славный и отменный зной.  
Но мы уже ушли домой.

Мы в мамин шкафчик спрячем орден  
и в костромскую баньку сходим,  
березкой шрамы покроем.  
А слава — это, братцы, дым.

### НЕ СМЕЙТЕ ПОГИБАТЬ!

Игумены застав, угрюмые старлеи,  
из танковых пещер швыряющие гром,  
прощаясь впопыхах у огненной траншеи,  
я об одном прошу, молю вас об одном.

Вы, штурманы пурги, что над песками взмыла,  
вы, шофера лихих пехотных колымаг,  
и вы, искатели тротилового мыла,  
молю вас: выверяйте каждый шаг!



Не смейте погибать! Вы нам нужны живы  
Родные вы мои, не смейте погибать!  
В тоскующих полях заждавшейся России  
вам уготована иная рать.

### НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ...

*Памяти лейтенанта  
Сергея Ковальчука*

Как здравствуешь, застава Гундиган,  
под вой и свист горячего металла?  
Хочу, чтобъ накрыл тебя туман,  
чтоб небо над тобою замолчало.

О, дайте Гундигану тишины  
и солнечного хоть на час затмения.  
Хочу расслышать на краю войны  
магнитофона крошечного пенье.

О, наконец! Божественный покой  
на Гундиган нисходит благодатно.  
Там лейтенант, как мумия сухой,  
поет о маме нежно и невнятно.

Поет о том, что тут почти что рай  
и что рука тверда на автомате.  
О мати моя, только не рыдай!  
О, не рыдай, возлюбленная мати...



### ВОСТОЧНАЯ БАЛЛАДА

В этой тактике особый резон,  
и на пулю обостряется нюх.  
Здесь чем выше, тем прозрачнее озон.  
Здесь чем выше, тем и злее злой «дух».  
А вершина так еще далека,  
и дела у нас как сажа бела.  
Хоть у ротного десница легка,



только пуля для меня тяжела.  
А когда мы здесь травой порастем,  
зарубцуются над нами звезда,  
оскудеет наш родительский дом,  
и никто нас не вспомнит тогда...  
Здесь сухарь родной — и тот по нутру,  
круче кашу посоли, кашевар.  
Если в брюхе не звенит поутру,  
Веселее проклинать Пешавар.  
Эй, дехканин, что ты смотришь как волк,  
будто свел я у тебя две жены...  
Мы вам кровью отдадим интердолг,  
но России мы остались должны.  
А над мамой ни единой звезды,  
и по всей моей Отчизне темно,  
и течет по русским руслам вино  
с горьким привкусом последней беды.  
Под жилетом, в общем, полный ажур,  
я о милости судьбу не молю,  
я из мины сочинил абажур  
и с оказией в Рязань перешлю.  
Да, дела у нас идут — сущий мед,  
кто не пробовал — вовек не поймет.  
Вот сейчас я наведу пулемет,  
только он уже навел пулемет.  
Кровью эхо захлебнется в горах  
и душа моя домой полетит.  
У него за каждым камнем аллах,  
кто ж меня-то, сироту, защитит?!

\* \* \*

Мы шли пружинисто и дружно,  
две сотни ног — в единый шаг.  
И слава русского оружия  
звенела в нервах и ушах.

Туда, где полковое знамя  
цепляло верхние слои,  
взмывали соколы орлами  
и соловьями воробьи.

Земля сама под шаг просилась,  
десантный шаг, и потому  
от грома небо покосилось,  
берету вторя моему.

И окна яростно сверкали  
сквозь вишен розовый туман...  
И мы тогда еще не знали  
словца мудреного — душман.



**ПОДВИГ**







Из земли, изувеченной язвами мин,  
Изможденные, злые, как черти,  
Ветераны боев возвращаются в мир  
На правах победителей смерти.

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:  
Так случилось — на высях сожженных  
Прикоснулись мы к вечному миру, где нет  
Победителей и побежденных.

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,  
Жизнь и смерть — мы раздвинули грани!  
Только тело на север, на север летит —  
А душа остается в Афгане.

И, преследуя солнце, мы рвемся домой,  
К нашим семьям, по нас тосковавшим, —  
А над выжженной солнцем афганской землей  
Наши души вселяются в павших.

*Александр Карпенко*



















# ВОЗВРАЩЕНИЕ









Лишь на рассвете  
Найдут погибших среди камней.  
И люди стихнут,  
Считая гибель виной

своей.  
И все узнают, что этой  
ночью

Пришла беда.  
Ведь здесь стреляют,  
Здесь, как и прежде,  
Идет война...



А. ПРОХАНОВ

# ГОРЫ

Повесть

Рабочий бригады монтажников Михаил Вагапов трогал шлифовальной машинкой корпус реактора, огромный литой стакан из белой нержавеющей стали. Абразивный круг начинал звенеть, высекал из стали рыжие космы огня. Вагапов удерживал в кулаках тяжелую вырывавшуюся комету, прижимал ее к зеркальной поверхности. А когда отпускал и комета улетала и гасла, под руками открывалось льдистое мерцание безупречно отшлифованной стали. В реакторе туманился, отражался весь просторный реакторный зал. Недвижные желтоватые прожекторы. Голубоватые молниеносные вспышки. Гулкий, ярко-красный полярный кран, скользящий под куполом. Светлые тени пробежавших, одетых в белые робы монтажников. Вагапов, не оглядываясь, видел в выпуклом зеркале весь зал с высокими, как горы льда, элементами реактора, еще не смонтированного, не опущенного в черную глубокую шах-

ту, где в бетонной и металлической тьме ухало и звенело, вырывались синеватые лопасти света.

Вагапов зачищал отмеченную мелом поверхность, на которой, словно темная пудра, выступала окись, след неосторожной транспортировки по железной дороге. Устранял эту легкую копоть, превращал ее в чистый стеклянный блеск. Работал непрерывно и сильно, но не мог согреться. Калорифер не действовал. Из круглого люка в стене дул плотный ровный сквозняк. Второй калорифер в другой половине зала согревал наладчиков, тянувших кабель к щитам, и его тепла не хватало на всех. Вагапов работал мускулами, сжимал шлифмашинку и не мог согреться.

Это ощущение холода, тяжелого, вырывавшегося из рук инструмента, гулкая вибрация, отдававшая в плечо слабой ноющей болью, вид близкого огня и металла порождали в нем неясное тревожное сходство. Видения, которые



он не пускал, отводил назад, за спину, в прошлое. Но они из-за спины, из прошлого, возвращались. В туманной стальной поверхности начинала проступать зеленая бегущая по ущелью река, барашки на камнях переката, несжатая поломанная гусеницами нива, зазубренные обломки глинобитной стены и лицо новобранца Еремина, худое и серое, под стать обветренной глине. Это видение выступало. Но Вагапов стирал его жужжащим огнем абразива, отстранял напряжением мышц, заслонялся иными мыслями.

Ему хотелось думать о красоте и совершенстве изделия, к которому он прикасался. Он знал — реактор был отлит и выточен в Ленинграде, привезен на открытой платформе, укутанный в белые холсты. Он, Михаил, однажды был в Ленинграде. Запомнил дворцы и церкви, золоченые купола и шпили, статуи и гранитные набережные. Весь город был наполнен драгоценными творениями рук человеческих, оставшихся от прошлых времен. Теперь в Ленинграде не строили дворцов и церквей, а создавали реакторы. Но стальное диво было так же красиво, вобрало в себя столько же умения, мастерства, людского труда и терпения, как и те золоченые башни, сияющие купола, отраженные в серой реке. И мысль, что его руки тоже участвуют в создании реактора, — эта мысль волновала его. Он думал о заработках, премиях, о поломанном калорифере, о спорах с кладовщицей, но одновременно и о драгоценном изделии, к которому его допустили. О других неведомых людях, создавших сияющее льдистое чудо.

Приблизив к реактору лицо, увидел свое отражение. Его дыхание затуманило сталь, а когда облачко тумана растаяло, опять в глубине проступила зеленая река с перекатом, белая измятая танками пшеница, голова новобранца Еремина, прижатая к глинобитной стене.

— Ну, Миха, как у тебя? Скоблишь свою сковородку? — Его отвлек подошедший бригадир Петрович. Маленький, плотный, с толстыми щеками и голубыми умными глазами, в белой робе и шапочке, с торчащим из кармана штангелем, он был немногим старше своих молодых монтажников, но его называли Петровичем. — Ловишь микроны? — Он тронул ногтем отшлифованную по-

верхность. Провел по ней плотной ладонью, словно смахнул мельчайшую пыль. Одобрительно кивнул, любясь блеском металла.

— Холодно, Петрович, — Михаил выключил шлифмашинку. — Опять печку не починили. Костер, что ли, развести? На холоде, сам говорил, микроны короче. Опять технологию нарушаем. Поставим корпус, а он треснет. Давай костер разводить! — полушутя сказал Михаил, держа на весу шлифмашинку.

— Не влияет, — усмехнулся Петрович, принимая шутку. — За технологией я слежу. Сковородку доведем до кондиции. Пустим, тогда погреемся. А сейчас не влияет!

— Влияет, Петрович, все влияет! — Михаил почувствовал внезапное острое раздражение к бригадиру. К его мясистым щекам, умным плутоватым глазкам, к слову «сковородка», которым тот умалил не просто реактор, а и его, Михаила, работу. — Может, на нас с тобою не влияет, а вон девки на холодном полу колупаются, — он кивнул в сторону наладчиц, паявших кабель — Они вон ежатся, не знают, где поместиться. Зачем мы девок-то губим! Это твое дело, Петрович! Требуй у начальства калорифер!

— Да требую, требую! — Бригадир уловил угрозу в словах Михаила, мгновенно меняя тон. Озабоченно и сердито косился на холодный ящик застывшего калорифера. — Сейчас придут из профкома. И Лазарев вроде придет. Вот ты и скажи, что думаешь.

— Почему я? Ты бригадир, — ты и скажи. Возмутись за всех нас!

— Конечно, могу возмутиться, — Петрович посмотрел на него с сожалением, с превосходством, с едва заметным лукавством. — А что толку, если я сейчас с Лазаревым из-за этой коробки поссорюсь. Мне с ним работать, бригадные дела решать.

— А это не бригадные?

— Есть поважнее, Миха. Я вам за работы на следующий месяц добываю, фронт работ добываю. Квартиру еще одну хочу для бригады выбить. Премии... Мне с Лазаревым надо жить дружно. Еще долго работать... После отпуска, говорят, бригады, которые отличились, на Кубу поедут. Может, нашу пошлют. С Лазаревым нельзя враждовать!

— А мне можно?



— С тебя взятки гладки. Тебе можно. Ты — «афганец»! Тебе рот не заткнешь. Ты, как говорится, голос народа! Вот и скажи от бригады!

Петрович смотрел на него синими веселыми глазками, Михаил чувствовал, что бригадир с ним играет. Сдерживал раздражение. Петрович был хороший бригадир, делал для бригады что мог. Мог он не все. Но что мог, то делал. Не забывал при этом себя. Получил хорошую квартиру в доме, где жили инженеры. Приобрел садовый участок и вне очереди — сборную двухэтажную дачу. Получил бесплатно, в виде премии, новенький «Москвич». Ездил делегатом на разные слеты в Москву и в область. Очерк о нем был напечатан в газете. Петровича любило и ценило начальство, продвигало его. И он, осторожный и умный, находясь между рабочими и начальством, был нужен и тем и другим.

— И вот что, Миха! — Петрович легонько тронул его за локоть, и в этом прикосновении была одновременно и просьба и требование. — Выходи сегодня в ночную смену. Знаю, замучил тебя, но давай выручай! Сегодня, говорят, нам на штабе втык большой сделали. Маленько хвост накрутили. Лазареву чуть выговор не закатали. Он сейчас прибежит, потребует авраль-ной работы! Так что давай выходи!

— Да что ты, Петрович! Я же сутками работаю! У меня жена вот-вот родит! Больше никому, что ли? Почему все меня?

— Ты же сам говорил — ты «афганец»! Надежный, проверенный! Выходи! Автобус за тобой ночью придет, — не дожидаясь возражений, зная, что их не будет, бригадир отошел, быстро, ловко перепрыгивая связки кабеля, маленький, толстый, в белом колпаке, в стерильной белой одежде, чем-то похожий на повара.

Михаил стоял недовольный, расстроенный, чувствуя, что в чем-то его обхитрили. Не мог понять, в чем. Смотрел на сияющую поверхность реактора. Приближал к ней лицо, туманил своим дыханием. И в бледной исчезающей дымке опять проступало видение.

Река, зеленая, быстрая, бежала по ущелью в мелких проблесках солнца. Сворачивала за сыпучий откос и там, у поворота, словно застывала на белых гребешках переката. Кишлак, нежилой, с проломами в стенах, с се-

рыми глыбами разрушенных саманных домов хранил на себе следы огня, спалившего солому и ветошь, деревянные надстройки и двери. На глиняных выступах чернела копоть. Сквозь дыру в дувале виднелось близкое пшеничное поле, седое, бесцветное, с неубранными обвисшими колосьями, среди которых стояли зеленые фургоны военных машин, крытые брезентом грузовики, и солдаты-афганцы набрасывали на зарядные ящики негнувшийся полог.

Вперед по ущелью уходила каменная, жаркая на солнце дорога, и там, где она достигала моста, темнела и бугрилась осыпь, сорванная взрывом с кручи, завалившая подходы к мосту. Виднелась подорванная саперная машина. За выступом к дороге выходило другое ущелье, и в нем редко и вяло ухало. Звук, отраженный от склонов, достигал кишлака ослабленный, утративший твердость, с бархатными рокотаниями. Иногда сквозь рокоты тоньше и резче звучали пулеметные очереди.

На перекрестке ущелий шел бой. Душманы фугасом взорвали уступ горы, остановив продвижение колонны. Заминировали дорогу и не пускали на минное поле саперов. Обстреливали их из пулеметов — из темных высоких пещер, скрывавших пулеметные вспышки. Саперная машина с ножом и скрепером напоролась на фугас, дернулась бледным взрывом и, расколота, сползла на обочину. Сейчас к перекрестку выдвинулись танки, ушли за уступ и прямой наводкой вели огонь по пещерам, стараясь подавить пулеметы. Пушечные выстрелы танков, работу душманских пулеметов слышали солдаты, что прижимались к глинобитным дувалам, укрываясь в короткой жидкой тени. Михаил Вагапов, сержант мотострелковой роты, сопровождавшей грузовую колонну афганцев, смотрел узкими, засыпанными пылью глазами в пролом стены, где, неубранная, осыпалась пшеница и тонкая вереница саперов осторожно пригибалась, боясь попасть под огонь. Продвигалась к мосту, застывала, разрывалась. Передние бывалые, побывавшие под обстрелом, начинали двигаться, а замыкающие, новобранцы, робея, продолжали лежать. Потом и они вставали, догоняли «стариков» и плотной горсткой шли на минное поле.

— Да ударить самолетами по норам!



Чтоб клочки полетели! Не руками же их выгребать оттуда! — Взводный лейтенант, взвинченный, неустойчивый, не измученный солнцем и пылью, поднимался из-за дувала, провожая саперов, остро, жадно смотрел им вслед, ловил звуки залпов, нетерпеливо поправлял «лифчик» с боекомплектom, оглаживал короткий, ловко висящий на боку автомат. — Управляемые ракеты им в пасть, и пушечкой поработать как следует! А то топчемся третий час, только людей кладем!

Все это он говорил никому. Офицеров поблизости не было. Взвод, утомленный, лежал в тени. Никто из солдат не откликнулся. Взводного недолюбливали. Он недавно принял командование, сменил на должности прежнего, умного, умелого, храброго, любимца солдат, отслужившего срок, вернувшегося в Союз. Этот новый казался слишком шумным. Слишком резко и парадно командовал. Еще ни разу не водил солдат в бой. Старослужащие, среди них и Вагапов, с недоверием поглядывали на лейтенанта, на его щегольские усики, осуждали в своем кругу его вечную взвинченность, ненужную, не дававшую им покоя активность.

— Сабиров, ну что ты все пьешь да пьешь! Огурцов, что ли, соленых объелся! — оборвал он раздраженно пившего из фляги солдата. И тот, не допив, завинтил флягу, отвернулся к стене, почти прижался к ней своим смуглым азиатским лицом.

Вагапов смотрел, как сидящий рядом Еремин, рядовой, новобранец, очень худой и бледный, не успевший посмуглеть, прокалиться под горным солнцем, подбирал на земле цветные осколки и крошки глины, складывал из них узор. На стене саманного дома был нарисован павлин. Взрыв мины отломал кусок стены, осыпал павлиний хвост. Бесхвостая птица, исцарапанная осколками, парила над их головами. Еремин подбирал с земли цветные крупы, бережно складывал из них павлинье перо.

— Вот, возьми-ка! Вот это, кажись, сюда! — Вагапов протянул ему маленький красный обломок. Еремин взял осторожно. Помедлил. Уложил рядом с зеленым.

Вагапов смотрел на худое, с тонкими бровями и носом лицо Еремина, на глиняное перо, возникавшее у него под руками. На далекую подорванную машину

и вереницу саперов, прижатых к земле пулеметом. Испытал болезненное, похожее на нежность сострадание к этому немогущему новобранцу, впервые попавшему под обстрел. Еремин, горожанин, слабак, задыхался на подъемах, неловко взбирался на броню, не успевал за всеми помыться, поесть, не умел ловко и плотно пристегнуть патронташ, который и теперь съехал на бок, топорщился автоматными рожками.

Еремин, ленинградец, учился на реставратора. Выкладывал в какой-то беседке цветные полы. Сейчас, в разрушенном кишлаке, руки его, черные от железа, ружейной смазки и копоти, бережно и привычно выискивали на земле цветные осколки, восстанавливали растерзанное изображение птицы.

Вагапов испытывал к нему сострадание. Старался представить город, в котором жил Еремин, его отца, мать, красивое городское убранство их квартиры, беседку с узорным полом. И тут же — свою деревню, избу, мать и младшего брата, верхушки леса за полем, пруд с гусями и утками. Здесь, в разоренном горном селении с остывшими очагами, пустыми стойлами, пахло так же, как в родной деревне, — дымом, навозом, теплой сухой соломой.

— Посмотрел бы я, как ты дома живешь, Еремин. Вот приеду к тебе в Ленинград, примешь меня? — спросил он Еремина, отвлекая его и себя в другое, для обоих желанное время.

— Приезжай, конечно, прими! — ответил Еремин, благодарный ему за это.

— Ну вот, отстрелялся один! Толку-то что? Никакого! — Взводный смотрел против солнца на перекресток ущелий, где появился танк. Выполз из-за склона кормой, развернулся и стал приближаться, качая пушкой, подымая гусеницами пыль. — Все равно пулеметы работают!

Длинная очередь простучала по ущелью, и саперы, поднявшиеся было навстречу танку, снова слились с дорогой.

Танк приблизился, залязгал, зачавкал, проскрипел тяжело вдоль дувала, натолкав в проломы запах горячей пыли и чадной солянки. Его броня была серой от праха, с заляпанным неразличимым башенным номером. Танк встал, заглушив мотор, и из люка вылез закопченный, очумелый танкист. Стянул шлем, закрутил спиной и плечами.





словно распихивал в стороны тесноту брони.

Солдаты привстали, потянулись к танку. Но взводный прикрикнул на них:

— Оставаться на месте! — и, легким скоком одолев дувал, сам пошел к танку, где танкист размахивал руками, указывая замполиту роты на перекресток, на белесые, розоватые скалы. Внедрял в них ладони — имитировал удары пушки прямой наводкой. Замполит и подошедший взводный слушали танкиста. К запыленной машине подъехал бензозаправщик, начал качать горючее. Солдаты подтаскивали ящики со снарядами, пополняли боекомплект. Готовили танк к бою, туда, к перекрестку, где продолжало стрелять и ухать. Сражался второй невидимый танк.

— Надо бы сверху, с вершины взять! — Взводный вернулся. Оглядывался на танк, опять обращаясь ко всем и ни к кому, — «Вэдэвэшники» зашли бы с вершины и взяли пещеры. А то снарядами лупим, а они пулеметы вглубь откатывают, пережидают спо-

койно. Чуть танк умолк, опять косят. Надо «вэдэвэшников» вызывать!

Ему опять никто не ответил. Светилась на глине разноцветная птица, уронила на землю перо. Еремйн разглаживал его худыми грязными пальцами.

В свисте лопастей снижался, зависал вертолет. Наполнил ущелье сорным горячим вихрем. Гнал над дувалами, над пшеничным полем, над рекой острую душную пыль. Хлестнуло по лицам солдат, залепило глаза и губы. Вертолет приземлил пятнистый фюзеляж. Стоял, крутя винты, блестел кабиной. На обшивке среди зеленых и серых клякс виднелся номер «76».

— За ранеными прилетел, — сказал Сабиров. — На этом, «семьдесят шестом», хороший летчик. Я помню, он нам на гору, на пост, воду и патроны таскал. Сесть негде, он одним колесом зацепился и держался над пропастью, пока мы воду сгружали.

Вертолет гудел, мерцал кабиной, подвесками с барабанами, в которых



торчали клювы снарядов. А мимо стены из соседнего дома, где размещался медпункт, несли к вертолету раненых — трех саперов и водителя головной афганской машины. Еремин с испугом следил за ними. В проем было видно, как их проносили. Над одними носилками держали капельницу. Стекланный флакон тускло блеснул. На брезенте носилок мелькнуло белое, без единой кровинки лицо.

Их поднесли к вертолету, протолкнули в фюзеляж под работающими винтами. Дверь в борту затворилась. Вертолет громогласно, со свистом взмыл. Снова прогнал над солдатами сорную бурю. Затихая, ушел над рекой. Было видно, как по воде, раздуваемая винтами, мчится за ним рябь солнца.

Подошел замполит, высокий, прямой, в сетчатой маскировочной куртке, с белесыми, наполненными пылью усами.

— Что, гвардейцы, испеклись, как картофелины? — Он сказал это насмешливо-бодро, поддразнивая, поддерживая солдат, а сам внимательно, зорко пробежал глазами по лицам мотострелков, читал на них усталость, тревогу. Солдаты любили замполита — его грубовато-насмешливые, никогда не оскорбительные шуточки, его постоянное присутствие в роте — на отдыхе, на марше, в бою. И теперь он подошел не случайно. Хотел ободрить солдат, угнетенных видом раненых.

— Ничего, сейчас их танки подавят! — сказал он вслед уходящей, лязгающей и скрипящей машине. — Танкист говорит, еще две точки осталось. Сейчас их закупорят. Разминировем путь и пойдем. Протащим колонну, и через сутки обратно в часть. Баньку устроим, кино покрутим. Какую-нибудь картину про любовь. Правда, Вагапов?

— Так точно, товарищ старший лейтенант! — Вагапов через силу, откликаясь на невысказанную просьбу замполита, взбодрился, встряхнулся, одернул на себе пыльный, скомканный под бронежилетом китель. — Сначала баньку, а потом про любовь!

И от этой мелочи, от пустяковой шуточки все ободрились, заулыбались. На измученном лице Еремина тоже промелькнула улыбка.

За низким дувалом, где прежде была хлебная нива и тянулся пересохший арык, собрались шоферы-афганцы. Расстелили платки на остат-

ках колосьев. Выкладывали плоский хлеб, горстки кишмиша. Ставили фляги с водой. Поворачивали к мотострелкам смуглые, синеватые от проросшей щетины лица. Словно хотели пригласить их к трапезе, но не решались.

На дороге заурчал мотор. БТР выруливал, объезжая грузовики, представляя солнцу тусклые ромбы брони. На броне, опустив ноги в люки, держась за ствол пулемета, сидели двое. Командир роты, черноусый, длиннорукий капитан, чей планшет, замотанный синей изоляцией, плоская расколота рация, автомат со спаренными рожками, долгоносое, с провалившимися щеками лицо, были хорошо известны солдатам. И второй, незнакомый. Пожилой, с седыми висками, с дряблыми щеками, с морщинами у глаз и у губ. Этот второй был одет в маскировку, погон его не было видно. Но в том, как он сидел, властно, вполоборота обращаясь к ротному, и в том, как сидел рядом с ним ротный, в неуловимой позе подчинения, угадывался в пожилом человеке начальник. Солдаты разглядывали его, прислушивались к рокоту БТР.

— Лейтенант! — крикнул ротный. — Давай двух бойцов в прикрытие! И сам подсаживайся! Сбегаем на передовую!.. Гвардейцы, не унывать! — подмигнул он солдатам. — Скоро пойдем вперед!.. Товарищ полковник, — он обернулся к сидевшему на броне пожилому, — прикажите продолжить движение!

Эти его brave нарочитые интонации и тревожные усталые глаза, его черные обвислые усы, наполненные белой пылью, все это говорило солдатам: дело неважно. Ротный их просит взбодриться перед лицом прибывшего начальника, а полковника просит верить, что солдаты в хорошей форме, рады появлению его, командира роты. Ценят прибытие на передовую, в зону стрельбы и опасности высокого начальства.

— Вперед! — негромко сказал полковник.

Лейтенант оглядел взвод. Быстро ткнул пальцем в Еремина и Вагапова:

— Ты!.. И ты!.. Оба за мной! — Цепко, ловко вскочил на броню. И оба, Вагапов и Еремин, один привычным упругим броском, другой неуклюже, цепляясь за скобу автоматом, сели на корму БТР. Машина пошла, и Вагапов видел как уменьшается, исчезает в



пыли намалеванный, разноцветный павлин.

Выехали из селения. Катили по узкой белой дороге. И Вагапову после тесноты кишлака, многолюдья, скопища машин и моторов ущелье казалось просторным. Откосы гор свободно сбегали к реке. Вершины уходили ввысь одна за другой, окруженные синью. Но этот простор не радовал, а пугал. Все они на броне, открытые солнцу, вершинам, невидимым, за ними следящим глазам, были беззащитны перед чужим прицелом и выстрелом. Звуки пулеметов и пушек приближались, прокатывались по горам, будто кручи передавали их друг другу на своих огромных ладонях, через реку, много раз, туда и обратно.

Миновали саперов. Те лежали, сидели, схоронясь за малые бугорки и выступы. Уложили рядом с собой свои щупы и миноискатели. Потеснились, пропуская БТР. И Вагапов видел, как один из них, маленький узкоглазый казах, отпрянул от колеса, заслонился от пыли и камней, брызнувших из-под толстого ската.

— Прикажете дальше, товарищ полковник? — спросил ротный, не уверенный в том, что следует двигаться дальше, готовый в любой момент скоmandовать вниз водителю — повернуть БТР обратно.

Полковник колебался. Было видно, что ему не хочется ехать. Не хочется поворачивать туда, за уступ ущелья, где, невидимые, близкие, стояли танки и работали пулеметы противника. Но он преодолевал нежелание. Он и ехал на передовую, чтобы преодолеть нежелание. Показать себе и другим, что он, доживший до седых волос, прослуживший долгую безупречную службу в нестареющих тыловых гарнизонах, не страшится стрельбы. Что он, боевой командир, командуя другими, молодыми, годными ему в сыновья, отсылая их на мины и пули, — он и сам не боится этих мин и пуль и поэтому вправе посылать их в бой. Все это чувствовал в нем Вагапов. Не умел себе объяснить, но чувствовал. В этом близком к пониманию чувстве была неловкость за пожилого, годившегося ему в отцы человека, который выставил на броню его, Вагапова, рискует им, чтобы самому укрепиться, набраться силы и твердости.

Вперед! — скоmandовал полков-

ник сурово. — Надо посмотреть, почему эти коробки замешкались!

Они приблизились к подорванной саперной машине, завалившейся на бок. Там, где она косо сидела с проломленным днищем, начиналось минное поле.

— Держи по танковой колее! — приказал ротный водителю. — Вперед не суйся! Налево!

БТР колыхнулся, отвернул от машины, вцепился в ребристый, намятый танками след. Двинулся на перекресток ущелий. Вагапов успел разглядеть обугленные, в легких дымках голые обода машины. Дохнуло жженой резиной, окисленной сталью. Сочно, ярко сверкнула река. Мелькнула каменная кладка моста. Мост был не взорван, но, должно быть, в его старых, грубо отесанных камнях, пропускавших по себе верблюжьи караваны, вереницы горных легконогих лошадей, путников, крестьян, богомольцев, — в черной добротной кладке таился фугас. На этот фугас стремились притаившиеся за бугорками саперы. К этому фугасу не дошла, раскололась подорванная машина. У этого моста были иссечены и побиты солдаты, которых унес вертолет. Обо всем этом молниеносно подумал Вагапов, удерживаясь за скобу, втягиваясь вместе с БТР в другую, выходящую на перекресток расселину.

Узкое извилистое ущелье уходило вдаль. Голое сухое русло ручья было завалено камнями. Черная, с выступами, с пятнистым гранитом гора господствовала над ущельем. В стороне возвышалась другая — светлая, белесая, похожая на огромную грудку муки. Дальше чуть зеленела покрытая робкой растительностью третья. И за ней, удаляясь, становясь все более синими, тянулись горы, превращались в хребет с ледниковой поднебесной кромкой, прозрачной и недвижимой, как облако.

В русле ручья под углом друг к другу стояли два танка. Вели огонь по черной горе. У ближнего танка дернулась пушка. Просверкал у дула огонь. Танк осел на гусеницах, и горячий грохот толкнул транспортер, наполнил ущелье плотной материей звука. У темной горы, на высоком выступе рванул взрыв, красное короткое пламя, длинные брызги осколков. Дым округло и медленно стал оседать





по склону. И в ответ, прорываясь сквозь эхо, простучал пулемет.

— Пулеметчик! — наклонился в БТР ротный. — По взрыву! Правее!.. Да вон, по кромке уступа!.. Короткими!.. Огонь!

Башенный пулемет покачал растреском, словно обнюхал гору, и вдруг прогрохотал, раз, другой. Послал на гору длинную, как красная проволока, трассу. И все, сидящие на броне, отшатнулись от плотно трещащего огня. А ствол продолжал двигаться, выцеливать, щупать черный гранит.

— По вспышке, если увидишь!.. Короткими!.. — повторил приказание полковник, откачнувшись от пулемета. Тревожно, быстро оглядел соседей, выпрямился в люке. — Стой! Дальше не надо! — остановил он водителя. БТР уперся скатами в ноздреватый, похожий на метеорит камень. Редко стрелял вслед за ухающими танками. С горы нечасто из невидимых пещер стучали два пулемета — по танкам, по перекрестку с мостом, и одна короткая очередь прошла вблизи БТР, вскипятила песок и щебень в пересохшем русле ручья.

Вагапов чувствовал и понимал всех, сидящих на ромбах брони.

Полковник, попавший в первый раз

под обстрел, мучился, нервничал, одолевал свою слабость. Улыбался, поводил плечами, старался выглядеть бесстрашным. Неестественно подмигивал солдатам:

— Ну как, бойцы, настроение? Ничего! Держись!..

Обращался к ротному с видом умудренного, понимающего обстановку командира:

— Танки с полчаса поработают, и начнем потихоньку продергивать колонну!

Успевал подшутить над взводным, повернувшимся спиной к горе, презиравшим стреляющие пулеметные точки:

— У тебя, лейтенант, должно быть, глаза на затылке!

Командир взвода, тоже впервые переживавший обстрел, считал необходимым перед старшим командиром и подчиненными выказывать презрение к опасности. Вытянул ноги из люка, положил на корму автомат, зашнуровал развязавшийся ботинок. Вагапов понимал его молодую отважную игру. Смотрел на его шнурок, сделанный взамен порвавшегося из желтой хлорвиниловой изоляции. И прощал его.

— У меня, товарищ полковник, как у камбалы, глаза на одной стороне! —





Взводный слишком свободно и дерзко ответил на шутку полковника, опасность сближала их и равняла.

Ротный, умудренный и опытный, недовольный всей этой ненужной затеей, желал нырнуть в открытый люк, загнать под броню солдат. Но оставался снаружи, сжимал глаза при каждом ударе пушки. Старался разглядеть на склоне проблеск чужого пулемета. Наклонялся в люк, отдавал приказы стрелку.

Еремин откровенно боялся. Бледный, вздрагивающий при каждом выстреле, поджимал под себя ноги. Вцепившись в автомат, нагибался, прижимался к броне, укрывался за башней. Хотел стать меньше. Хотел убежать от этих приседающих, вздрагивающих танков, копотных взрывов. Исчезнуть из этих бескрайних стреляющих гор.

Сам же Вагапов, завершавший второй год службы, познавший обстрелы, взрывы мин и гранат, раны и гибель товарищей, научился во время опасности, не переставая бояться, — научился выносить свой страх за пределы себя самого. Усилием воли помещал его в другое, близкое, соседнее «я», страшась, готовое упасть, убежать. А сам, освобожденный на время от страха, мог четко действовать в бою, вести прицельный огонь, прикрывать

отступление, шагать по горной тропе с замурованными вживленными минами. Он и теперь словно раздвоился: один, испуганный, со стиснутым, ожидающим дулю сердцем, был где-то рядом, тут же, на голой броне. А другой, спокойный, всевидящий, сжимал автомат, терпеливо ожидал приказаний, готовый подчиниться команде.

— Давай сюда! Здесь удобнее! — Он подвинулся, уступая место Ереминому, касаясь мимолетно его плеча, поправляя сбившийся «лифчик».

Еремин, откликаясь на это участие, прижался не к броне, а к Вагапову. В нем, в Вагапове, искал и находил спасение.

— Хорош! — сказал полковник. — Возвращаемся!

Он полагал, что выполнил обе задачи. Узнал обстановку на месте, возможность проведения колонны. И прошел боевое крещение, стал настоящим боевым командиром, под стать своим подчиненным. Это чувство переполняло его, изменило, омолодило. Оживило румянцем лицо, расправило складки у рта. Его движения, жесты стали свободны, уверенны. Он больше не вздрагивал при выстрелах пушек, своих и чужих пулеметов. Был весел, возбужден. Знал, что справился с труднейшим делом — заслужил уважение



этих молодых офицеров, этих юных солдат.

— Сейчас начнем проводить,— сказал он ротному.— Пусть танки работают, а саперов двинем на мост!.. Что, гвардейцы, прорвемся? — Он повернул к солдатам властно-веселое лицо. Не дожидаясь ответа, скомандовал в люк: — Разворачивайся!.. Обратно!.. Вперед!..

Транспортер обогнул черный, похожий на метеорит камень. Резко разминутся с двумя запыленными танками. Оставил сзади два взрыва, висящие над скалами, далекую в синеве ледяную кромку. И пошел к перекрестку. Взводный, не оглядываясь, все зашнуровывал свой хлорвиниловый желтый шнурок.

Миновали мост с подбитой, курящейся гарью машиной. Лежащих за бугорками саперов, которым еще не был отдан приказ идти на мост и которые слушали перекаты близкой пальбы, очереди опасных для них пулеметов. И снова маленький узкоглазый казах потеснился, пропустил БТР, загораживаясь локтем от пыли.

Они вернулись в кишлак, остановились у развалин дувала. Вагапов увидел возникающее из пыльного облака изображение павлина.

Спрыгнули на землю. Шоферы-афганцы за соседней стенкой заканчивали трапезу. Убирали остатки хлеба, фляги с водой, садились тесно в кружок, довольные затянувшейся передышкой, возможностью побыть всем вместе за тихой беседой, а не трястись по камням, ожидая взрыва под колесами, пулю сквозь дверцу машины.

— Ну вот и смотались! — сказал Вагапов Еремину.— Давай реставрируй!

Они уселись у дувала на землю. Еремин улыбался, благодарный, измученный, опустил в горячую тень. Отложил автомат. Протянул худую, дрожащую руку к цветным крошкам глины. Выбрал зеленую. Помедлил. Нашел ей место в цветастом хвосте павлина.

Михаил Вагапов смотрел на зеркальную поверхность реактора. Видел, как тает в нем бледное лицо ленинградца Еремина, разноцветный, намаленный на глине павлин.

Работал, касаясь нержавеющей зер-

кала жужжащей машинкой. Снимал легчайший темный налет, а вместе с ним невесомые оболочки, в которых исчезали видения-отражения его собственных мыслей.

Он не мог согреться в работе. Иногда принимался кашлять. Останавливал шлифмашинку, пока дыхание не восстанавливалось, не исчезало жжение в горле. Опять запускал инструмент.

Элемент реактора, над которым работал, был понятен ему. Он знал, как этот гладкий стальной цилиндр войдет в сочетание с металлическим белым конусом, с оболочкой, с верхним завершающим блоком. Собранный воедино реактор будет опущен в бетонное чрево шахты. В него загрузят стержни урана. В нагретый урановый тигель хлынет по трубам вода, омывая могучую угрюмую топку. Вся машина, созданная из электроники, стали, из подземной расплавленной магмы, раскаленного пара и газа, из слепой непомерной мощи, почерпнутой из центра земли,— машина реактора, рукотворная, хитрая, будет работать здесь, под куполом зала. И далекие города и заводы станут жадно сосать стальное раскаленное вымя. Пить и глотать электричество. И его, Вагапова, дело, рокот шлифовальной машинки отзовутся взлетом истребителей, ходом кораблей в океане, огнями в новых домах.

Он чувствовал свое место среди людей, сотворивших реактор. Чувствовал его красоту, совершенство. И одновременно — мысль об урановой мощи, о незримых ядовитых потоках, о возможном взрыве и пламени, о слепящем облаке газа, в котором растает сталь, электроника и его, Вагапова, жизнь. Эта мысль угнетала его. Мысль, что он, малый, слабый, строит машину, способную спалить и разрушить весь окрестный, засыпанный снегом мир, где деревни, проселки, стога, где близкий соседний город, в котором жена Елена, его будущий ребенок. Эта мысль казалась ужасной, до конца недодуманной. Он думал о брате Сергее, пережившем Чернобыль. Искал его среди вспышек и лязга. Находил далеко в другом конце зала, где работали сварщики, и брат, закрывшись маской, вонзал в трубопровод звезду электрода. Он чувствовал к брату нежность и боль, как к тому ленинградцу Еремину. Непонимание — как жить в этом мире, где строят реакторы, пишут умные



книги и взрывают в городах мосты, грузят в вертолет раненых, и Лена, жена, ее большой дышащий живот — как жить в этом мире?

— Слышь, Миха! — ткнул его в бок Ваулин, маленький сердитый монтажник, курносый, с рыжими, торчащими из-под каски вихрами. Он был опоясан широким монтажным ремнем, на котором поблескивала цепь. — Сколько, скажи, будем с Харченкой, с гадом возиться! Сколько он будет на горбе у нас ездить! Я за него пахать не желаю!

— А что стряслось-то? — остановил машинку Вагапов, недовольный тем, что его отвлекли. Помешали работе и течению мыслей. В них, в этих мыслях, что-то мучительно строилось, осыпалось, опять возводилось. Брезжило какое-то близкое, ускользавшее постоянно открытие. — Что ты весь накалился! Капни на тебя, зашипишь!

— Да уж накапал Харченко, гад! В шахту лезть не хочет! Говорит — радикулит, боязнь высоты! Зачем тогда в бригаду втерся? Знал, на что идет! Не на теплом диване валяться, в карты играть! Ненавижу этих блатных, подсадных уток!

Ваулин яростно гремел цепью, фыркал, потрясал кулаком. Требовал от Вагапова немедленного вмешательства.

Харченко был долговязый, ленивый малый, навязанный бригаде сверху усилиями начальства, вопреки их воле. В бригаде, выполнявшей срочные работы у реактора, были постоянные высокие заработки. Да и сама работа в закрытом помещении, у сверхсложного дорогого оборудования, в стерильной спецодежде казалась привлекательной и престижной. Харченко, угодный начальству, оказывавший ему множество частных и мелких услуг, в благодарность за это был внедрен в бригаду. Был «блатной». Был нелюбим в бригаде. Работал хуже остальных. Вызывал постоянные нарекания рабочих. Был «сачок».

— А почему ты не пойдешь к бригадиру? — сказал Вагапов. — Ступай к Петровичу. Он и прикажет. А не пойдет в шахту, гнать его к чертям! Сколько его терпеть!

— Да Петрович не станет ввязываться! Он с Лазаревым не станет ссориться. А этот кадр меня доведет! Я ему врежу при всех по каске! Я его работу буду делать, а он деньги получать?

Хрен-то! Давай пойдем, Миха! Скажи ему по-афгански!

Неохотно откладывая инструмент, он пошел за Ваулиным, не желая ввязываться в ссору, не желая расставаться со своим состоянием, повинуюсь воле других. Ему вечно напоминали об этом, а он и сам не забывал, нес свое бремя «афганца».

Харченко сидел на деревянной катушке от кабеля. Сутулый, длинноногий, с узким унылым ртом, бегающими злыми глазами, которыми следил за подходящими. Рядом, возмущаясь, потряхивая монтажным поясом, стоял слесарь Зорчук, что-то втолковывал Харченко.

— Почему сачкуешь? — спросил Вагапов, испытывая к нему раздражение, чувствуя, как оно крепнет, переходит в угрюмый гнев. — Сколько тебе говорили: работай! Почему не работаешь?

— Где не работаю? — огрызнулся Харченко. — Сегодня все утро варил! Электроды хреновые! Кабель ободрали, вот-вот пробьет замыкание! Техники безопасности никакой! А я все равно варю!.. А сейчас не пойду! В шахту варить не пойду! Сказал, не пойду! — Он отбивался от упреков плаксиво и зло.

— Почему не пойдешь? — спрашивал Вагапов, сдерживая свой гнев, боясь его в себе, не пуская его к глазам, к жаркому красному затмению. — Почему другие могут, а ты не можешь?

— У меня вот здесь вот хребет не гнется! — Харченко стукнул себя кулаком по спине. — Радикулит! Не могу там болтаться! Там сквозняк! Здесь и то околеваешь — калорифер пустить не могут! А в шахте вообще загнешься!

— Кончай бузить, — перебил его Ваулин. — Когда тебе нужно, на морозе работаешь! В воскресенье весь день варил гараж прорабу, радикулита не было? А сегодня утром Лазареву к «Жигулям» глушитель варил!.. Техника безопасности!.. Долбануло бы тебя хорошенько током, я бы рад был!.. Двойной навар снимаешь! За глушитель слева получишь и нашу денюгу возьмешь! Все утро на тебя ишачили!

— Ты-то, что ли, ишачил? Толкался без толку! У всех под ногами путался! — отбивался Харченко.

— Ладно, хорош! — Михаил удержал рванувшегося Ваулина. — Надевай пояс и топай в шахту работать!

— Ты-то что за начальство! — взвизгнул Харченко. — Бригадир есть!



Петрович меня не посылает, а ты куда лезешь? Бригадиром, что ли, стал? Петровича подсиживаешь? Вижу, как ты его выжимаешь! На его место карабкаешься!

— Слушай, сачок,— очень спокойно, превращая свой гнев в глухое, литое, направленное на Харченко давление, сказал Михаил.— Мы тебя долго терпели. С Петровичем портить отношения не хотели. А теперь, обещаю, выкинем! Под зад коленом, и пошел, гуляй! Побирайся холуем по начальству, вари им гаражи и собачьи будки на дачах. С такими, как ты, в горах у нас был другой разговор. Но здесь не горы — под зад коленом, и айда, гуляй!

— Да что!.. Да что!..— труся и ненавидя, зачастил Харченко, поднимаясь, раскачивая длинным, нестройным телом.— А что ж ты брата своего в шахту не гонишь! Пошли брата в шахту! Пусть он вместо меня в шахте ползает!

— Брата не тронь! — надвинулся на него Михаил.— Брата Серегу не тронь! Он уже лазил в шахтах. Пока ты, тля, левые башли сколачивал, Серега в Чернобыле уран руками хватал!.. Если еще раз брата тронешь, можешь случайно там оказаться! — Он кивнул на шахту, откуда из тьмы дул железный сквозняк, мрачно мерцало и вспыхивало, освещая на мгновение стальные соты огромного улья.— Я все сказал!

Повернулся и пошел, слыша визгливые причитания Харченко.

Уже у реактора, пуская шлифовальную машинку, видел, как Харченко надевает пояс, направляется к люльке, готовится к спуску в шахту. Подумал — все их ссоры и распри потонут и исчезнут в гулах реактора, когда зажжется в шахте немеркнущая неостывающая глыба урана и потоки лучей полетят в безлюдном пространстве, сокрытом от глаз под куполом.

Снова работал. Снова смотрел в металлическое туманное зеркало.

Горный, накаленный солнцем кишлак. Запыленная корма БТР. Павлинье перо, собранное из расколотой глины. Сочная зелень реки. Полковник с командиром роты склонились над картой, прижатой к броне. Шоферы-афганцы за соседним дувалом окончили трапезу, складывали платки и накидки. И длинный, свистящий, нависающий звук,

падающий из-за ближней горы. И там, куда он упал, на берег реки, в горячую гальку и щебень, чмокающий, хрустящий удар, дымный упругий взрыв, короткий бледный огонь и курчавое облако.

Вторая мина вслед за первой, просвистев по дуге, ударила ближе, в хлебное поле, пухло и мягко. Рванула огнем белизну пшеницы, потянула над ней черный косматый дым.

Третья мина прочертила, углубила неисчезнувшую свистящую из-за горы траекторию и шлепнулась за дувал в скопление афганцев. И звук был, как падение камня в чмокающую мокрую глину, и короткий треснувший взрыв. Вагапов рухнул на землю, пропустил над собой вихрь осколков, ожидая четвертого удара, сюда, в стену, где лежали мотострелки. Но четвертого не было. А вместо него из-за дувала раздался истошный многоголосый вопль. Вагапов выглянул: там, где только что лежали платки, остатки изюма и хлеба и сидели кружком шоферы, там лежали четыре тела. Два из них плашмя, а два шевелились и дергались. Другие афганцы с криком разбежались в разные стороны, продолжая взрывную волну, спотыкались, падали, ползли на четвереньках, снова бежали вслепую, натываясь на глинобитные стены. Сквозь пролом в дувале выбежал шофер, держась за лицо руками, и сквозь скрюченные пальцы чернел орущий с выбитыми зубами рот, торчали кровавые ошметки щек, вращались огромные, белые от ужаса и боли глаза.

Вопли и стоны разлетелись в стороны, по кишлаку, звучали отовсюду. Один из водителей продолжал бежать по хлебному полю к реке, удаляясь, тонко и жалобно вскрикивая.

— Рассредоточьтесь!.. Рассредоточьтесь!.. Живо!..— ротный разгонял мотострелков, махал над ними руками. Солдаты послушно, споро, быстро покинули тень. Рассыпались кто куда, подальше от груженных машин, от брезента, под которым таились снаряды.— Санинструктор!.. Сабиров!.. Ну возьми ты его! — кивнул он на афганца, уткнувшегося в стену окровавленную черную голову.

Сабиров был уже рядом. Что-то делал с водителем. Отдирал от его лица скрюченные пальцы. Доставал бинт, бинтовал. Вагапов издали, распластав-





шись на солнцепеке, видел, как чернеет макушка афганца, белеет бинт, светится на стене разноцветный павлин.

Полковник и ротный, прижавшись к транспортеру, выглядывали на высокий, освещенный солнцем конус горы. Оттуда просвистели, упали взрывы. Оттуда, из-за лысой вершины, навесом прилетели мины. Где-то там, невидимый, стоял миномет.

— Наверное, за кромкой, товарищ полковник!.. Или чуть дальше, на соседней горе! — Ротный запрокидывал худое лицо в катышках пыли, скопившейся у глаз и у рта. — Пристреляли ущелье, вот и попадание!

— Да они всех нас перебьют! — Полковник, вжав голову в плечи, смотрел на вершину. — Закидают! В снаряды жажнут, такое начнется!.. Такой хлопок будет, что одни угольки останутся!

— Надо или назад отходить, или прорываться, товарищ полковник, — советовал ротный, косясь на близкие зачехленные грузовики, на рассыпанных притаившихся у дувалов солдат. На Вагапова, присевшего рядом на солнцепеке, не решавшегося войти в прямоугольную тень транспортера. — Надо прорываться!

— Приказываю! — Полковник оправился от минутной растерянности, уже оценил обстановку, снова был боевой командир, действовал твердо и точно. — Рассредоточьте колонну!.. Направьте взвод на ликвидацию минометной позиции!.. Сбить позицию и прикрыть прохождение сверху!..

— Я думаю, они уже сменили позицию, товарищ полковник, — возразил неуверенно ротный. — Очень быстро меняют позицию. Место за горой неизвестное, взвод станет плутать. Стоит ли его посылать?

— Выполняйте, — повторил полковник, не строго, но резко и бодро, стремясь передать утомленному растерянному ротному свою командирскую твердость. Ибо он понимал обстановку, был знающий боевой командир, только что дважды обстрелянный в этих жарких горах. — Выполняйте!

— Есть выполнять!

Ротный шагнул к лейтенанту, издали, от стены наблюдавшему их разговор. Тот поднялся навстречу, упругий, гибкий, понимая все с полуслова. Заглянул мельком в карту, поддерживая на боку автомат. Все его жилы и мускулы напряглись от силы и ловкости. Он щурился на ближнюю гору, про-



мерял дугу траектории от места падения мин обратно к сысой вершине. И за нее, к незримой площадке, где стоял миномет и люди в долгополых одеждах разматывали из пыльных материй глазированные хвостатые мины.

— Взвод! Ко мне!..

Выбрал десяток солдат. Построил в цепь, оглядел. Повел скорым шуршащим шагом вдоль знойного склона, огибая гору, в распадок. И Вагапов, оглядываясь, мимо близкого, дышащего, серого под панамой лица Еремина видел: колонна распадается, грузовики осторожно вырываются, въезжают во дворы, на белое хлебное поле, покидают дорогу. По кишлаку ведут перевязанных, с забинтованными головами и лицами людей. И мерно, глухо, ослабленная гранитным уступом, ухает танковая пушка.

Они шли плотной гибкой цепочкой — вещмешки, подсумки, фляги с водой, автоматы. Огибали гору, ожидая увидеть обратный пологий склон, спускавшихся, покидавших позицию минометчиков. И сразу, отрезая отступление, бить из многих стволов, истребляя душманский расчет. Но пологого склона не было. Сразу за белесой горой открывалась другая, выроставшая из нее, бледно-розовая, охваченная тусклым розовым жаром. Изменив маршрут, они огибали ее, трассируя склон, хрустящий, запекшийся, без единой былинки, шли по остывающей лаве. Задыхались, потные, горячие, торопливые. Готовились к бою, к падению на колючую землю, и сверху, настигая противника длинными очередями, — истреблять засаду. Но розовая гора кончилась, и за ней вознеслась зеленая. Но зелень была не от трав, а от горных проступавших пород — неживая минеральная зелень.

— Не могу больше... — задыхался Еремин. — Не могу...

Он отставал, пропуская вперед других, и солдаты, жарко, громко дыша, обгоняли его, зыркали молча белками. Вагапов отставал вместе с ним, медленно сдвигаясь к хвосту, отдаляясь от головы, где, неутомимый, упругий, шел лейтенант, Закатал рукава, поблескивал черным коротким автоматом. Взмахивал им, словно подгрребал к себе остальных солдат.

— Не могу больше!.. Пить!.. — тянулся к фляге Еремин, глядя умоляюще на Вагапова.

— Нет, погоди, не пей!.. — запрещал ему Вагапов. — Совсем упадешь!.. Не пей, говорю..

— Я и так упаду! — задыхался Еремин. Его лицо под панамой было белым. Рот, не закрываясь, дышал. Губы, глотавшие сухой жаркий воздух, казались костяными.

— Ты о воде не думай, — говорил Вагапов, пропуская мимо себя последних торопящихся в гору солдат. — Ты о другом!.. О матери думай... О девушке, если есть... О беседке своей, которую камушками цветными выкладываешь... А о воде не думай!.. Выпьешь глоток, запалишься... Перетерпи, перемучься!

Они были теперь в самом хвосте цепи. Расстояние между последним солдатом и ими увеличивалось. Вагапов, замыкая движение, смотрел, как вяло, слабо упираются в гору ботинки Еремина, как гора не пускает его, хватает за ноги, втягивает в себя. Еремин борется с притяжением горы, топчется почти на одном месте. Вот-вот остановится, и гора увлечет его в свою глубину, сомкнет над ним свой горячий свод.

— Ты вниз не сползай!.. Набрал высоту и держи! Ногам охота вниз идти, а ты не пускай!.. Не теряй высоту! — учил Вагапов. Сам задыхался, вбирал ртом горячий воздух, не охлаждая легких. Выбрасывал из ноздрей две шумные раскаленные струи.

Он жалел Еремина, этого щуплого новобранца, впервые попавшего в горы, в разреженный воздух хребта. Помогал ему, вдохновлял, хотел поделиться силами. И пусть было ему самому тяжело и его самого тянула гора в гранитную сердцевину. Пусть шли они в бой, отягченные гранатами, набитыми до отказа рожками, готовыми к стрельбе автоматами, — в нем, Вагапове, оставалось место для сострадания и заботы, для неясной из нежности и боли мечты: после службы они станут дружить с Ереминым, не разлучатся, не потеряют друг друга из виду, а Еремин придет к нему в деревню, познакомится с матерью, братом, и он, Вагапов, покажет ему все родные места — речку с деревянным мостом, ключик в овраге, остатки старинной барской усадьбы, где аллеи огромных лип и берез, белокаменный щербатый фундамент, заросший лопухами и одуванчиками, на которых пасутся деревенские козы. А он, Вагапов, придет к Еремину в Ленинград.



поживет в его городской квартире, среди дорогих красивых вещей, познакомится с его родными, с обходительными, приветливыми. Они станут гулять с Ереминым по городу, по музеям и паркам, и Еремин в одном из парков покажет свою беседку, белую, с колоннами, с разноцветным, из наборных камушков полом. Так думал он, замыкая цепь, ставя подошвы на горячую гору, видя, как трепыхается вещмешок на худых плечах Еремина, как сгибается он под тяжестью автомата, фляги, боекомплекта.

— Ты думай о беседке своей, тебе легче станет!..

Они одолели гору, и за ней был легкий спуск в седловину, за которой снова начинался подъем.

Лейтенант собрал солдат, дождался отставших Еремина и Вагапова. Жаркий, блестящий, потный, с яростными, бегающими по вершинам глазами, с черными мокрыми подмышками.

— Ну что вы там скисли! — накинулся он на обоих. — Еремин, что ты тянешься, как сопля! Идут же в армию доходяги! Ты стометровку бегал? На перекладине подтягивался? Посмотри, на кого ты похож! Людей держишь! А ты, Вагапов, подгоняй его хорошенько!

Он был раздражен. Прodelав бросок по горам, не нашел противника. Можно было повернуть обратно, возвращаться в кишлак. Или продолжить поиск, спуститься в ложбину.

— Внимание всем! — принял решение. — Идем вперед! Пойдем перекатом! Сержант Вагапов и вы двое, — он ткнул пальцем в Еремина и еще одного солдата. — Оставайтесь здесь, прикроете! Следите за нашим продвижением, пока мы не зайдем высоту, вон ту! Тогда вы идите, а мы прикроем! Понятно? Ложись! — приказал он прикрывающей группе. — Остальные за мной! — и ловко, ссылая камушки, кинулся вниз, утягивая цепочку солдат. А трое остались, прижимаясь животами к вершине, расставив оружие во все стороны, разведя его по пустым окрестным вершинам.

— Ну вот, отдыхай! — подбадривал Вагапов Еремина, который лежал без сил, вялый, словно лишенный мускулов. Не видя, слепо, не слушая Вагапова, нащупал флягу. Отвинтил. Прижал к губам. Жадно, долго пил, глотал, дви-

гал худым острым горлом, роняя мелкие капли, наслаждаясь, оживая.

— Зря! — осуждая, сказал Вагапов.

— Вот теперь хорошо! — виновато улыбнулся Еремин.

Они лежали, наблюдая, как остальные солдаты, уменьшаясь, спустились в низину. Сливались своей пропыленной формой с бесцветным, без теней, без оттенков камнем. И только вспыхивали иногда металлические детали оружия. Цепь пересекла седловину, замедляя движение. Потянулась в гору, скапливалась на противоположной вершине — чуть заметные подвижные бусины на кромке шершавой горы.

— Можно идти! Вперед! — приказал Вагапов и поднялся сам. Неся автоматы, они устремились вниз, зная, что с соседней вершины за ними следят, защищают, прикрывают их продвижение.

Третий из них, маленького роста киргиз, ловко, извилисто петляя по склону, обогнал их на спуске. Увеличил разрыв у подножия и уже карабкался на противоположную гору, юркий, легкий, как ящерица, в то время как Вагапов то и дело натывался на спину Еремина, только начинавшего одолевать подъем.

Вода, выпитая Ереминым, выступила серыми пятнами на одежде. Лицо ярко блестело, словно таяло. Становилось все меньше и меньше, и на этом лице страдали, сжимались, плакали глаза, и рот, оскалась, часто мелко дышал.

— Не могу!.. Минутку! — умолял он.

— Давай-давай! Напрягайся! — подталкивал его сзади Вагапов. — А ну, давай сюда! — И он сдернул с плеч Еремина вещмешок, в котором звякнули консервы сухого пайка. — Давай, давай!..

Мешок был тяжелый. Увеличил и без того нелегкую поклажу Вагапова. Он почувствовал прибавление тяжести в этом разреженном горном воздухе. Услышал, как сильнее забилося сердце, как натянулись усталые мышцы. Но одновременно увидел, какое облегчение испытал Еремин, как распрямилась его спина, стал виден из-под панамы мокрый белесый затылок. И знание того, что Еремину стало полегче, придало Вагапову лишние силы.

Медленно, с остановками они достигли вершины. И первое, что увидели, — было злое, глазастое лицо лейтенанта.



Язвительный, резкий, притоптывал ботинком с желтым хлорвиниловым шнурком. Накинулся на Еремина:

— Почему плетешься! Все тебя ждем!.. Один вахлак всех держит!.. На себе тебя тащить или как? Черт побери!..

Так велико было его раздражение и презрение к Еремину, так не терпелось ему кинуться дальше в преследование, в следующую низину, не столь безжизненную, как предыдущая, — она слегка зеленела, и на ней светлели и петляли протоптанные стадами тропинки, — что взводный сделал движение ногой, не ударил, а выразил свое негодование. Но ботинок толкнул носком камень, на котором стоял Еремин. Камень выскочил, и Еремин, не имея сил удержаться, упал плоско, длинно, даже не вытянув руки, не защищаясь в падении. Стукнулся головой о землю и замер, потеряв сознание. Панама его отлетела, и он лежал со стриженной белесой макушкой, закрыв глаза, растворив слабо губы.

— За что, товарищ лейтенант? — шагнул на взводного Вагапов, чувствуя, как взбухло горло и глаза начинает заливать красный безудержный гнев. Боролся с ним, не пускал, страшился его в себе. Ненавидел лейтенанта с его выпученными яростными глазами, сильным тренированным телом. — За что ударили?

Руки его машинально повели оружие. Другие солдаты молча надвинулись на лейтенанта, стали теснить. Тот отступал. В глазах пробежали неуверенность и тревога. Еремин очнулся, открыл глаза. Стал подниматься, отталкиваясь ладонями. Солдаты в несколько рук поставили его на ноги.

— Отставить разговоры! — оборвал лейтенант, своей волей, упорством, командирским натиском побеждая в шатком, возникшем на миг противоборстве. — Еремин, бодрись!.. Ты, ты и ты! Остаетесь в прикрытии!.. Остальные за мной! — И, повернувшись спиной к солдатам, зная, что приказ его будет выполнен, легко и упруго скользнул по склону. Выбрал на нем тропу и уже удалялся вниз легким скоком.

Вагапов колебался мгновение. Оглянулся на Еремина, которому надевали панаму, и шагнул за взводным. Перед ним мелькали спина лейтенанта с

ремнями «лифчика», засученные по локоть руки и легкий, сжатый в кулаке автомат.

Он провел шлифмашинкой, срезая видение, свертывая его в маленький огненный вихрь. Кругом рокотала станция. Мерно, колокольно ухал металл. Визжали, скрипели сверла. Трещала сварка. Шипели языки автогена. Урчали моторы поворотного крана. И среди множества режущих, долбящих и плавящих звуков, неразличимые в огне и железе, звучали голоса людей.

Вагапов сменил абразивный круг. Отдыхал, расслаблял усталые мускулы. Ежил, спасаясь от холода. Выискивал за реактором место, куда бы не доставал сквозняк. Готов уже был включить машинку, когда увидел проходивших мимо сварщиков. Тянули кабель, несли электроды, держатели. Среди сварщиков брат Сергей.

— Сережка!! — окликнул Михаил. — Заходи в гости!

Брат улыбнулся шутке. Приблизился, держа под мышкой пакет с электродами. Стоял, переминаясь, худой, тонкий, с землистым лицом. Михаил, оглядывая его худобу и бледность, тревожился о нем. Испытывал к нему чувство, в котором была привычка повелевать и командовать и уходившая в детство нежность, неразлучность с братом, обращенность туда, в сырые луговины, где стояла деревня, и их дом, черный, выше соседских, чуть осевший на угол, и ветвистый, со скворечником тополь, и мать идет с огорода с ворохом укропа и лука.

— Что ты бледный такой все время! Будто мел ешь! — придиричиво, недовольно сказал Михаил. — Тень ходячая!

— Да ну, ерунда! — отмахнулся Сергей, тяготясь этой опекой, но и смиряясь с ней, привыкнув смиряться.

— Не ерунда! К врачу ходил? Ты теперь должен регулярно к врачу ходить! А ты не ходишь!

— Да здоров я. Я же чувствую, что здоров.

— Кровь сдавал на анализ? Тебе кровь нужно каждый месяц сдавать.

— Да сдавал. Все нормально, Миша.

— Белый, значит, крови мало, — продолжал придираться Михаил. — Значит, белая кровь. Я же помню, ты



был как свекла! Всегда ты был как свекла. А теперь белый!

— Сейчас зима, вот и белый. А летом опять серым стану. Я ведь — Серый. Так меня зовут! — пошутил Сергей. Но шутка вышла неуверенной, брат ее не воспринял.

— И какой-то скучный стал! Все думаешь о чем-то. Все что-то на ус мотаешь. Вон Николай Савельевич мне говорил — каждую ночь во сне кричишь!

— И ты кричишь. Лена говорила — кричишь.

— Я-то знаю, чего я кричу! Я команду!.. Наступаю, отступаю! «Духов» в плен беру! А вот ты кричишь отчего?

— Уж я не помню, что снится, — неохотно, страдая от расспросов брата, сказал Сергей.

— Да уж, наверное, Чернобыль твой снится, как ты в реактор нырял. Рыбкой или солдатиком? Как, говорю, нырял-то?

— Солдатиком, — усмехнулся Сергей. — Мы все солдатиками ныряли. Ты — в ущелья, а я — в реактор.

— Я сержантиком в ущелье нырял! — на этот раз поддержал шутку брата Михаил. Посмотрел на него долго, пристально. Брат вернулся из армии, из войск химзащиты, побывав на украинской аварии. Там, на аварии, работал в радиационном поле. В нем оставил свою веселость, румянец, свой громкий открытый смех, бесконечный, до оцепенения, до слез, когда сидели на лавке, рассмеявшись на какую-то малость, хохотали, поддерживая друг в друге это непрерывное состояние смеха, так что проходившие мимо соседи сначала сердито цыкали, а потом и сами начинали смеяться. Мать выскакивала из калитки узнать, что за смех, что за гогот, и тоже начинала смеяться.

Казалось, Сергей оставил там, у реактора, часть своей жизни и молодости. Что-то покинуло его навсегда, свежее, яркое, сильное. И что-то в нем поселилось — долгая, бесконечная; не имевшая названия мысль. Одна и та же и днем и ночью. Он все время думал о чем-то. Иногда неожиданно у него появлялись слезы в глазах. Не текли по щекам, а вдруг переполняли глаза и, постояв, исчезали. Уходили обратно вглубь. В такие минуты Михаилу хотелось обнять его, прижать, к себе, от чего-то заслонить. Или растормошить,

нашуметь на него, отвлечь. Поташить его на танцы или назвать гостей, бестолковых и громких. Или собраться в деревню к матери, где все родное, все милое, все исцеляет — и хворь, и тоску, и немощь.

Михаилу казалось, в брате было что-то от того ленинградца Еремина. В обоих — беззащитность и хрупкость. Оба нуждались в его, Михаила, защите.

— Жениться тебе надо, — сказал Михаил. — А ты сидишь, книги читаешь, глаза дырявишь. Найди себе девчонку! Женишься, квартиру получишь. Ребенка родишь, сразу поймешь, что к чему. Здесь, на станции, нам работы на двадцать лет хватит. За вторым третий блок пустим. А там — четвертый. А там глядишь, и пятый, шестой. Здесь с тобой приживемся, до старости будем жить!

— Нет, — сказал Сергей. — Второй блок пустим, и я уйду.

— Куда?

— Не знаю. Куда-нибудь. Или на север, на нефть, трубы варить. Или на корабль наймусь, на Сахалин, рыбу ловить. Или на Кавказ уеду. Там, говорят, заповедник есть — сторожем, лесником поработаю. Еще не знаю куда.

— Да что ты надумал! Дурость! Тебе здесь плохо работать? Вместе, рядом! Чуть что, друг другу поможем. Зачем тогда на станцию было устраиваться? Ведь я за тебя просил, хлопотал. Зачем было на стройку идти?

— Да я еще в Чернобыле, когда на блоке работал, решил, что приеду на стройку. Посмотреть, как она, станция, строится, если потом взрывается. Хотел увидеть, какой он такой реактор, над которым мы с совковой лопатой бегали и графит подбирали. Ну вот и посмотрел, и хорош! А теперь другое смотреть хочу, как в других местах люди живут. Какая она, жизнь-то, у нас. Поезжу, пока молодой.

— Дурость! — рассердился Михаил. — Что тебе на чужую жизнь смотреть? Надо свою заводить. Жениться, работать, детей растить.

— Вон Фотиев Николай Савельевич всю жизнь ездит. Все смотрит, исследует. Вот и открыл закон. Я тоже хочу свой закон открыть.

— Да Фотиев-то образованный, ученый! Вот и открыл закон. А ты?

— Я тоже учиться буду. Фотиев мне списочек книг написал, какие нужно



прочесть. Я уже начал. Буду ездить, на жизнь смотреть и учиться. И может, открою закон.

— Дурость все это! — продолжал раздражаться Михаил. Но чувствовал, брат от него удалился и его не достать. Он уже тронулся, пустился в дорогу. Еще здесь, рядом с ним, но уже удаляется, уходит в свой путь.

— Вагапов! Серый!.. Вагапов младший! — позвал издали слесарь, перекрывая гулы и рокоты зала. — Чего застрял? Иди вари!

Сергей обрадовался этому зову. Виновато и тихо улыбнулся брату. Пошел, унося под мышкой пакет электродов.

Михаил пустил шлифмашинку. Приблизил к стенке реактора. Сияющая стальная поверхность была той прозрачной преградой, что отделяла сегодняшний день от другого, давнишнего. Шагни вперед, сквозь прозрачный блеск, и ты снова там, в тех горах.

Лейтенант удалялся, сбегал с горы по бледной извилистой тропке. Спина с вещмешком, закатанные рукава, маленький в руке автомат, сильные, гибкие ноги, мелькавшие на тропе. Он сбегал, удалялся, не оглядываясь, подставляя спину солдатским глазам. Вовлекал их в движение. Одолевал их протест. Подчинял своей командирской воле. Продолжал изнурительную жаркую гонку в каменных желобах и откосах.

Солдаты топтались, поглядывали на сержанта, словно выбирали между ним и сбегавшим вниз лейтенантом. А он, Вагапов, знал, что сейчас шагнет, побежит по тропе, ссылая с нее мелкие камушки. Мучился невозможностью поступить иначе, а только бежать, задыхаясь, повинуюсь команде, в невидимой связке, проглотив все обиды, свои и чужие. Ибо все они — лейтенант, пихнувший ногой Еремина, и бледный белогубый Еремин, приходящий в себя от ушиба, и чернявый, с желтоватыми белками Сабиров, и другие солдаты, мокрые, запыленные, обессиленные гонкой в горах, — все они были стянуты одной невидимой связкой, и их тянуло, влекло на тропу, протоптанную горными овцами.

Вагапов смотрел на удалявшегося лейтенанта длинным, долгим, тоскливым взглядом, не любя командира, не

желая ему добра. И тот на расстоянии длинного взгляда будто почувствовал эту неприязнь. Дернулся, подпрыгнул. Под ним возник, поднимая его, круглый короткий взрыв, и сбоку, поодаль второй. Лейтенант мгновение находился в воздухе верхом на взрыве: круглый бледный шар света, расставленные темные ноги. И упал, шмякнулся, покатился клубком, и рядом, отдаляясь от него, тянулись по склону два облачка гари. Растягивались, рассыпались вместе с затихавшим двойным ударом. А лейтенант катался беззвучно, переворачивался со спины на грудь, отжимался на голых закатанных по локоть руках.

— Подрыв!.. Подорвался! — крикнул Сабиров и кинулся, устремился с горы, замирая вдруг на тропе, удерживаясь на ней, напрягаясь, словно в постромках. — Мины!.. Минное поле!..

И все они, наклонившись, будто на старте, замерли, не решались бежать. Удерживались невидимой, давившей из-под горы силой.

— Стоять! — он, Вагапов, сержант, смотревший секунду назад на бегущего лейтенанта, подорвавший его своим взглядом, ужаснулся содеянному — два зрачка, два луча, выбившие из горы два коротких огненных взрыва. — Стоять! — Он, сержант, был теперь командиром. Хриплым окриком останавливал их на тропе.

Горячая, глубокая, наполненная духотой ложбина. Белесые, размытые жаром вершины. Извилистая легкая тропка. Шевелящийся на земле лейтенант. И все это вместе — туманный далекий жар, висящие недвижные кручи, склон горы и тропа — все это минное поле. Все заминировано. В камень, в пыль, в мельчайший прах вмурованы мины, и каждый шаг мог превратиться в короткий красный удар, в комок зловонного дыма.

Вагапов застыл у начала тропы, у невидимой линии, за которую убежал лейтенант. Был опрокинут ударом, полз, извивался. Карабкался назад, на тропу. Отползал от своей лежавшей отдельно ноги. Волочил другую, непомерно длинную. И эта черта, эта линия не пускала. Удерживала их всех на горе. Они смотрели, как корчится внизу лейтенант.

— Всем стоять!... — хрипло повторил Вагапов. — Еремин... Аккуратно!.. За мной!.. Да оставь ты свой «акаэс»! — И



сам, изгибаясь плечами, скинул вещмешок, отложил автомат и подсумок, чтобы быть невесомей, легче. Забыв отстегнуть две зеленые ручные гранаты, первым ступил на тропу.

Он шагал медленным, пружинистым, парящим шагом, вглядываясь в грунт, в мелкий сыпучий порошок, истолченный раздвоенными копытами овец, чувяками горных пастухов. Готов был отдернуть стопу, отпрыгнуть, откатиться клубком от тугого, мгновенного взрыва. Видел затылком Еремина, громко дышавшего, ступавшего, как по канату, боящегося оступить. Видел впереди лейтенанта, слышал его ругань и оханье, звуки его плевков. И так напряглись его зрачки и глазницы, так усилилось и расширилось зрение, будто весь он покрылся глазами. На подошвах, в груди, животе — повсюду были глаза. Вся его жизнь, все дыхание превратилось в единое зрение. И вдруг, поднимая ногу, задерживая ее на весу, он увидел разом все мины, лежащие вокруг на горе.

Две «итальянки» в круглых пластмассовых корпусах, припорошенные гравием, — гравий с одной осыпался, и торчали ребристые грани. Три самодельки, мелко углубленные в склон, с контактными дощечками, с медными, разведенными врозь лепестками. Фугас — упрятанный в оружейную гильзу, невидимый, замаскированный плоским камнем, над которым осторожные ловкие руки рассеяли пепельную мягкую пыль. Две растяжки — тончайшие серебристые струнки, паутинно натянутые, соединявшие воедино заряды.

Он увидел их разом в своем ясно-видении, словно зрение проникло под землю и мины обнаружились в прозрачной горе. Мертвенно, ртутно просияли среди выжженных склонов. Это длилось мгновение. Прозрачность горы исчезла. Мины погасли. И глаза, потеряв ориентиры, шарили и плутали. Пугались любого бугорка и морщинки. Весь склон казался набитым взрывчаткой.

— Не приближаться! Держи дистанцию! Шаг в шаг! — не оборачиваясь, хрипел он на Еремина. Подходил к лейтенанту, выбирая путь своим страхом, своим звериным чутьем, своим ясновидением.

Лейтенант лежал на груди, упав щекой на тропу, зацепившись за камень,

словно за борт лодки. Подтягивался, стремился перевалиться через борт, выдрать себя из бездны, которая тянула его обратно. Этой бездной был склон, в котором темнели наполненные тенью две лунки от взрывов и лежала отдельно оторванная нога. В ботинке ярко желтел хлорвиниловый шнурок. Вторая нога, непомерно длинная, тянулась на лоскуте черной обугленной тряпки. А сам лейтенант, оставив от лунок мокрую черную полосу, начинавшую сохнуть на солнце, содрогался, колотился щекой о гору, высвистывая сквозь слюни:

— Пристрелите меня! Пристрелите! Не могу! Пристрелите!..

Звук этого хлюпающего, свистящего голоса. Рука, шарящая у пояса кобуру. Бугрящийся, как горб, вещмешок. Две лунки от взрыва и лежащий на камнях автомат. Рядом отдельная, нелепая, ужасная нога с желтым шнурком. И другая — на обугленном лоскуте с красно-белой зыбкой начинкой. Булькающее, толчками, извержение крови, будто прорвался бурдюк. И лейтенант уменьшается, опадает на глазах, становится плоским. Все это увидел Вагапов, пробуждаясь для стремительного, молниеносного действия.

— Стой, командир, не дам! — перехватил он руку взводного, нащупавшего наконец кобуру. — Не дам, говорю! — Он выдрал из кобуры пистолет, сунул себе на грудь. — Еремин, быстро накидку!..

Тот уже был рядом. Слепо, послушно отдергивал ремешки на вещмешке. Извлекал со спины лейтенанта плащ-накидку. Разворачивал. Стелил ее тут же, на тропе. Глаза его были выпучены. Он ужасался при виде крови. Вот-вот рухнет в обморок. Но руки действовали цепко и точно.

— Застрелите меня! — умолял лейтенант.

— Давай его повернем! — командовал Вагапов. В четыре руки они затолкали, перевернули с живота на спину, закатали на брезент лейтенанта. Тот лег на мешок, обнажив худой незагорелый кадык, рваные, из гари, из костей и ошметков обрубки, из которых сильнее забила кровь. — Давай сюда ногу, тащи!

Еремин, как по воде, высоко подымая колени, прошел к ноге. Поднял ее двумя руками и нес, отстранив от себя. Нога, недавно ударившая его, желтела



шнурками, светлела стертой, оббитой о камни подошвой.

— Сюда ее, на брезент!.. Берись за концы!.. Не за эти! Черт, автомат не забрал! — Вагапов в два длинных скачка, туда и обратно, подобрал автомат, кинул его на брезент. И оба они поднимали тяжелого, продавившего ткань лейтенанта. Понесли его в гору, где, недвижимые, стояли солдаты. Смотрели, как они приближаются.

Вагапов чувствовал тяжесть живого расчлененного тела, сотрясаемого судорогами. Чувствовал его нестерпимую боль. Слышал скрежет зубов, нарастающий горловой клекот, готовый перейти в непрерывный крик. Перебивал этот крик, грубо хрипло матерился, не давая кричать лейтенанту, не давая ему погибнуть от боли.

— Молчи, командир, молчи!.. А я тебе говорю, молчи!.. А ну молчи, говорю!..

Он клял эти горы, и минное поле, ребристые итальянские мины, и Италию, где никогда не бывал. Он клял лейтенанта за то, что тот подорвался, и одновременно спасал его, не давал умереть. Отгонял сквернословием смерть, отшвыривал от своего командира.

Они достигли вершины и опустили живой окровавленный куль, из которого сочилось, и капало, и неслись бессвязные бормотания и стоны. Солдаты отбросили полы накидки. Сабиров, санинструктор, на корточках, отдаляя лицо от красных, как фонари, обрубков, накладывал на раны жгуты, стискивал, стягивал, брызгая красной жижей. Солдаты с силой тянули узлы. Вкалывали в голую руку взводного шприц с дурманным наркотиком. А взводный крутил головой, водил безумно глазами, сквозь слюни и кровь выговаривал:

— Ой, мамочка, не могу!.. Ой, мамочка моя, не могу!..

Вагапов панамой стирал пот с лица. Смотрел, как бинтует Сабиров, и красное пятно мгновенно прожигает бинты, и они горят, болят, пламенеют.

— Ой, не могу больше, мамочка!..

Лейтенант затихал, забывался. То ли жизнь его покидала, то ли действовал промедол. Вагапов, сжимая панаму, знал, что теперь он, сержант, — командир. На него неотрывно смотрят солдаты, ждут его приказа и слова.

— Уходим! Конец! Отвоевались!.. Вы, четверо, берите взводного и бе-

гом! — сказал он, вытаскивая из-за пазухи пистолет, кладя его к лейтенанту. — И двое еще — ты и ты — несите его и меняйтесь!.. Бегом, что есть мочи, иначе не донесете!.. А мы чуток приотстанем, прикроем вас!.. Вперед!

Четверо подхватили брезент и бегом, сначала путаясь, не попадая в ногу, встряхивая тяжкий тюк, побежали. Двое налегке кинулись следом. А он, сержант, махнул троим, оставшимся, этим взмахом подгребая их поближе к себе, указывая кивком на ближнюю кромку.

— Еремин, сотри кровь с лица!.. Вот тут, на скуле и на шее!..

Оглядываясь, видел, как быстро удаляются с ношей солдаты. Задержался глазами на мокром липком пятне там, где только что лежал лейтенант. Кровь теперь быстро испарялась на солнце. И в нем, в Вагапове, бог знает откуда видение: у их деревенского дома, у сарая, старый без донца чугунок, и сквозь него сочно и зелено проросла молодая крапива. Видение зеленого, милого, свежего на окровавленной жаркой горе.

— За мной! — пошел он по склону, по круче, туда, где не было троп, не было мин.

Достиг каменного гребня, за которым снижалась ложбина, колючий, долгий откос. И увидел внизу людей. Вереница стрелков с мерцавшей винтовочной сталью одолевала подъем. Ступали медленно, плавно, белея, голубея одеждами. И Вагапов задохнулся от бесцветного солнца, от соседства удаленного на выстрел врага.

— Ложись! — беззвучно приказал он солдатам, падая больно на камни. — Плотнее, заметят! — придавил он к земле Еремина.

Выглянул. Внизу приближалась, колебалась вереница стрелков, тусклый блеск оружия. Под повязками виднелись смуглые капельки лиц.

Его окликнули, отвлекли. Рядом стояли главный инженер Лазарев, бригадир Петрович и женщина, кажется, из профкома — Михаил будто видел ее однажды, заглянув на минутку в профком. Все трое подошли к калориферу, трогали его бездействующие конструкции. Монтажники изда-



лека, не прерывая дела, наблюдали за ними.

— Я и так вижу. Работает в режиме холодильника. — Лазарев вынул из кармана свою маленькую белую ладонь, подержал у калорифера. Отвел в сторону, подставляя под сквозняк, и снова спрятал в карман. — Ну а кто здесь замерз? Ты, что ли, замерз? — Он повернулся к Михаилу, дружелюбно его оглядывая, смеясь своими выпуклыми темными глазами. — Такой молодой и замерз!

Михаил, не выключая машинку, молчал. Смотрел исподлобья на Лазарева. Испытывал к нему неприязнь. За маленькую, слишком чистую ладонь, на мгновение мелькнувшую и снова пропавшую в кармане. За эту нерабочую позу, руки в карманы, неуместную здесь, где все руки были наружу, в работе. За легкомысленную насмешку над ним, мерзнувшим в сквозняке. За дорогой, теплый воротник из выдры, который выбивался из-под белого, небрежно, ненадолго наброшенного халата. За весь его облик, возникший как помеха, перебивший больные, драгоценные мысли, ускользавшие видения, что являлись ему в работе. И Вагапов угрюмо смотрел, держа жужжащий, вибрирующий инструмент.

— Да выключи ты ее! — поморщился Лазарев. Дождался, когда машинка умолкнет, и снова вернул на лицо насмешливо-дружелюбное выражение, — Знаешь, есть один способ согреться. Экстрасенсы его применяют. Пусть мороз трещит, птица на лету замерзает, а ты представь себе, что лето, зной, жара, ты где-нибудь на пляже, на Черном море, и тебе сразу жарко станет. Начнешь раздеваться. Это есть такой метод самовнушения. Экстрасенсы его применяют.

Михаилу казалось, что над ним издеваются. Зачем-то пришли и стали над ним издеваться. Надеются на его безответность и издеваются, унижают его.

— Вы здесь постоитесь восемь часов на холодном бетоне, а потом раздеваться начните! — не глядя в глаза Лазареву, угрюмо и глухо ответил он. И этот угрюмый, глухой ответ был услышан и понят Лазаревым, как угроза и грубость. Лазарев согнал усмешку, собрал на лице жесткие строгие складки, отдаваясь от этого хамоватого нелюбезного парня на дистанцию начальственного превосходства.

— А не надо стоять без дела на бетоне! Надо работать, двигаться! — повышая голос, сказал он, поводя плечами, изображая движение в работе. — А то мы много стоим, разглагольствуем, делаем вид, что работаем. А до проверки доходит — работы ноль! Ты знаешь, что сегодня на штабе реакторному цеху баранку вкатили? Вам позор на всю стройку! Ведь не овин, не сеновал какой-нибудь ляпаем, а атомную станцию строим!.. Не хотите работать, заставим! Будем штрафовать, наказывать!

Этот близкий к окрику несправедливый начальственный упрек, в котором промелькнула издевка над ним, деревенским, лишь усилили в Михаиле глухое нетерпение, чувство противоречия и отпора. Он подавлял в себе это чувство, зная могущество начальства. Робел перед ним, раздражался своей робости.

— Нам все о работе да о работе! — сказал он тихо. — Сделай то! Сделай так! В ночную иди! В выходной отработай! Неделью стоим, три ночи в мыле. Кто-то где-то путает, а нам отдуваться... А когда рабочий попросит чего-нибудь, ему рот затыкают. Сколько мы просили: поставьте калорифер, мерзнем. Ноль внимания! А ведь и мы, когда нас попросят, можем тоже ноль внимания. Потолкуем между собой, прикроем клапаночки. Будем работать в режиме холодильника.

Бригадир Петрович огорчился, вздыхал, не одобрял Вагапова. Разводил руками: дескать, он, бригадир, думает совсем иначе. Это не его, бригадира, мысли. Пусть начальство видит, как трудно ему управляться с такими людьми. Женщина из профкома молчала и слушала. Было неясно, на чьей стороне. Лазарев, уязвленный бестактностью ответа, вглядывался в близкое молодое лицо. Читал на нем откровенную нелюбовь к себе.

— Повторяю, будешь плохо работать, будем тебя штрафовать! Будешь других подстрекать, уволим! Нам не нужны подстрекатели... Как фамилия? Буду специально спрашивать о тебе бригадира. Если узнаю, что мутишь воду, уволью... Как, я не понял, фамилия?

— Вагапов — фамилия! — подсказал Петрович.

Михаил чувствовал, как медленно, неумолимо, словно отшлифованный



затвор, движется, нарастает в нем гнев. Приближается к той черте, за которой кончается разумение и возникает неуправляемая вспышка, затмевающая красным глаза. Он чувствовал ее приближение, не желал, боялся ее в себе. Ненавидел близкое, презирающее его лицо, свою зависимость от чужой неправой воли, свою безответность, неумение достойно ответить, отсутствие слов, отсутствие знаний, свою слабость перед силой и властью. Его дыхание, дрожание желваков, напряжение мускулов было медленным, яростно-холодным скольжением к последнему пределу терпения.

— Вы мне не «тыкайте», я вам не тыква! — сказал, ощутив беспомощность ответа. Постарался собраться с мыслями. — А вы мне не отец родной... Уволить вы меня не уволите. Не ваша станция. И я не на вас работаю, не гараж вам строю, не дачу. Мы не в Америке пока что живем, и я не на буржуя батрачу. А на себя, на государство... А если увольнять, так всех нас вместе, одним совком! Но, может, меня и оставят, а начальство совком подденут, да и вытряхнут. Мы газеты читаем, кто за кого, понимаем. После Чернобыля много всякого начальства совком подцепили и вытряхнули. И министров, и замминистров. Может, и до наших мест доберутся!

Он говорил, чувствуя, как слова подбираются все правильней и точнее. А гнев отступает и появляется уверенное знание. Знание взведенного затвора. И он небезоружен, не пленный. Его не подмять, не унижить.

Соседние рабочие, оставив работу, приблизились, окружили их. Другие, не подходя, издали наблюдали за ними. Не слышали, о чем разговор, но догадывались. Впитывали его сквозь гулы и шелесты зала вместе с тусклым холодом воздуха, мерцающим электричеством.

Лазарев учуял опасность этого бегущего на него электричества. Попробовал уклониться, спустить его в землю.

— Ну как же мы можем так рассуждать! — сказал он горько, одновременно о себе и о нем, как бы приближаясь к Вагапову, сливаясь с ним в одной доле, не различая его и себя. — Ведь такое время идет! Такая пора на дворе! Говоришь, газеты читаешь!

Перестройка — дело мучительное, долгое! Правильно говорят, идет революция! И мы должны чем-то жертвовать, чем-то поступиться! Каждый на своем месте, на своем посту. Понимаю, это непросто! Ох как непросто — перестраиваться и нам, начальству, и вам, рабочим! Так давайте вместе! Давайте пойдем друг друга! Скажем себе и друг другу: «А чем я могу быть полезен? Чем я могу пожертвовать?»

— Мы, рабочие, жертвуем! — Вагапов видел лукавство. Чувствовал, что его сбивают, обводят вокруг пальца, путают и морочат. Пугался, что снова, в который раз, оставят его в дураках. — Мы-то жертвуем! Вон люди годами квартиры ждут, по углам жмутся. А пашут, работают, понимают — нету квартир! Скажут нам, на субботник бесплатно — идем! В фонд Чернобыля кто десятку, а кто и сотню. В Фонд мира, в общую шапку кладем. В ночную смену идти — согласны! Значит, надо, недоспим. Мы-то, рабочие, жертвуем. А чем начальство жертвует? Нам не видно. Оно в кабинетах сидит, нас к себе не пускает!

— Несознательные у тебя люди в бригаде, — Лазарев повернулся к Петровичу. — А ведь мы, как я помню, тщательно подбирали бригаду, человек к человеку. Хотели создать коллектив. Думали: вот пустим второй блок и всей бригадой отправим вас за границу, на кубинскую стройку. Направим вас, как полпредов! А теперь, я вижу, надо пересматривать состав бригады. Коекого нельзя пускать за границу! Коекого придется придержать!

— А мне за границу не надо, я уже был за границей! Теперь вы поезжайте! Только не в свою за границу, откуда чеки везут, а в мою, где с «акаэсом» по тропкам ходят! Я уже был за границей, теперь на своей земле пожить хочу! Как человек хочу пожить на своей земле! Имею на это право!

— Говоришь, Вагапов фамилия? — Лазарев продолжал обращаться к Петровичу, повернувшись спиной к Михаилу. — Это не ему ли квартиру в новом доме выделили? Пошли навстречу. Ведь это он ходил квартиру вымаливать, выпрашивать! Мы ему в обход других предоставили. Но ордера то еще не раздали! Можно и пересмотреть решение! Не поздно! Много других, достойных!

Он говорил о Вагапове, будто его



здесь не было. Будто было пустое место. Учил его, укрощал, ставил на место, раз и навсегда ему отведенное, с которого ему не сойти. И чувствуя это, чувствуя, как медленно заскользила отшлифованная холодная сталь, плоскость по плоскости, убыстряя движение, пролетая последнюю ограничительную черту, за которой начинался удар, выстрел, слепящий, все застилающий гнев, Михаил двинулся на Лазарева в своей силе и ярости:

— Квартиру назад?.. Вымаливал и выпрашивал?.. Руки лизать?.. На коленях ползать?.. Вы по две квартиры имеете, здесь и в Москве! По две дачи! По две машины, свою и казенную! Пайки получаете с черного хода, пока мы в очередях стоим, в затылки друг другу смотрим! Детишек своих по теплым местечкам устраиваете! Везде у вас кумовья, везде блатные, знакомые! Суда не боитесь! Управы никакой не боитесь! Делаете, что хотите!.. А рабочего человека гнете, топчете, все пути закрываете, чтоб ему никуда не пробиться! Чтоб мне никуда не пробиться! Чтоб я весь век в углу, в бараке, в общежитии ютился! Чтоб жену не мог в нормальный дом поселить! Чтоб она мне детей не рожала, абортыв делала! Чтоб девчата наши абортыв делали, а парни по подъездам бормотуху жрали! Чтоб все мы спились, озверели! Чтоб одно на уме — водяра! Чтоб народ одичал и весь вымер!.. Так не будет! Не для этого я с «акаэсом» по горам лазил, другому народу хорошую жизнь добывал! Я и своему народу хорошую жизнь добуду!

Он надвигался на Лазарева с машинкой, держа ее наперевес. Глаза его застило красное плывущее бешенство. И в ответ на это бешенство Лазарев не отступил, не испугался, и повернулся к нему лицом, белый, как маска, с ненавидящими глазами:

— Все рвете куски! Все тянете на себя!.. Себе, себе!.. А государству — хрен! Пропади оно пропадом для вас, государство! Тащите, что плохо лежит! Воруете, разворовываете! Работать ни черта не умеете!.. Технику гробите, дорогую, валютную! Инструмент гробите!.. После вашей работы генераторы горят, трубы лопаются, станции к черту взрываются! Поезда с рельсов сходят!.. Бутылка, стакан — единица измерения! Не работа — туфта!.. За что вам платить-то? За брак? Да будь

моя воля, выкинул бы вас к чертовой матери! Походи без работы, пожуй рукав!.. Нет, невозможно! Профсоюзы, законы! Право на труд!.. Да какой к черту труд — одно безделье!.. Да на этом месте десять монтажников из ФРГ сделали бы в два раза больше, чем вы! «Рабочий класс»! «Передовая сила общества»! «Двигатель прогресса»! Ложь отвратительная!..

Он задохнулся и вдруг замолчал. Со всех сторон к нему подходили рабочие, в белом, в касках, кто с инструментом, кто сжав кулаки. Теснили его туда, где зияла шахта, и в черной ее глубине, среди шестигранных металлических сотов, мерцало и вспыхивало.

— Перестаньте! Всем говорю, перестаньте! — женский, сильный высокий голос, перекрывая гулы и рокоты, остановил их всех. Они очнулись. Женщина из профкома — тонкое, побледневшее под пластмассовой каской лицо, цветастый под белым халатом платок — женщина встала между Лазаревым и Вагаповым так, что круг шлифмашинки уперся ей прямо в грудь. И Вагапов испуганно опустил инструмент. — Хватит! Все ясно без слов!.. Вам! — повернулась она к Лазареву. — Как представителю администрации, вам следует сегодня же заменить калорифер! Иначе профком составит акт о несоблюдении условий труда, о нарушении техники безопасности! И наложит запрет на работы!.. Рабочие правы! Профком проследит, чтобы сегодня же была обеспечена подача тепла!.. Идемте! — Она с силой взяла под локоть Лазарева, провела его сквозь расступившуюся стену людей. — Работайте, товарищи! Калорифер сегодня заменят!

Они ушли, монтажники молча расходились, продолжая прерванный труд. Били, кололи и резали, сжигали газ, электричество. Строили гнездо для реактора.

Михаил чувствовал огромную усталость и слабость, будто отобрали у него силы жизни. Зеркальная стальная машина возвышалась над ним. Он подумал — реактор, его нержавеющей белая гладь отразила эту ссору людей. И она, эта ссора и ненависть, пролегла тончайшей трещиной в кристаллическом монолите реактора. Опустят громадину в шахту, наполнят раскаленным ураном, и корпус не выдержит, взорвется по трещине.



Испугался. Стал искать глазами брата. Нашел его, далеко, в другом конце зала, среди лопастей голубого света. Поднял шлифмашинку, пустил абразив.

Он лежал на гребне горячей горы. Шестерка солдат с тяжелым брезентом одолела далекий склон, мелькнула и скрылась. Невидимые, они спускались теперь в долину, менялись, несли израненного, впавшего в забытие лейтенанта. А он, сержант, с другими тремя, прижимался к шершавому гребню, смотрел вниз по склону, где извивалась тропинка, двигалась вереница людей — долгополые одежды, повязки, смуглые капельки лиц, тусклое свечение оружия. Они поднимались на гору неторопливо и слаженно, повторяли очертания тропки. Уверенно выбирали маршрут. Вагапов считал. Насчитал семерых. Его мысли бегали вслед за зрачками от душманских стрелков до автоматного дула, и дальше, к соседней горе, за которую унесли лейтенанта, и дальше, к далеким, пепельно-белым откосам, где, невидимое, проходило ущелье, и текла река, и валялась подорванная машина, и танки, приседая на траки, стреляли прямой наводкой. Его мысли пробегали по окрестным горам, разлетались и сталкивались.

Можно молча, одним свистящим дыханием, движением губ и бровей, приказать отход. Быстро, ловко, хоронясь за гребнем, отбежать в распадок. Переждать движение стрелков. Те, достигнув вершины, спустятся вниз, в седловину, и так же ходко, спокойно исчезнут в туманном жаре. А они вчетвером догонят своих, прикрывая их, защищая с высот, вынося израненного лейтенанта.

И бог с ними, с этими худыми, в балахонах, в повязках горцами. Пусть идут, куда знают, — в своих горах, по своим тропинкам, в свои кишлаки, в которые пришла война, разорила жилища, смяла рожь, раздробила на осколки пестрого, нарисованного павлина. И быть может, кто-то из тех, кто идет сейчас по тропе, и есть тот художник, что разрисовывал птицу.

Эта мысль пробежала и канула. Позабылась, сменившись другой.

Нет, они останутся здесь, на вершине, на удобной закрытой позиции, и вступят с душманами в бой. Не про-

пустят к ущелью, где попала в засаду колонна и саперы, страшась стрельбы, залегли у обочины. Эти стрелки торопятся на помощь своим, и бой уже начат, они все в бою, и сейчас они станут стрелять по душманам, отвлекая их на себя, облегчая участь колонны.

И он смотрел, как близится цепочка людей, повторяя изгибы тропы. То скрываются все за передним. То вытягиваются косою вереницей. Семеро в чалмах, шароварах, с воронеными вспышками стали.

— Слушать меня! — зашептал он солдатам. — Передние двое — мои!.. Двое других — твои!.. Еще одна пара — твоя!.. Твой, Еремин, последний!.. Длинными! Добивать на земле!.. Стрелять за мной! Когда подставят бока!..

Душманы шли теперь прямо на них. Задние скрылись за первыми. И этот, передний, в светлых шароварах, в синеватом балахоне, в белой чалме, подымался, выставляя колени, сильно, крепко ставил на камни подошву. Были видны черные усы на лице, темноватый, поросший щетиной подбородок, перекрестье патронташа на груди, медные мелкие блестки то ли от торчащих в патронташе пуль, то ли от ременных заклепок и бляшек. Винтовка его была на плече, и кулак недвижно сжимал ремень.

Вагапов целил в него, держал на мушке, дожидаясь, когда тропинка вильнет и они, повторяя изгиб, изменят направление, станут возникать один из другого, вытягиваться в вереницу. А пока передний колыхался над стволом автомата своей чалмой, черноусым лицом, ставил ногу на автоматную мушку.

Вагапов скосил глаза — двое солдат лежали рядом. Маленький киргиз старался поудобнее ухватить цевье, покрепче угнездить автомат. Второй, долговязый худой белорус, сбил на затылок панаму, ерзал ботинками по мелкому щебню, пытаясь найти опору. Его большая грязная кисть лежала на вороненой щеке АКС, указательный палец щупал крючок. Еремин поодаль, топорщась мешком, держал перед собой оружие, слишком далеко от лица, и лицо его, наполовину освещенное солнцем, было несчастным. Вагапов успел почувствовать это несчастье, этот страх перед выстрелом, перед первым в живую близкую цель, в



живого, не подозревавшего ни о чем человека. И этот страх, вид несчастного страшющегося лица вдруг вызвал в Вагапове ярость, презрение к Еремину и то ли тоску, то ли предчувствие беды.

«Дохляк! Боится оружия! Салага!..»

Но некогда было раздумывать. Передний душман стал разворачиваться, все больше и больше втягиваясь в чуть заметный извив протоптанной овечьей тропы. Из-за него возникла вторая фигура, второй стрелок в таких же шароварах, в чалме, в расстегнутой на груди безрукавке. На плече стволом вниз висел автомат, за спиной виднелся мешок. Из-за этого мешка возникла третья фигура, третья чалма. Душманы вытягивались в цепочку, колеблемую, трепещущую, с одинаковыми, разделявшими ее интервалами. И когда появился последний, без чалмы, в малиновой шапочке, неся на плече длинный свернутый тук, придерживая его руками, как носят рулоны ковров, когда все они вытянулись на тропе, Вагапов тихо, медленно выдохнул воздух, задержал в опустевшей груди переставшее биться сердце, провел стволом чуть вперед, опережая идущих. И когда передний надвинулся, запузырил одеждой, наполняя собою прорезь, Вагапов нажал на спуск.

Он почувствовал два удара — приклада в плечо и излетевшего тугого огня в чужое далекое тело. Грохот и блеск, длинные струи пульсировали между этими двумя ударами. Заваливали того, на тропе, опрокидывали, пролетали мимо над его головой. И Вагапов возвращал подскочившую мушку на второго, идущего следом, неточно, промахиваясь, попадая, снова промахиваясь, и опять вонзая огонь и грохот в падающего человека. Стрелял, окруженный грохотом трех других автоматов, брызгами гильз, дымным пламенем.

На тропе валялись и прыгали люди. Визжали, катались клубками. Застывали, распластывались. Начинали шевелиться, вставать. Бугрились спинами. И в эти бугрящиеся спины, в мешки, в ворохи одежд, в упавшее, не успевшее огрызнуться оружие продолжали врываться очереди — истреблять, добивать, подымая на камнях солнечную курчавую пыль. И только один, последний, в малиновой шапочке, сбросив тук, с долгим непрерывно-

тоскливым криком, напоминавшим предсмертный вопль зайца, кинулся вниз по тропе. Прыжками, бросками, падая, скользя на ногах, на спине, подымаясь, несясь обратно вниз, наполняя воздух ложбины предсмертным заячьим криком.

«Промазал Еремин!» — со злобой подумал Вагапов, ведя автомат за бегущим, посылая в малиновую горящую шапочку остатки пуль.

Промахнулся, видя, как киргиз меняет рожок, а белорус, подымаясь, с колена стреляет тоже и тоже промахивается, разгоряченный, сотрясенный, с выпученными глазами, с яркой стриженной без панамы макушкой.

Умолкнувшие, переставшие стрелять стволы, груды тел на тропе, долгий удалявшийся крик, мелькание малиновой шапочки, все это вместе взятое, не давая проснуться ужасу, переводило этот близкий ужас от содеянного убийства в другое, яростное, безумное, звериное чувство — в желание погони. Вид убагающего безоружного врага поднял его с земли.

— Не стрелять!.. Живьем!.. Обходи его с той стороны! — И толкнувшись о гору, вытягивая за собой автомат, метнулся вниз.

Промчался короткий отрезок, отшатнувшись от взлохмаченных тел, под разными углами пересекавших тропу. Комья тряпья, торчащие черные бороды, оскалы зубов, вцепившиеся в камни ногти, липкая, мокрая, еще неотлетевшая, горячая, убитая жизнь клубилась здесь, на тропе. Оттолкнула его, и он огибал ее, скакал вниз, слыша, как бегут за ним следом солдаты. Душман, работая часто лопатками, развеивая шаровары, продолжал кричать, словно в нем был бесконечный запас воздуха, бесконечный запас страха, гнавший его вперед.

Вагапов видел, что догоняет его, что тому не уйти, что он, Вагапов, сильнее, быстрее. В гудении ветра, в коротких шуршащих осыпях, в твердых толчках он приближался к душману. Скатывался за ним в низину, где мелко струилось сухое русло ручья в неглубоких высохших рывтинах. В погоне его была не ненависть, не желание убить, а безумное стремление догнать, изловить, заглянуть в испуганное под малиновой шапкой лицо.

Душман перепрыгнул русло. Поскользнулся на сыпучей грядке. Упал.



Прокарабкался на четвереньках. Вскочил и стал подниматься на склон, на пологий, идущий кверху откос. Вагапов, приближаясь к руслу, уже знал и угадывал, где на склоне он догонит душмана. Схватит его за трепещущую полу, рванет с треском, опрокинет, собьет с головы красный колпак, встанет над ним, задыхаясь, поджидая солдат.

Он спрыгнул в неглубокую запекшуюся промоину с желтым песком, на котором отпечатался след душманского чувяка. Рванулся вперед, зная, что не повторит ошибку душмана, не соскользнет, не сорвется. И в прыжке, пробегая гривку песка, услышал долбящую очередь. Пули прошли над его головой и во множестве крепко углубились в песок, оставив длинный, от многих попаданий рубец. Снова задолбило с горы, двойным пробегающим стуком. И снова пули взрыхлили промоину, ту ее сторону, где только что находился Вагапов. А сам он, остановленный, прижимался к противоположному скату, как к брустверу окопа. Слушал работу двух пулеметов там, в высоте, куда убегал афганец. Уже не видел его, сгибался, скрывался за гривкой, запаленно дышал.

Обернулся. Пулеметы продолжали стрелять, но уже не в него, а выше, через всю седловину, по пологой тусклой горе, с которой он только что сбежал и скатился, а теперь сбегали солдаты. Белорус и киргиз почти рядом, почти достигнув подножия. Приотстав от них, косо, неровно, не сбегая, а волочась, спускался Еремин. И по ним, открытым, работали два пулемета.

Все случилось мгновенно, у него на виду. Он лежал обернувшись, прикрытый песчаной гривкой, лицом к солдатам, и видел, как их убивают.

Первым был убит белорус. Он подпрыгнул, когда под ноги ему ударили пули, словно стремился перепрыгнуть высотную планку. Перепрыгнул, но планку подняли выше, метнули ему под ноги очередь, и он нелепо, расставив в разные стороны руки, упал плоско, головой вниз. Прилип к горе, лицом в землю, разметался крестом. Пулеметы с горы продолжали в него стрелять, попадали, но он не двигался.

Вторым был убит киргиз. Он начал вилять, устремляясь обратно к вершине, а его настигали, не пускали, обхлестывали с двух сторон, заставляли выделывать вензеля. А потом опрокину-

ли, закудрявили вокруг него пыль. Пробивали его многократно. Он лежал убитый, как маленький серый комочек, и его автомат, отброшенный, темнел на камнях.

Потом подстрелили Еремина, сразу, короткой очередью. Попали в него, и он жалобно вскрикнул какое-то слово и упал. Не шевелился, пули крутились вокруг него, а он не двигался, головой вниз, длинный, руки вперед, словно нырял.

Это случилось так быстро, так страшно. Было продолжением недавнего истребления, продолжением погони, будто все пронеслось сквозь игольное ушко и вырвалось с другой стороны, расширилось ужасом в этот воздух и свет. Он, Вагапов, задыхающийся, живой, лежит, прижавшись к камням. Солнечная седая гора, и на ней разбросаны трупы — в линялых восточных одеждах и в пыльной солдатской форме.

Пулеметы молчали, и Вагапов сквозь ужас начинал постигать случившееся.

Истребленная шестерка душманов была передовым, продвигавшимся к ущелью дозором, за которым следовала главная группа. Эта главная группа заняла высоту и сверху расстреляла солдат. Он, Вагапов, оставил позицию, покинул высотный гребень, кинулся без прикрытия вниз. В азарте нарушил непреложную заповедь — ушел с высоты, отдал высоту противнику. Проиграл, погубил солдат. Он, Вагапов, сержант, командир, погубил тех троих, что лежали сейчас на склоне. А сам, с единственным автоматным рожком, прижатый к земле, втиснутый в мелкую рывину, обречен на скорую гибель.

Он увидел, как лежащий на горе Еремин подтянул к себе руку, вторую. Попытался упереться. Приподнял голову. И сразу же задолбил пулемет. Протянулась над низиной рвущаяся красная проволока. Пули окружали Еремина, затуманили вокруг него воздух. И Вагапов, видя, что Еремин жив, шевелится, громко, истошно крикнул:

— Сюда, Еремин!.. Ко мне!.. Кувырком!.. — продолжая кричать, выставил автомат и вслепую, против солнца, стал бить по невидимому пулемету, прикрывая Еремина. И в ответ режущая, долбящая очередь вогнала его в промоину. Пули рубанули песок.

Еремин опять зашевелился, слабо,





бессильно царапая гору. А в нем, Вагапове, порыв — подняться, вскочить, побежать. Подхватить худое, раненое тело. Стащить сюда, в эту щель. Спассти, заслонить. Но пулеметы заработали, один по нему, Вагапову, окружая свистящей грохочущей смертью, а другой — по откосу, по Еремину. И тот вдруг дернулся, выгибаясь спиной, и Вагапов почувствовал сквозь пустое пространство, как вошли в него пули, изогнули его и убили. И чувствуя это разрывающее проникновение пуль в худое тело Еремина, он заорал звериным криком. Развернул автомат и бил в слепящую, оплавленную кромку, где, невидимые, стреляли пулеметы, пока не опустошил рожок. Автомат, беззвучный, бессильный, смотрел вверх. И оттуда, после молчания, шарахнуло по нему молниеносно и страшно.

Он сполз, вжался в земляную щель. Пустой автомат соскользнул и упал рядом, пусто, ненужно звякнул. Больше не стреляли. Было тихо.

Он сжался, скрючился, втиснулся в малый проем земли. Поджимал к подбородку колени. Уменьшился, сморщился. Был эмбрионом, свернувшимся в каменной матке. Малая промоина, оставленная горным потоком, была как раз по нему. Горный поток надрезал здесь землю, унес мягкий грунт как раз для

того, чтобы он, Вагапов, уместил свое изломанное, страшшееся тело, лег в эту малую щель земли. И он лежал в тишине под солнцем, без воли, без сил, без патронов.

Он знал, что он беззащитен. Знал, что он обречен. Враги, легконогие, гибкие, ведающие каждую тропку, каждый подъем и камень, уже движутся к нему. Не с горы, а в обход, по невидимым гребням. Перескакивают трещины и провалы, обходят его и скоро появятся сзади, на склоне, где он только что был, откуда он виден, жалкий, скрюченный, как улитка в ракушке. И они с горы неторопливо и точно прицелятся и короткими выстрелами убьют его здесь, в этой тесной норе, придуманной для него природой.

Или поймут, что он безоружен, и возьмут живьем. Скрутят, свяжут, погонят по горам в свое логово. В какой-нибудь пещере, в каком-нибудь кишлаке станут мучить, терзать. Жечь железом, разрезать по кускам. И пощады ему не ждать. Потому что он убил тех шестерых, что лежат сейчас на тропе. А те шестеро разорвали на клочки лейтенанта. А лейтенант с брони стрелял вслед за танками по пещерам с пулеметными гнездами. А пулеметы в пещерах ранили и убили саперов. И







так бесконечно все убивают друг друга, и он, Вагапов, включен в эту цепь убийств. И вот настало время убить его самого.

Он лежал, ожидая своей доли. Было тихо. Светлели на склоне убитые. Солнце жалило сквозь одежду плечи.

Он увидел на земле рядом с собой маленькую белую кость. Выпуклый птичий череп с глазницами, с известковым клювом. Видно, здесь было место гибели птицы. То ли ее расклевал более сильный соперник. То ли она сама, чувствуя смерть, забилась в расселину. Вид этого полого птичьего черепа изумил его. Здесь уже умирали. Здесь уже завершалась однажды жизнь. Это место, где завершаются жизни. Он, Вагапов, родился в деревне, рос, мужал, работал на огороде, садился на школьный трактор, ловил рыбу с братом, помогал матери ставить в палисаднике изгородь, танцевал в клубе со смешливой соседкой, просыпался в ночи под тиканье часов с неясным сладким предчувствием, глядел, как синее в окошке раннее утро, вырисовывается листьями тонкий плакучий цветок — все это было с ним для того, чтобы теперь оказаться в тесной горячей промоине, в чужих горах, где кончаются жизни.

И возникла такая тоска, такое желание жить. Можно выскочить сейчас из норы и сильным звериным скоком помчаться по руслу, уклоняясь от огня пулеметов, виляя и падая, укрываясь за бугорки и морщины.

Или встать, поднять руки, медленно, умоляя, пойти на гору. Сдаться, просить о пощаде. И может быть, его пощадят.

Он лежал неподвижно в каменном лоне, оцепенев, глядя на малую белую кость с роговым щелушащимся клювом. И вдруг увидел гранаты — две зеленые литые картофелины, прикрепленные к его солдатскому поясу. Гранаты, о которых забыл в стрельбе и погоне, висели у него на ремне, запыленные, с прижатыми аккуратно колечками. И он понял, что будет делать.

Об этом ему говорили не раз. Об этом он читал в боевом листке: «Подвиг рядового Садыкова». Об этом во время бесед рассказывал ему замполит. Об этом он смотрел кинофильмы, про другую большую войну. Об этом молчали окрестные, бесцветные горы, заглядывая на него с высоты. Об этом молча-

ли солдаты, которых он погубил и которые белесо и плоско лежали на жарком откосе. Все молчало и говорило об этом. И он кивал, соглашался.

Отцепил гранаты, положил их рядом с собой. Осматривал окрестные кромки, пытаясь заметить движение, появление людей в чалмах. Как только они появятся, запестреют на горе их одежды, заблестит оружейная сталь, он зажмет в кулаках гранаты, выдернет кольца зубами, одно и второе, и станет ждать, спрятав гранаты за спину, прижавшись к камням.

Он смотрел с тоской на гранаты. И снова возник и пропал старый, без дна, чугунок, проросший зеленой крапивой.

Небо над ним было бесцветно, безвоздушно, бессолнечно. Он смотрел в это небо, превращаясь в него, и оно, бестелесное, слабо колыхнулось и дрогнуло. Будто в нем открылись и закрылись глаза.

Он услышал стрекот, вначале едва различимый, потом все сильней и громче. Вытянул шею, почти привстал, желая захватить как можно больше звука. Забегал, зашарил, заметался глазами по ожившему небу, натываясь на солнце, обжигаясь. Звук скапливался за соседней горой, и к стрекоту примешивались стуки, вялые, ослабленные, умягченные.

Он слушал эти стуки и стрекоты с ликованием и одновременно со страхом: вдруг удалятся, исчезнут, оставят его опять одного под прицелами чужих пулеметов.

Из-за серой горы вылетел вертолет, медленный, легкий, почти прозрачный, с чуть заметным отливом винта. Показался ненадолго, разворачиваясь, описывая над низиной короткую дугу. Устремился, снижаясь, к горе. Стал быстрым, узким и хищным. Скрылся за гребнем, как стремительная, сложившая крылья птица. И оттуда проскрежетало, будто крючьями драли металл.

Другой вертолет появился, внезапный и низкий. Пошел над низиной в рокоте, блеске винтов, хвостатый, пятнистый, с застекленной кабиной, с поджатыми, словно лапы, подвесками. Его тень метнулась, прочертила низину, прошла по лицу Вагапова. И вслед за тенью знакомо, твердо застучал пулемет душманов. Но бил не сюда, по Вагапову, а в небо, в грохот и вой вертолета.



Еще одна машина, неся длиннохвостую тень, вынырнула из-за горы. Быстро, страшно убыстряясь, ринулась на стук пулемета. Из-под брюха ударило черным. Множество копотных трасс, продлеваясь огнем, врезалось в гору, перетряхивая ее и круша. Треск разбитых камней, жар сотрясенного воздуха достиг Вагапова, поднял с земли.

— Э-э-э! — кричал он. — Я живой!..

Он размахивал руками, бежал по руслу ручья, стремясь догнать вертолет. Но машина появилась с другой стороны и низко пошла над горой, сверкая подбрюшьем, молотя вершину из пушки, покрывая ее маленькими плотными взрывами. Словно железный костыль вбивали в гору, драли и рушили скалы.

— Я живой!.. — кричал он. — Я здесь!..

Один вертолет медленно кружил над низиной, набирая высоту, словно размахивал тончайший блестящий моток. А другой, близкий, огромный, раздувая воздух, изгоняя из низины скопившийся жар, опускался, свистел, рассекал лопастями солнце. Вагапов видел: на его борту номер «76». Из открытой двери, нагибаясь под давлением винтов, выпрыгивали солдаты. Держа автоматы, неслись веером в разные стороны, словно их разбрызгивало. Вагапов бежал им навстречу, размахивая руками, громко бессвязно кричал.

Ротный, худой, черноусый, в «лифчике», с АКС, схватил его крепко в объятия.

— Вагапов!.. Живой!..

— Там Еремин!.. — указывал Вагапов на гору. — Там трое... все...

Солдаты стаскивали с горы троих убитых. Подавали их в проем вертолета. Другие поднялись по тропе, подбирали оружие душманов. Несли под мышкой длинные винтовки и автоматы. Летчики в шлемофонах, размытые блеском кабин, смотрели, как подносят оружие. Второй вертолет плавно парил в вышине.

И когда машина с потными солдатами и тремя лежащими на днище убитыми, с грудой расколотого, посыпанного пылью оружия взмыла и ротный облизывал грязный, сбитый до крови кулак, Вагапов прижался к стеклу и увидел: в стеклянном круге мелькнуло

русло ручья и малая рытвина, его страшная лежка. И он повторял: «Я живой!..»

Он работал у реактора, сметая с него темную пудру, возвращая блеск и сияние. И думал, как ему жить. Что ему делать, чтобы сын, готовый вот-вот родиться, не попал в те горы. Не стрелял, не брал на мушку человека, не падал ниц, не орал, не молил, накрытый тенью винтов. Как ему быть, Михаилу, чтобы сыну не выпал Чернобыль, чтобы он не кидался на страшные осколки урана. Как жить, чтобы сын был здоров и счастлив. Чтоб его не растлили, не сломали, не стерли с земли. Не сбили с толку враньем. Не споили вином и водкой. Не подсунули вместо жизни, вместо настоящей работы, глубоких истинных мыслей — не подсунули размалеванную побрякушку, карамельку в пестрой обертке.

Он работал шлифмашинкой, отражался в стальных зеркалах. Перед свадьбой он поехал в Ленинград, побывал у Еремина дома. Долгий печальный вечер рассказывал родителям про последний бой, про кишлак, про павлина на глинобитной стене. И Еремин, тонколицый, серьезный, с внимательными большими глазами, смотрел с фотографии. Тоже слушал его.

Он побывал в ленинградском парке, у беседки, над которой работал Еремин. Беседка была нарядная, белая, с узорным каменным полом. Вагапов наклонялся, гладил камни руками.

Он готовил реактор к сборке, а сам тосковал. Не умел понять, как ему жить, как действовать. Думал: дождется отпуска и поедет по адресам всех убитых товарищей. Навестит их отцов, матерей. Расскажет, как вместе служили. Навестит всех увечных и раненых, потолкует, поддержит, обнимет крепко и нежно. Навестит лейтенанта без ног, взводного на протезах — посидят, вспомнят то ущелье, рванувшую взрывом тропу. И, быть может, не теперь, а когда-нибудь после, под старость, он вернется к тем серым горам, к той наполненной жаром ложбине, где его ждет плоское русло ручья, мелкая песчаная рытвина, сухой легкий череп безымянной умершей птицы. Ляжет на горячий песок и один, в тишине, глядя



на мягкую седую вершину, вдруг поймет, как жить.

Он тосковал, задыхался от железного воздуха, насыщенного огнем, электричеством. Думал о жене, о том, что ей скоро родить. И что мало бывают вместе. И так ее хочется увидеть. Здесь, сейчас. Посмотреть в ее белое, большое лицо. Прижать ладонь к дышащему животу.

И она появилась. Подошла к нему, большая, мягкая. Поверх пальто был наброшен белый стерильный халат. Глаза виноватые, чуткие. Придерживала полы халата.

— Миша, прости, что пришла. Вдруг что-то тревожно стало... Захотела тебя увидеть...

— Да зачем ты? Еще зашибут! — Он оглядывался по сторонам, туда, где двигались сильные, резкие люди. Тащи-

ли, тянули тяжести. Действовали острым железом. Полыхали свистящим пламенем. Был готов заслонить, защитить. А сам радовался, ликовал. Гладил ее по плечу. Задевал ненароком волосы под платком, нежно и бережно. — Вот сюда отойди с дороги!

Они стояли перед громадой реактора готового улечься в глубокое бетонное лоно. Принять в себя огнедышащий груз. Вагапов глядел на жену, на ее накрытый руками живот. На близкого, нерожденного, но уже живого, желанного сына. Чувствовал, что слепым беспощадным стихиям есть предел. Что в мире присутствует доброта, красота, тихая женственность. И они не могут погибнуть. Он, Михаил, изведавший смерть, потерю друзей, жестокий, сокрушительный опыт, он, Михаил, не даст им погибнуть.





Госпиталь с видом на кладбище — это еще поискать надо. Но мы нашли, хотя особенно и не искали. Госпитали не санатории — их не выбирают.

А кладбище — старинное. Говорят, тут Анна Монс, любовница Петра Первого, похоронена. Как выпишут, надо будет сходить посмотреть. Там же ведь и наши, «афганцы», лежат. От ран скончались. Война вдогонку бьет, зараза.

Но мы хорохоримся, зубоскалим: хорошо устроились, все свое, все под боком. Удобно, чего там.

Район здесь вообще веселый был. Маньчжуркой звали. Неподалеку от госпиталя — вдовьи дома. Сюда ведь покалеченных солдатиков еще в русско-японскую свозили. А бабы российские ехали мужиков своих выхаживать. Свои помирали — чужих выхаживали. Так и оставались тут век коротать.

К нам с Валькой жены не приедут. Не обзавелись, к счастью. А вот матери... Мы, понятно, напускаем на себя безалаберности. Подъегаем друг дружку, комплименты медсестрам отпускаем, громко смеемся. Но это все внешнее, наносное.

Остаешься один — и шелуха с тебя разом слетает. А ночами такие мысли-упыри лезут!.. Своим-то я еще так ничего и не отписал. На шариковую ручку смотреть боюсь, глаза отворачиваю. Пробовал как-то. Весь лист каракулями исчертил, да и бросил. Свой почерк не узнал. Испугаются еще.

Вот уж когда совсем отмаюсь, когда врачи последний штрих нанесут, тогда и... Но не раньше.

А Валька, тот сейчас в Антарктиде, где по весне «аэропорт» тает и связь с материком обрывается. Никакой почты — только рация. И ту экономить надо, батарейки на счету. Моя версия. Валька, он лопух. Губу оттопырил: «Чего теперь матери-то писать?» «Где твоя смекалка, воин? — говорю. — Кто тебе взвод доверил? Да еще под Кандагаром».

Для своих Валька, правда, под Кандагаром никогда и не был. Служил в Монголии, а сейчас вот перебросили на полюс. С моей, замечу, помощью. Пришлось целую операцию провести. У моего старшины Яворчука как раз на Мирном земляк черпаком навар собирал. Повара изображал (готовил



хуже Шукаря, как заливал нам старшина).

Они переписывались. Ну кое-какие детали быта и северных трудностей мы позаимствовали из поварских сочинений. Переслали нацарапанное Валькой письмо туда, на Мирный, с просьбой переправить его в Кострому, Валькиным старикам.

Не знаю уж, святая это правда или не очень. Может, и совсем даже не святая. Но пусть подскажет, кто умный как тут быть? Жалко матерей. За что им-то привалило? И мы шли на все, чтобы скрыть от них нашу окровавленную, в ошметьях, правду.

Но когда среди своих, на виду, все несколько проще. Легче дышалось. Что, одни мы, что ли, здесь такие? Вона сколько нас! Делить нам было особенно нечего, а что было — все пополам шло. Мы — фронтовое братство. Вот только с капитаном одним мостик так и не навели.

Он ни с кем не сошелся. Не захотел или не смог. Да и хлеба казенного, лекарствами отдающего, вдосталь наелся. Не первый год по больничным койкам. Мы-то еще совсем зеленые в сравнении с ним.

При мне его долго по имени никто не называл. Все комбат да комбат. А сам спросить робел. Не расположен был капитан тары-бары разводить. Замкнулся. Лежал на кровати и буравил потолок глазами. Не попросит ничего, не задаст пустякового вопроса.

Да, бирюковат был капитан. А попробуй не забирюкуй, когда обе ноги — почти под корешок. Не одна — обе. Тут на костылях и то не попрыгаешь.

Он все протезы ждал. Надеялся на них очень. На что ему еще надеяться? Хотел сам с кровати слезать. Не привык, чтоб с ним нянчились. При его натуре — лучше нож под ребро.

Но протезы где-то запропалились. Выдали ему тележку. С колесами на шарнирах. Изобретение века. Только не середины, а начала. Инвалиды русско-японской точно на таких же мучились.

Но капитан — мужик волевой. Стерпел. Гантелями стал качаться. До испарины на лбу. Копил силу. И тогда я понял: выкарабкается он, не сломается.

А вскоре и случай представился узнать его имя. Мать к нему приехала. Материнское сердце — вещунье, не

утаишь от него ничего. Вот и приехала. А может, и подсказал ей кто — не важно.

Вместе с нею в нашу палату вплыл запах антоновки и еще чего-то необъяснимо домашнего. Она всех нас кормила пирожками со всякой всячиной, угощала вареньем из ежевики пополам с малиной и звала сынками.

Держалась хорошо. Как-то несколько торжественно и спокойно. Руки только старалась за спиной держать. Сцепит и держит. Тряслись они у нее сильно.

Капитан и с ней отмалчивался. Не вязался у них разговор, видно было. Поэтому она к нам льнула. Как будто мы могли ей больше его сказать.

А однажды она под села к нам на скамейку и достала порыжелый конверт с фотографиями. Мы из вежливости (да и как тут отказать?) стали смотреть. Обыкновенные фотографии. Любительские. «Это Петр (она так и называла его подчеркнуто уважительно) в первый класс пошел». «А это они металлолом собирают. Видите, какую он железяку тащит!»

Словом, ничего особенного. Но одна фотография просто ожгла. Снимок яркий, контрастный. На нем — рослый атлет в динамовской майке и трусах у сектора для прыжков в высоту. Головой чуть планку не подпирает. Руки крестнакрест — победитель. За спиной — гора поролоновой стружки.

На обороте фотографии чернильным карандашом выведено: «Октябрь. 1979. Личный рекорд: 2.05. П/П» Я глазам своим не верил. Не мог просто представить, что комбат такого роста. Я же на него все время сверху вниз смотрел.

Мать капитана уехала, она далеко жила, как я понял. Где-то у черта на рогах. А с комбатом все просто вышло. Проще только гильзы из патронника выскакивают. Собралась медкомиссия, и в одночасье его судьба была решена.

Докатили медсестры комбата до КПП, попросили солдат открыть ворота. Как с ним на тележке через порожек скакать? Ворота распахнулись.

— У-у, прямо как перед генеральской «Волгой», — усмехнулся он. — Выходит, я теперь владелец персонального транспорта.

Помолчал и так же лихорадочно-весело завершил:

— Правда, без прав.

Мы простились по-мужски, без



лишних слов. Сестры выкатили «персоналку» капитана за КПП, пробормотали что-то напутственное и развернулись.

А комбат остался. Один. Посреди огромного города. Совершенно чужого. И он в нем был чужим. Никогда не заезжал сюда прежде и не знал никого.

Ему надо было в свой «сухопутный» штаб. Оформить документы. Госпиталь его уже отторг. Армия должна будет отторгнуть.

Кто он теперь? Уже не офицер, но еще и не инвалид официально. Он провалился в щель и затерялся там, как забытый двугривенный.

Пока не оформят документы, он — *никто*. *Никто* двадцати пяти лет от роду. Был выше среднего роста. Сейчас — неизвестно. Неизвестно вообще, есть ли у него рост? И если есть, то откуда его мерить?

Мы глазели, а ветер гнал и гнал тополиный пух. Десант просто. Парашюты-пушинки неприкаянно мельтешили в воздухе, опускались и вновь шаркались ввысь. И так, пока не сцепятся «стропами».

Комбат отталкивался колодками от асфальта и двигал тележку вперед. Она вихляла, попадая в выбоины. Он упрямо разворачивал ее по курсу. Ветер развеивал его волосы, путал их. Они застили ему обзор. Тогда он резким движением головы отбрасывал надоедливые пряди со лба, но не останавливался.

Ему надоело, что на него пялятся из-за забора, и он решил отъехать чуть в сторону — поближе к трамвайной остановке. Там из зевак — только гражданские.

Видно было, что капитану душно. Все-таки парадный мундир, пусть и укороченный на две штанины, не лучшая форма одежды летом. Комбат пошарил по карманам кителя, достал сигареты. За ним обещали прислать машину к двум. И он ждал.

Время подошло к обеду, и мы поплелись в столовую. Еда не лезла. Вяло поскребли вилками по тарелкам, хлебнули компоту — и на воздух.

Накрапывал дождь. Где-то вдали гроыхало. Тревожно шумели деревья. Мы лениво дотопали до забора у КПП и застыли: капитан стоял (или сидел, как про него скажешь?), где и раньше. На часах без четверти три. А ему к четырем. Они там до четырех документами занимаются. И сегодня пятница.

Комбат затравленно оглядывался по сторонам. Запаздывают или... Дело было дрянь. Завтра — выходные. Куда ему теперь? Обратнo? Или попросить кого, чтоб в трамвайчик подсадили? Да не подсадили — занесли... Кто ж такое попросит. Язык не повернется.

Нервы у капитана сдали. Он уронил голову в ладони и затрясся от рыданий. Нас в жар бросило. Мы ринулись к КПП, выскочили на улицу. Как назло, ни одной машины.

Два частника промчались, даже не притормозив. Сейчас бы родной АКМ, вы бы у меня, как перед генералом ГАИ, замирали! И дверцы бы сами предупредительно распахивали...

К тротуару подкатил красный «Москвиченок», окно — открыто.

— Шеф, любые деньги! Отвези брата.

Шофер, белобрысый парень лет тридцати, в конопушках весь, посмотрел на нас с Валькой. На комбата.

— Да вы что, ребята! Какие деньги? Отвезу куда угодно.

А у самого слезы на глазах.

Взгромоздили мы кое-как втроем комбата на заднее сиденье. Расцеловались. «Москвич» газанул и скрылся за ближним изгибом. А у нас с души отпустило: хороший парнишка попался.

И решили мы по этому поводу закурить. Почему не закурить, когда вдвоем? На пару проще. Валька достает левой рукой коробок и держит, а я правой беру спичку и чиркаю.



*Пронесется пыль в Афганистане,  
Вихрем чьи-то жизни прихватив,  
Пусть им вечным памятником станет  
Этой песни простенький мотив...*



## Н. ЗАКАЛЮКИН А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ... Рассказ

Вчера чувствовал себя так, будто камень с души свалился: сделали все-таки! Задумали эту программу давно. Предложили мы с Андреем, против никого и не было: «Любопытно, любопытно». Их любопытство не подвело, все вроде бы прошло нормально, и даже более того.

Когда разом смолкла музыка, вдруг понял, что оглушить можно и тишиной. Очень странно, кстати: в зале народу полно, и мертвая тишина. Только задумывалось-то все по-другому. Тишина эта должна была успокоить шторм. Я представлял ее еще как минуту молчания. Только их и на тридцать секунд не хватило. Свист.

— Танцуем дальше!

— Слова кончились, музыка осталась!

У меня и смех, и злость. Едва снова пустили аппаратуру, веселье чуть было не рвануло через край. Пока до них дошло... И удивление в глазах — ну что

за безыскусность? То, что пел для них Андрей, сам я слышал уже не раз. Не здесь, а там, в Афгане. Слова простые, его собственные. Под шестиструнку. Не Майкл Джексон, что поделаешь.

Но все-таки проняло. Не сразу и не ошарашило, как хотелось нам, но проняло. Хоть кое-кому показывать этого не хотелось. Стоят в обнимку, улыбка ироническая. Но глаза уже серьезные. Во всяком случае, у тех, кого мне видно было. Кто танцевать в сторонке не привык.

А мы все думали — поймут ли? Чего ж тут понимать? Это все про нас, но и про них тоже. У нас только все позади, а у них впереди. Через год-два-три. От армии все равно вряд ли кто увернется. Кто-то, может, и надеется на институт, только не все происходит так, как хочется, тут уже не распорядишься. Так что хочешь не хочешь, пришлось им всем притихнуть.



Только вот соображали наверняка каждый о своем. О том, что умирать там страшно, наверное, думали И о том, что в институте все же было бы лучше — тоже.

Ну а кому на него рассчитывать нечего? Как мне в свое время, к примеру? В школе больше о мотоцикле думал, не об уроках. И в пай-мальчиках не числился. Самое любимое дело — вдоль по улице, да с ветерком, без глушителя. Так что в шинели и с автоматом видел себя вполне реально. А когда анкету заполнял и писал, что хотел бы туда, добровольцем, не о смерти совсем думал. И не покойником себя представлял, а таким суперменом. Автомат в руках, форма пятнистая. Только заряжать успеваешь — и длинными очередями. «Духи» — врассыпную.

О смерти не думал совсем. И в мыслях этого не было. Просто уверен был, что все нормально будет.

И те, кто вчера потанцевать пришли, да так неудачно, тоже героями себя видят. Как и я тогда. Тут разницы никакой. Только чтоб понять все это, песен наших послушать мало.

Едва программа кончилась, из полумрака кто-то выкрикнул: «Привет героям!» Я и не понял как-то сразу, не разобрался, то ли с иронией, то ли от полноты чувств. И разозлился — до сих пор до злости обидно. Заткнуться он должен был, молчать. А не выпендриваться любой ценой.

Кем-кем, а героями мы себя не чувствовали никогда...

А еще очень хорошо помню, как тогда мать жалел. Просто не по себе было при мысли, что она будет мучиться, день и ночь обо мне думать. Так ни строчки правды ей за это время и не написал. Она два года думала, что я на Севере, вот-вот в отпуск прибуду. Какой уж тут «привет героям!».

Вообще говоря, чувство от вчерашнего, будто настроение всем испортил. Не оправдал надежд. Но не из-за того же «привета», в самом деле. Хотя чего мы сами-то хотели? Чтоб знали они. А что им знать? О том, что у меня на душе сейчас? Сам никому не скажу. Про «ужасы войны» Пугать никого не собирались. Про «правду»? А что это такое?

Жаль будет, если восприняли они все это как рекламу. Если подумали, что все это устроили мы лишь для того, чтобы узнали все, кто мы такие и что нам выпало. Что угодно, но только не это!.. Хотелось, чтобы правду о войне знали, чтобы о ней думали. Но не про нас, а про себя. Хотя бы о том, на что сами они годятся, что сами смогут... Как будто оттуда все с орденами возвращаются!

Хотелось, чтобы поняли — война героев не штампует. И лучше, чем они здесь, никто их там не сделает.

Там ты такой, какой есть на самом деле. Слова под пулями ничего не значат.

Здесь каждый на орден Красной Звезды, не меньше, рассчитывает. Бывает и такое, и нередко. Только вот другое бывает тоже. Когда ночью, по горам, и все на себе тащишь. И не закури к тому же. А сзади кто-то себя самого последними словами материт. Потому что не просто зол — в отчаянии. Кругом горы, в горах «духи». И не хватает парню совсем не мужества и смелости — обыкновенных силенок. И ноги не идут, и умереть хочется. До армии-то многие балдеть под музыку предпочитали. До спорта руки не дошли. И вот что из этого выходит. Себя на место этого парня, хоть мысленно, кто-нибудь поставит?

Но так хоть честно. А симулянтов мы тоже видали. Идет такой — и вдруг ему плохо. Сердце. Если и впрямь кому-то плохо, не лучше и всем остальным. Потому что и его самого на себе несешь, и его оружие. Да потом вдруг случайно выясняется, что устал сильно, взял и притворился... Такое тоже бывало.

Здесь сейчас о таком мало что знают. Честно ли об этом молчать? Чтобы представляли войну сплошным героизмом. Чуть ли не очищением от грехов? Что все, кто воевал, и честнее остальных и лучше?

Наверное, дискотека не очень подходящее место, чтобы про все это рассказывать. Совсем не повод это для веселья, а в ней ведь веселить их должны, развлекать. Было бы лучше, если бы в кино они все это увидели или в толковой книжке прочитали. Чтобы наедине с собой при этом остались, и не было бы нужды острить перед девочкой, которая нравится, рисоваться... Только где им сейчас все это прочитать?



Этот «привет героям» вьелся в меня крепко. Уже не помню ни интонации, ни голоса. Фраза как бы сама по себе, а интонации в зависимости от момента меняются. Как будто прилипла ко мне и всплывает в памяти в тот самый момент, когда меньше всего злиться бы надо. Как тогда, на приеме у директора. Женька Орлов тогда сказал, взявшись за ручку двери его кабинета: «Главное, спокойствие. Без победы не уйдем!»

Директор тоже, наверное, свой девиз имеет. Только держит его при себе. Он-то спокоен. Ему волноваться нечего. Смотрит доброжелательно, делает вид, что старается понять. И нам то, как он сам все это понимает, растолковывает. Мы его таким уже видели. Кто жилье выбивал, характер начальства обычно до тонкостей знает. И оно, кстати, настырных просчитать старается. Так что у тех и других линия поведения продумана.

— Здравствуйте, здравствуйте, проходите. — И пошутил даже: — Сегодня силы неравные.

Вот это самое «Здравствуйте, здравствуйте» и прозвучало тогда, как «привет героям». Мол, давайте посмотрим, разберемся. Пороги обивать вы уже умеете. А чем вы все-таки лучше других? Я тогда от этого и завелся:

— Ну что сегодня нам скажете? Опять нет жилья? Нужно подождать?

— Да не кипятись. Прямо с места в карьер. Давайте спокойно.

И этот тоже про спокойствие. А о чем мы тогда, собственно, волнуемся? Подумаешь, жить негде, комнаты снимаем.

— Семен Иванович, мы согласны. Давайте спокойно. Только то, что у вас в данный момент ничего нет, мы уже слышали...

— Ребята, да вы же молодые, у вас все еще впереди. Получите. Сергей вот еще от дискотеки без ума...

— Дискотека ни при чем. У меня уже ребенку скоро полгода. Только и жду, когда с квартиры попросят. Право на жилье мы имеем?...

Спокойно тогда все-таки не получилось. Он нам опять напоминал, что мы все на льготной очереди. И все равно квартиру раньше, чем остальные, получим. Что люди дольше нас работают и ждут дольше.

Мы ему тоже объясняли, что вкалываем не меньше, а может, и побольше, чем остальные. За частную платить —

деньги немалые нужны. Так что в две смены отработать нам не внове. Он нам — про букву закона, мы ему — о том же. К примеру, что имеем полное право брать отпуск в любое время. Но каждый год приходится доказывать мастеру, кто какие права имеет. Напоминать, как домой названивают, когда хотят, чтобы с больничного побыстрее вышли. Когда работать некому.

Вообще-то хорошо, что мы все вместе пойти догадались. Правда, все равно было нелегко. И ощущение такое от разговора, будто тебя упрашивали не отнимать кусок у сироты.

— Вы поймите, в очереди стоят и участники Великой Отечественной войны. Они Родину защищали. И тоже право имеют. И у нас всю жизнь проработали.

— И квартиры по третьему разу получают. Уже и не для себя, не для детей — для внуков. Вам тут сверху, может, это и не видно, а в цехе все про всех прекрасно знают. Кто в каких условиях живет и что имеет. Дедушка вкалывает, а внушек учится. Ни дня еще не отработал, а ждет, когда же квартира будет. Дед-то в новую уедет, а старую ему оставит. Для кого льготы — для тех, кто работает, или для внуков?

Директора мы все-таки уломали. И расстались с улыбкой. Как это он сдался, несмотря на свой девиз? Ну ладно, от поражения еще никто не застрахован. Хотя можно себе представить, что он тогда про нас думал. Может, решил, что больше ни одного интернационалиста на работу не возьмет? А то больно все настойчивые, своего требуют... Только вот «внуки» к нему не очень спешат. А дедушки на пенсию собираются.

И опять — вроде бы все нормально, своего добились, радоваться надо. А на душе — будто снова в чем-то виноват. Только вот в чем? Что квартир на всех не хватает? Что для нас их все же нашли — четыре однокомнатные в общежитии для малосемейных? И можно теперь жить нормально?

Там мы о квартирах не думали. Думали о том, как вернемся. А сейчас «афганцам» удивляются, когда слышат, что многие бы не прочь туда снова. Под пули. Почему? Да там все проще. Ясно: вот враг, вот наш. И автомат в руках. Здесь врагов нет. Только вот хочется иногда на спусковой крючок нажать.



Там отношения другие. И между прочим, вопрос: «Ты «дедом» был?» — смешным мне кажется. На войне все равны. И первый год, и второй. Самоутверждаться там нечего. Нужно другое — уверенность, что есть на кого положиться. И, между прочим, понимаешь, что автомат в руках у каждого. Страшнее, жестче, но и честнее во многом. Без миллиона условностей, в которых просто так не разберешься. Которые каждый понимает, как может. В меру своей испорченности.

Никогда раньше не думал, что когда-нибудь буду тем человеком, который «на все имеет право». А точнее, кто больше всех получить может. Из-за этого даже с женой поругался. Ей как раз всего подавай, а мне «всем» заниматься совсем не хочется. Она мне доказывает: «Тебя должны уважать». Значит, в ее понимании квартира без очереди — и есть уважение. Не знаю, по-моему, это что-то другое.

Хорошо, что Андрей позвонил после обеда. Мы с ним договорились, что завтра встретимся и я ему с ремонтом машины помогу. Даже и не вспомнил, что планы совсем другие. Татьяна собиралась ехать по магазинам, а я — с дочкой сидеть. Но в тот момент сообразить ничего не смог.

Мое настроение он почувствовал даже по телефону.

— Ты что, опять с Танькой разбирался?

Но дело было не в жене. В ночную смену умер Петрович. Стало плохо с сердцем, но он никому ничего не сказал. Присел только на стул. Его так и нашли, уже мертвого. Когда я подошел, его выносили мне навстречу, прикрытого какой-то серой тряпкой. Я и сам не думал, что это так на меня подействует. Тоже сел на стул. Обхватил голову руками. И про Петровича совсем забыл. Вспомнился один день. Его и страшным не назовешь. Впрочем, я не знаю, какой из дней был самым страшным. Это уже здесь стал задумываться, когда на вопросы пионеров отвечать приходится. Им все нужно самое-самое. Подавай масштабные операции, силу огня.

А тогда мы только вернулись на базу, только расслабились. К тому времени я уже как-то внутренне осознал, что на войне всякое бывает. Что и со мной это все-таки может случиться.

Когда увидел мертвого Петровича,

почему-то очень отчетливо вспомнил именно тот день. Старшина с окровавленной противогазной сумкой, и его слова: «Ребята на mine подорвались. Так что тут все трое...»

Потом перед глазами — мать Игоря Петрова. Как мы ездили ее навещать. С Игорем нас призывали вместе, вместе были в учебке, и там тоже несколько раз встречались.

Я что-то говорил ей, когда мы с ребятами вошли, то ли ободрял, то ли утешал. Обещал помогать во всем. И вспомнил ее в день проводов. Я свою мать в тот день тоже помню, но как-то не так. В общем. На Таисию Григорьевну особенно и не смотрел, но в памяти всплыло — стоит она как-то в сторонке, автобус уже тронулся, и она Игорю ладошкой машет на прощание...

Я работать совсем не мог, что называется, вырубился. Никого не вижу. Мастер растолкал: «Ты что, не выспался?» Я со стула встал, ушел в раздевалку. Там до обеда и просидел. Очнулся, когда народ на обед заторопился.

А после обеда Андрей позвонил. Взял телефонную трубку, и как будто легче стало. Попрощались с ним до завтра, но только отошел от телефона — вспомнил про семейные планы. Подумал, что придется наши дела на вечер переносить.

—...Ладно. Только долго не тяни. Сам знаешь, я без машины никуда.

Ничего рассказывать я ему не стал. Все равно все на хохму сведет. Я ему иногда просто даже завидую. Веселый человек. Есть ведь такие — что ни случись, все равно о чувстве юмора не забывают. В себе не копаются.

С Андреем мы служили вместе. Только недолго, где-то около года. Потом его комиссовали по ранению. Встретились уже здесь. Ему еще орден Красной Звезды вручали. Как говорится, «награда нашла героя». Такое тоже бывает — представят, а вручать уже некому. Андрею в этом смысле повезло, он довольно легко отделался. Короче, тяжелое ранение в ногу, сильно, задета кость. Так что когда время пришло орден ему вручать, его в части не было, он уже по госпиталям валялся. То, что сейчас на своих двоих, объясняет так: «Я прямо на операционном столе сказал — ногу вам не отдам, хоть режьте». Что он там кому говорил, не знаю. Только после той операции еще год лечился. И домой вернулся почти



одновременно с теми, с кем призывался. Теперь вот только считается «инвалидом Великой Отечественной войны». И работа у него соответственная. Сидит в будке, на кнопку нажимает — открывает и закрывает ворота. Зато времени свободного хоть отбавляй: из четырех суток — трое.

Как там все это случилось, я в первый раз от него услышал, когда мы вместе в школу пошли, на встречу с ребятами. Там ведь первый вопрос какой — за что награда?

Рассказываешь им — и смотришь, удовлетворил или нет. Заслужили мы свои награды или нет, с их точки зрения. Когда после об этом заговорили, Андрей опять решил отшутиться: «Что-то не спросили нас, почему мы ордена купили... Они уже без нас знают, что где почему».

В выходные мы с ним все-таки встретились. Он, как всегда, не унывал. Но потом — вот уж от него не ожидал — начал мне душу изливать. Я удивился даже. Тем более что заметил — машина на него так же действует, как на мою жену вязание — умиротворяюще.

А может, он, только когда на душе

спокойно, такие вот откровения себе и позволяет? Когда расслабится.

В общем, все это ерунда. Я ему так и сказал, и он со мной согласился. Мелочи жизни, которые нужно уметь не замечать. Чему, кстати, я сам у него учусь. Он-то этим ценным качеством как раз обладает.

Но часа, наверное, полтора, наш разговор вертелся вокруг «мелочей» этих. Оказывается, невзлюбило Андрея начальство. И совсем не из-за того, что он не вовремя ворота перед ним распахивает.

Началось, как это обычно водится, с конфликта. Выразили ему, так сказать, недоверие. Сколько, вы думаете, молодому парню, по мнению начальства, на больничном быть полагается? День? Два? Неделю?.. Не две же, как ему дали понять!

В симулянтах Андрею числиться явно не хотелось. Впрочем, как и стучать кулаком по столу, махать удостоверением инвалида. Хвастаться нечем, я его прекрасно понимаю.

И все-таки согласился со мной, что все это мелочи. Я ему тогда еще так сказал: «Ладно, ерунда, главное, жизнь продолжается...»



Ну что тебе сказать, мой друг Омар?  
Вот и пришла пора нам расставаться.  
Я уйду, не загасив пожар,  
Ты остаешься до конца сражаться.  
В твоих глазах печаль. Упрека нет.  
Ты говоришь, что рад моей удаче.  
Я жив и цел. И не было тех лет,  
Все позади. Как время быстро скачет...  
О, как устал и ты и твой народ.  
Груз с каждым днем сильнее давит плечи.  
Я уйду. С годами боль пройдет,  
Но память будет жалить бесконечно.  
Я не забуду, друг мой боевой,  
Как пыль дорог одну с тобой глотали.  
В походы шли с надеждою одной,  
Что смерть промчится где-то стороной,  
А рядом мы не раз ее видали  
Мне не забыть поход на Баррикот,  
Протяжный крик сорвавшегося в пропасть,  
И в душу заглянувший пулемет,  
И наш насквозь прошитый вертолет,  
Свистящую пробоинами лопасть.  
Покою не бывать в душе моей,  
Мне, как и жизнь, нужна твоя победа,  
Святая вера в жизненность идей,  
Святая вера в искренность соседа.  
Я не забуду твой прощальный взгляд,  
Нежданных слез, блеснувших на ресницах,  
Прости меня, афганский друг и брат,  
За то, что не могу я раздвоиться.

*Виктор Куценко*





## СОДЕРЖАНИЕ

	Мы выполнили свой долг...	10
«ЗА РЕЧКОЙ, НА ЮГЕ»	Андрей Дышев Замена (повесть)	17
	Сергей Беликов Чужое небо (рассказ)	65
	Сергей Соколов Тигровый коготь (рассказ)	75
«АВТОМАТ И ГИТАРА»	Они пришли с войны (предисловие Петра Ткаченко)	99
	Игорь Морозов, Виктор Верста- ков, Александр Карпенко, Виктор Куценко, Сергей Болотников (стихи и песни)	109
ИЗ АФГАНСКОГО БЛОКНОТА	Сергей Ионин В поисках героя	124
	Александр Олийник Панджшерская баллада	144
	Виталий Скрижалин Трубопровод	151
	Валерий Черкашин Потолок риска	156
	Юрий Теплов «Сколько шагов до полюса?»	164
«АВТОМАТ И ГИТАРА»	Юрий Кирсанов, Владимир Гуд, Валерий Бурков, Александр Ша- лобаев, Олег Латышев, Шухрат Хусаинов, Дмитрий Панарет, Зи- нур Миналиев: Виктор Тарасов, Юрий Лощиц, Михаил Гаврю- шин	188
ВОЗВРАЩЕНИЕ	Александр Проханов Горы (повесть)	214
	Виктор Васильев «Прости, комбат!» (рассказ)	245
	Николай Закалюкин А жизнь продолжается... (рассказ)	248



В сборнике использованы фотографии

А. ГРАЩЕНКОВА, С. ДЫШЕВА, А. ЕФИМОВА, М. ЗВОННИКОВА,  
С. ИОНИНА, А. МАНТРОВА, С. ФЕДОРОВА, В. ХАБАРОВА,  
А. ХРУПОВА

ИБ № 5680

Альманах «Подвиг». Выпуск тридцать четвертый

М., «Молодая гвардия», 1989

Зав. редакцией  
С. Ионин

Редактор  
А. Прокудин

Художественный редактор  
Б. Федотов

Технический редактор  
З. Ахметова

Художник  
М. Решетько

Корректоры  
И. Ларина, В. Назарова

Сдано в набор 26.10.88. Подписано в печать 18.04.89. А 04778, Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Условн. печ.  
л. 16,0. Условн. кр.-отт. 32,5. Учетн. изд. л. 21,0. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 40 к.  
Изд. № 2513. Заказ 8-463.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, Сущевская, 21.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного  
Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-  
дия». 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.



## ОБРАЩЕНИЕ

Пионер!  
Комсомолец!  
Ветеран!

Каждый, кто неравнодушен, кто хочет внести личный вклад в Программу медицинской и социальной помощи раненым, инвалидам, семьям погибших при выполнении интернационального долга, создание Всесоюзного оборонно-оздоровительного лагеря, Центра рукопашного боя, предприятий, выпускающих тренажеры, инвентарь, оборудование, снаряжение, форму..., качественное улучшение военно-патриотического воспитания...

**может прислать** письма с идеями, соображениями, опытом, проблемами по адресу: Москва, Центр, Лучников пер., д. 2, Инициативной группе по созданию Всесоюзной ассоциации военно-патриотических объединений;

**перечислить свой взнос на счет 700959 (МФО-29909) в Жилсоцбанке СССР.**

Инициативная группа по созданию Всесоюзной ассоциации военно-патриотических объединений







Нам еще предстоит осмыслить опыт Афганистана. Жесткий и неоднозначный. Как и предстоит понять «афганцев» — солдат и офицеров, честно выполнивших свой воинский и интернациональный долг, — их боль, их прозрения, их обостренное чувство справедливости.

Авторы специального выпуска альманаха — непосредственные участники или свидетели событий афганской войны. В их повестях, рассказах, очерках есть ощущение хрупкости мира людей, есть стремление честно рассказать о пережитом, найти ответы на мучительные нравственные вопросы. И быть может, особенно ярко эти чувства выражены в песнях и стихах «афганцев», которые составляют ныне самостоятельное направление в молодой поэзии...







COLBERT

BIBLIOTHEQUE

34